

НОВЫЙ Журнал

165

THE NEW
REVIEW

THE NEW REVIEW Новый Журнал

Основатели М. Алданов и М. Цетлин — 1942
С 1946 по 1959 редактор М. Карпович
С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев
С 1966 по 1975 редактор Роман Гуль
С 1975 по 1976 редакция: Р. Гуль (главный редактор),
Г. Андреев, Л. Ржевский
1978-1981 г. г. редактор Роман Гуль
1981-1983 г. г. редакция: Роман Гуль (гл. редактор),
Е. Магеровский
1984-1986 г. г. редакция: Роман Гуль (гл. редактор),
Ю. Каишаров, Е. Магеровский
1986 г. Ю. Каишаров

Сорок пятый год издания

РЕДАКТОР
ЮРИЙ КАШКАРОВ
Ответственный секретарь:
Зоя ЮРЬЕВА
Секретарь редакции:
Ксения РАДЫШ

Обложка работы Мстислава Добужинского

Присланные рукописи не возвращаются
и в переписку по их поводу редакция не вступает

THE NEW REVIEW, DECEMBER 1986

© THE NEW REVIEW

NEW REVIEW (ISSN 0029-5337) is published quarterly by New Review Inc., 2700 Broadway, New York, N.Y. 10025. Second Class postage paid at New York, N.Y. Publication No. 596680. POSTMASTER: Send address changes to the New Review, 2700 Broadway, New York, N.Y. 10025.

TYPESETTING BY
ANY PHOTOTYPE Inc.
NEW YORK

СОДЕРЖАНИЕ

<i>А. Шенцевкер</i> — Вражья сила	6
<i>В. Крейд</i> — Четыре стихотворения	16
<i>Л. Владимиров</i> — Стихи	19
<i>В. Андреева</i> — Стихи	20
<i>С. Гоziас</i> — О себе любимом	23
<i>А. Кторова</i> — Мелкий жемчуг	35
<i>П. Флоренский</i> — Стихи	60
<i>И. Чиннов</i> — Стихи	61
<i>Ю. Кашкаров</i> — East-West	62
<i>Р. Форд</i> — Луис Медиас Понтуал на Красной Площади. Поэма. Пер. <i>Д. Надеждина</i>	103
<i>Ю. Иваск</i> — Похвала Российской Поэзии	112
<i>Е. Таубер</i> — Стихи	128
<i>О. Анненкова</i> — Петербургу	129
<i>Ю. Иваск</i> — Стихи	130
<i>П. Флоренский</i> — Магичность слова	131
<i>В. Ходасевич</i> — Парижский альбом. Публикация <i>Г. Поляка</i> ...	135
<i>Б. Филиппов</i> — Всплывшее в памяти. Главы из воспоминаний .	164
<i>М. Дальтон</i> — Исторический роман <i>Е.А. Нагродской</i> «Река Времен»	186
<i>И. Вайль</i> — Н. Моршен и мы, или Ритм и Смех	207

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ

« <i>Старые годы</i> ». — <i>А.П. Марков</i> — Русские города до ре- волюции	232
<i>Р. Гуль</i> — Ледяной Поход	251
Неопубликованные письма <i>М. Цветаевой</i> к <i>Р. Гулю</i>	275
Переписка <i>С. Аллилуевой</i> и <i>О. и Р. Гулей</i>	291

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА

<i>Игумен Геннадий Эйкалович</i> — Родословная Софии	307

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

<i>В. Синкевич</i> — Памяти Леонида Ржевского	335

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

От Комитета спасения советских пленных в Афганистане; Г. Поляк — Еще раз о книге Н. Мандельштам «Мое за- вешание»	340

БИБЛИОГРАФИЯ

<i>Ю. Иваск</i> — М. Николаев. Детдом; <i>А. Куник</i> — Альманах «Часть Речи» (№№ 1-5); <i>Л. Кунин</i> — «Мое завешание и другие эссе» Н. Мандельштам	344

Вражья сила

Венька Соколовский, рядовой Н-ского полка, впервые был в ночном дозоре на фронте, где все уже по настоящему — не военная игра. Спать ему не хотелось, да и нельзя — дозор ведь. И он вспоминал, а лезло в голову все. Вспомнил пирог, испеченный матерью ко дню рождения — ему стукнуло тогда шестнадцать, и он знал, чего ей стоило испечь такой пирог. Мать хотела, чтобы все было, как до войны, но тогда ведь можно было кое-что достать, а в военное время где взять муку, масло, сахар — все по карточкам. Мать продала на барахолке кремовую с бахромой шелковую шаль, подарок отца, и сделала, как хотела. Как-никак, а Венька уже почти мужчина, один на все их женское царство, где верховодила бабушка, мать хозяйничала, сестрички ахали и охали по любому поводу, а тетя грустно и жалостливо улыбалась.

Венька где мог помогал матери, а когда ему исполнилось пятнадцать, пошел работать на завод. Все, что получал — полную рабочую продуктовую и хлебную карточки и все деньги — приносил домой и отдавал бабушке; мать при этом всхлипывала, гладила его тощее плечо, как гладила отцово плечо, когда тот жил дома.

Венька прислушался. Где-то во мраке слышался скрип. Станный звук. Венька толкнул Потапова, напарника по дозору:

— Чой-то скрипит.

— Соловей грустит.

— Да неужто соловей? — удивился Венька.

В сорок втором пришла похоронка на отца. Мать в одну ночь поседела. В сорок четвертом Венька понял, что война

скоро кончится и что он эдак может не успеть воздать проклятой немчуре за смерть отца, за материну седину, за свое и сестричек сиротство.

Венька — длинный, угловатый парень с белым густым пушком на никогда еще небритом подбородке. Глянул в зеркало — пацан. Кто поверит, что ему восемнадцать? Другие уже на военном учете, а он еще недорос. Только ждать ему было некогда, и Венька схитрил, пошел в военкомат, в призывную часть и там сказал однорукому лейтенанту:

— По метрической мне шестнадцать, по рождению восемнадцать. Если не верите, мать спросите, два года жил незаписанным.

Лейтенант не поверил, и Венька пошел к начальнику военкомата. Тот выслушал, окинул взглядом, подумал:

— Ладно, если пройдешь медкомиссию — возьмем. А может, все-таки не надо?

— Надо! — выкрикнул Венька.

— Тогда иди. — Военком вынул из стола бланк повестки, заполнил, в углу надписал: «на медкомиссию».

Вечером мать плакала, грозила разоблачить Венькину ложь, умоляла отказаться ото всей затеи. Венька, однако, стоял на своем и молчавшая все время бабушка, наконец, сказала:

— Значит, суждено так.

И все сразу успокоились, занялись сборами.

Провожало Веньку все женское царство. Бабушка поцеловала в лоб, мать судоржно всхлипывала, зажимала рукой рот, чтобы не заголосить. Сестрички восторженно пищали; уезжает Венька, вот бы и им! Тетя перестала улыбаться, горестно вздохнула, тихо сказала: «Береги тебя Бог!»

Венька попал в учебный полк для боевой подготовки, а еще через два месяца он уже катил в теплушке в сторону фронта. Все Веньке было внове, все нравилось, он ехал на фронт, как на игрище. Бывалые солдаты, выписанные из госпиталей, и бывшие окруженцы, попавшие на формирование из мандатных лагерей, посмеивались:

— Ты, парень, попридержи парок-то, а то весь выкипишь и до фронта не добравшись.

— Не выкиплю, — уверенно отвечал Венька, — на немцев кипяточка хватит.

— Остыгне твой капяточок, колы пульки над головой засыстят, — заметил Стороженко, Венькин отделенный, — я два роки партизаныв, у плену був тильки одын дэнь и сбиг; мэнь, как наши прыйшлы, сунулы на провирку до лагеря Энкавздэ, чы не допомагав нимцам. Да я ж партизаном був, мать вашу. Потому й не попал у штрафну роту, а ти з окруженцив хто видсыжувалыся, хоть и не було на ных чужой крови, пийшлы искупляты свою провинну кровю. А у чому их провинна?

Венька не раз уже слышал такое от других бывших окруженцев и потому не верил: тоже мне, солдаты. Или умри, или победи. Красные в плен не сдаются, а коли сдался, значит, трус. Его батя в плен не сдался, его батя убит, а эти окруженцы что за цацы. Вины, видите ли, на них нет. В том и вина, что в плен попали.

Полк, с которым Венька прибыл на фронт, ночью занял участок на боевых позициях. Из окопов уходили усталые, небритые, замызганные грязью солдаты, их сменяли новые, в чистых стиранных гимнастерках, с шинелями-скатками и тощими вещмешками. Траншеи были глубокие, добротные, с укрепленными блиндажами, но не отсиживаться в них прибывали войска — ждали наступления.

Венька в боевом охранении впервые, а усатый Потапов уже и не сосчитал бы сколько раз уходил за передовую. Окопчик, в котором засели Венька с Потаповым, отрыли еще прежние окопные хозяева; прикрыт он кустом терна, а неподалеку для ориентира — деревцо с ссеченными осколками ветвями. Впереди вражеские окопы и, как говорил ротный, там немцы-эсэсовцы; на участке соседнего полка — власовцы, а их рота на стыке. Вот и гляди в оба, чтобы те или другие не умудрили внезапно чего-нибудь.

О власовцах Венька впервые услышал на фронте. Стал спрашивать, на него цыкнули — не твоего ума дело. Почему? Для Веньки ясно одно: немец — это враг, он пришел в Россию, а не русские в Германию, а власовцы — неясно, вроде свои и против своих?

В ночном дозоре, говорил взводный, главное — не спать и

слушать. Уснешь — пропустишь лазутчика или даже ночную атаку; потому в боевом охранении всегда двое, чтобы будили один другого.

Венька напряжен до предела — в уши лезут все ночные звуки. Тьма — хоть глаз выколи, но подозрительного — ничего. Время от времени Потапов локтем шевелит Веньку: «Не спишь?» Венька в ответ тычет ему под бок своим костлявым локтем. Тихо.

Незадолго до рассвета Потапов подал Веньке сигнал — пора возвращаться. Потапов вылез первым и пополз беззвучно, Венька за ним. Ползти трудно, непривычно, земля сухая, изрытая снарядами, того и гляди, чтобы не свалиться в воронку. Неожиданно Венька больно ударился коленом о что-то твердое: камень, что ли? И выронил из рук автомат. В предутренней тишине далеко был слышен звонкий удар металла о сухую землю. И почти сразу со стороны вражеских окопов раздался хлопок; в воздухе повисла осветительная ракета, потом вторая, третья. Затрещали автоматы, заклекотал тяжелый пулемет, неподалеку от Веньки рванула, ослепив яркой вспышкой и обсыпав мелкой земляной дробью, мина.

Венька замер, вдавился в землю, даже перестал дышать. Прошло несколько очень длинных для Веньки минут, пока стихла стрельба и погасли ракеты. Венька снова пополз, судорожно цепляясь за каждый выступ. И неожиданно испуганно охнул — уперся носом в чью-то ногу. Потапов? Он подполз ближе:

— Потапыч? — шепнул он неподвижному телу прямо в ухо, но Потапов не шевелился. «Господи! — мысленно взмолился Венька, — неужто?» Он приложился ухом к спине Потапова, не услышал биения сердца, а на ватнике нащупал две рваные дырки. Впервые в жизни Венька касался мертвеца. Он испуганно отшатнулся от трупа, его стошнило. На какое-то время Венька забылся, а когда пришел в себя, вспомнил, что нужно спасти оружие убитого, не оставлять врагу. Нащупав автомат Потапова, он вскинул ремень на плечо, забросил автомат за спину и вдруг совсем близко услышал шепот:

— Мать их трижды, да тут они были, тут где-то.

Венька обрадованно пополз на голос:

— Здесь я, здесь! — громко прошептал он.

Его схватили чьи-то руки, ощупали, сорвали с него оба автомата, зажали рот, потом бухнули чем-то по голове и Венька потерял сознание. Когда он пришел в себя, почувствовал, что руки у него связаны. Голова тупо ныла, мысли путались. Что с ним, где он? Потом его волоком потащили куда-то и, отвернув брезентовый полог землянки, бросили на колченогий стул. Он увидел людей в незнакомой синей форме с нашивками на рукавах, на которых можно было разобрать три буквы — РОА. Они говорили по-русски, но обращались друг к другу как-то не так, как привык Венька. Его о чем-то спрашивали, трясли за плечи, кричали, потом старший ударил его по лицу наотмашь, отчего на Венькиных исхудалых щеках остался след всей пятерни. Венька ничего не мог ответить, он открывал и закрывал рот, как рыба, и молчал. Он не мог понять, чего от него хотели.

Офицер, допрашивавший Веньку, брезгливо отвернулся:

— Ну и добыча, дерьмо, дегенерат какой-то! Начальству еще не доложили о поимке?

— Никак нет, — поспешно ответил маленький шустрый человечек с зализанными светлыми волосами.

— Тогда в обоз его, пусть оклемается. Впрочем, и так видно — красные готовятся. Этот шкет тоже в новой обмундировке, значит, прибывают свежие части. Вам ясно, Семенов? Так и доложим.

— Так точно! — отчеканил маленький офицер и, высунув голову за полог, негромко выкрикнул:

— Соколовского ко мне!

Из-за полога вынырнул высокий тощий военный с вислыми усами и застыл по стойке «смирно»:

— Уведите этого! — показал на Веньку старший. — Семенов, — обратился он к человечку с зализанными волосами, — растолкуйте ему мой приказ.

Веньку дернули за ворот, он послушно встал. Уже совсем рассвело. В Венькином воспаленном сознании мелькали отрывочные кадры: усатый конвоир на кого-то очень похож, молодой солдат приткнулся к стене траншеи в обнимку с винтовкой и спит, раненый раскачивает свою руку...

Усач подталкивал Веньку сзади и что-то говорил — торопливо, захлебываясь. Мысли у Веньки, как рваные ниточки, уши

заложены ватой, ни один звук не проникает. По траншеям они прошли в тыл, прямо в редкий лесок, и лишь только миновали его и вошли в густой кустарник, усач бросил на землю винтовку, схватил Веньку, прижал к себе. И вдруг все звуки стали ощутимыми, Венька проснулся и первое, что услышал — тяжелые рыдания усача.

Венька высвободился из объятий, вгляделся. Сознание возвращалось медленно; он ткнул себе в рот кулак, чтобы не заверещать мальчишечьим дискантом: «Папаня!»

Его папаня, герой. Похоронка в шкатулке дома, мать читает ее каждый день, как «Отче наш», всякий раз слезы текут по ее рано сморщившимся щекам: «Старший лейтенант Соколовский...». Она голосит, хватается за сердце, роняет из рук похоронку, падает, как сноп, лежит, едва дышит.

Упал и Венька, глядя на отца, ноги задрожали и стали совсем ватные.

— Папаня... — наконец проговорил он.

— Сынок, сыночек, родной! Довелось все же увидеться!

Отец опустил перед сыном на колени:

— Что делать, Венечка, — бормотал отец, — приказано в обоз, а могут в расход пустить, наступление...

Отец решительно встал на ноги:

— Схоронись здесь. Потерпи до ночи, понял. Ночью приду, тогда решим, что делать.

Веньку била дрожь. Он и сам не знал, что делать — не вернулся из дозора; там, перед окопами, лежит мертвый Потапыч — ни оружия, ни Веньки. А эти и вправду могут расстрелять — кому он нужен перед наступлением. С тем Венька и уснул.

Отец вернулся, когда стемнело. Принес полбуханки хлеба, кусок колбасы, осторожно положил к Венькиным ногам два автомата, его и Потапыча.

— Держи. Это твоё оправдание. Алиби. Понял? Своим скажешь: залег в воронке, когда стрелять начали, ночи ждал.

— А поверят? — растерянно спросил Венька.

— Поверят, ты не первый.

Венька засуетился:

— Папаня, а папаня, — может, и ты со мной?..

— Я?.. — неуверенно спросил отец. Венька уловил в его голосе сомнение и стал говорить настойчивее:

— Сам видишь, советские по всему фронту наступают. Это тут затишье, да надолго ли? Новые части прибывают, значит, готовится наступление, нет вам спасения на этой стороне. Пойдем со мной, папаня, по дороге придумаем чего-нибудь... А, папаня?

— Убьют меня, Веня, как собаку.

— Не убьют, сам увидишь.

— Убьют! — обреченно прошептал отец. — Ладно, что будет то будет, я тут проход знаю, пойдем. Не говори, что мы родня, а то и тебя к стенке поставят.

Венька доложил командиру взвода о дозоре, обстреле, о смерти Потапыча, о том, что залег в воронке, о перебежчике-власовце; просил не очень наказывать перебежчика — свой он, советский, только ждал случая, чтобы перейти, вот случай и выдался.

Венька докладывал о том же командиру роты, потом приехал военный дознаватель, а к вечеру прибыл капитан СМЕРШ'а. Он тоже выслушал Венькин рассказ, задал несколько вопросов, отослал Веньку и приказал привести власовца.

Разговор у них был долгий. Венька стоял за дверью блиндажа, старался услышать и не мог. Совсем нервы сдали у Веньки за эти два дня. Наконец, они вышли, отец хмуро взглянул на сына, глаза у отца красные, мокрые. Венька чуть не крикнул: «Ну что, папаня?» Но сдержался.

— Молодец, парень, — подмигнул Веньке капитан, — неплохую добычу приволок. Эти гады сами в плен не идут, а тут на тебе — живой, целехонький власовец.

Он посадил отца в джип и укатил с ним в тыл.

В воздухе пахло наступлением. Ночью был слышен лязг танков, скрип орудийных лафетов, приглушенные голоса — войска размещались плотно, в несколько наступательных линий.

После Венькиной эпопеи с дозором прошло несколько дней. Ему хотелось узнать, как обошлись с отцом, что решили. Спросить было некого, один только капитан-смершевец мог

знать. Венька пошел к политруку роты и напросился послать его за почтой в штаб полка. Все эти дни Веньку не покидала мысль об отце и о том, верно ли он сделал, уговорив отца вернуться. Иногда им зачитывали приговоры военного трибунала, в них за все был расстрел, и это — своим, а отец был власовец...

В штабе полка Венька набил вещмешок почтой, выловил и себе письмишко от матери; дома все хорошо, все живы-здоровы, привет передают. Забежал Венька и в СМЕРШ к капитану, да тот уехал куда-то. Спросил дежурного лейтенанта о власовце, где он, может, повезли дальше? «Ну, естественно, — ответил лейтенант, — такая диковина. В Москву, наверное, отправили». — «В Москву!» — удивился Венька — надо же!».

От передовой до штаба полка километра три. Туда Венька шел налегке, а назад с мешком, набитым почтой. Путь показался ему уж очень длинным, и он свернул на тропку, прямым. Миновал березовую рощицу, небольшой кустарник и вышел на бугор — вот где наблюдательный пункт ставить — все как на ладони. Венька сбежал с бугра, спугнул стаю ворон, закружившихся над кустарником в овраге. «Что они там нашли, дохлую лошадь?» Веньке захотелось посмотреть, над чем хлопочет воронье. Заглянул в овражек, и к горлу подступила тошнота: там вповалку лежали убитые, а в сторонке, будто присел прикурить, его папаня.

Венька бежал, продираясь сквозь кусты, цепляясь ногами за груды развороченной земли, падал, вставал и снова бежал. Он задыхался, силы его были на исходе, но остановиться не мог. Он будто слышал папанин голос: «Это ты убил меня! Это ты, ты...».

Возле ротного блиндажа Венька сбросил вещмешок и убежал в укрытие. В Москву, дура, увезли, как же... Слез у Веньки не было и не плакать ему хотелось; хотелось ему орать, ругаться, драться. Веньку била нервная дрожь, никак не унять. А тут его разыскал Стороженко.

— Слухай, Венько, спозаранку в наступление пидем, ниhto не кажэ, а жрать дають вид пуза. Я враз и скумэкав. Сходы, поиж, а то можэ никоды й не прыйдэться бильшэ.

Венька отвернулся и закрыл глаза.

— Ну, як знаешь. А то пишов бы, га? — Стороженко ушел, а Венька схватил голову двумя руками, заткнул уши и так застыл.

Очнулся он ночью. Услышал тихие голоса — не спят солдаты, ждут чего-то. Неожиданно перед ним вырос Стороженко:

— Шо, Вэнько, больный? Га? Нэ ив, нэ пыв. Взводный до госпыталю хотив пислаты, да я видговорыв. Вси мы чэрэз тэ пройшлы, Венько, фронт никòму лэгко не дався.

— Венька тронул его за рукав ватника:

— Дядя Юхим, а ведь тот власовец, знаешь?

— Шо, Веню?

Венька судорожно глотнул воздух:

— ... был мой папаня, батька мой!

Стороженко охнул:

— Ах ты дурэнь, Венько, що ж ты наробив, ридного батька прывив сюды. На погыбэль, чи шо?

— На погибель, — повторил Венька, как эхо, — убили его, дядя Юхим...

И вдруг Венька скинул с плеча автомат, проверил диск, пощупал подвешенные к поясу гранаты, легко взобрался на кромку траншеи и бросился вперед.

— Ты куды? Куды, бисов сын? — приглушенно кричал Стороженко.

Венька рванул с пояса гранату, далеко бросил ее вперед, потом вторую, и начал поливать вокруг себя из автомата.

— За папаню, за Соколовского! — орал Венька, — за убитого невинно. Папаня-я-я...

С двух сторон шквалом налетел огонь, в ночном небе повисли светляки-ракеты, заухали орудия, завизжали мины.

*

*

*

Вскоре на КП полка, занимавшего оборону на том участке, затрещал телефон. трубку схватил командир полка:

— Кто, — зарокотало в трубке и полковник понял: говорит сам командующий — затеял пальбу на вашем участке? Наступле-

ние сорвать хотите? Ваш полк головной. Утеряна внезапность. Вы это понимаете? Винтовку в руки и вперед, вы лично. Если не прорвете оборону — расстреляю.

Полковник стоял перед аппаратом навьютку, бледный, выкатив глаза. Он осторожно положил трубку и так же, как недавно командующий, грозно спросил:

— Кто?

Майор, начальник штаба, доложил:

— Солдат Соколовский, товарищ полковник, совсем мальчишка, нервы сдали. Как услышал, что на рассвете в бой, так и свихнулся — выскочил из траншеи и давай стрелять. С того и началось.

— Так, — полковник наконец пришел в себя. — Командира его батальона и всех ротных в первую цепь. Я пойду во второй. Это приказ командующего. Вы — на КП. — Полковник посмотрел на часы. — Через пятнадцать минут начнется арт-подготовка и еще через тридцать минут начинаем. Все приданные силы — на прорыв. Распорядитесь в подразделениях.

Утром наступающие войска расширяли прорыв. Траншеи, из которых на рассвете ушли в наступление солдаты, опустели, и только разъевшиеся жирные крысы шуршали по блиндажам.

Капитан СМЕРШ'а приехал на участок, где служил тот самый солдат, что привел власовца. Капитан перебрался на другую сторону траншеи, где еще совсем недавно была ничейная земля, и куда в ту пору он и носа бы не сунул, и среди многих убитых нашел изрешеченное тело мальчишки-солдата. Солдат лежал навзничь, широко раскинув руки, устремив неподвижный взгляд в хмурое небо, а шапка под головой будто кем-то подстелена.

Капитан нагнулся, вглядываясь в лицо, — совсем юнец, даже усы не растут, — растянул ворот гимнастерки и извлек медальон. Он и есть, Соколовский Вениамин Матвеевич. Теперь понятно, что случилось: власовец на допросе назвал Смирновым Михаилом, никаких документов не предъявил, только на руке у него была наковка из двух букв «С.М.». Выходит, не Смирнов он, а Соколовский, и о том, что отца расстреляли, солдатик как-то узнал. Капитан погрозил мертвому кулаком:

— У-у, вражья сила, и тебя бы туда же, стервеца, вместе с батской, да пуля тебя здесь нашла.

Капитан досадливо пнул ногой мертвое тело и, засунув руки глубоко в карманы шинели, пошел назад, к оставленным траншеям.

Анатолий Шепиеткер

Жюри конкурса Даля, собравшись 18-го декабря 1986 г. по рассмотрению ряда рукописей и недавно вышедших книг, единогласно решило выдать приз за 1986 г. критическому очерку Ю. Карабчиевского «Воскресение Маяковского» (появившемуся в 1985 г. в Мюнхене, в изд. «Страна и Мир»).

Открыт прием рукописей на 1987 г. Рукописи — романы, повести, эссе (за исключением стихов) просим присылать на адрес:

CONCOURS DAHL
c/o Les Editeurs Réunis
11, rue de la Montagne Ste-Geneviève
75005 PSRIS

вплоть до 1-го октября 1987 г. Жюри сохраняет за собой право премировать и первую книгу малоизвестного автора, вышедшую не позже чем за год до объявления конкурса.

Председатель жюри: Виктор Некрасов.

Члены жюри: Ирина Иловайская, Михаил Геллер, Жорж Нива, Никита Струве.

ВАДИМ КРЕЙД

* * *

Пчела садится на клевер-цветок
Под белыми облаками.
Дары позади — идут на Восток
Волхвы с пустыми руками.

Забыты дары, идут на Восток
Цари с пустыми руками.
Пчела поднялась, и не был цветок
Беднее своими дарами.

И, спрятав руки свои в рукава
Потертого халата,
Царь молвил слово, что смерть — молва.
Другое: жизнь — расплата.

И помню, стало вольнее, и ритм
Ушел за свои границы.
Одни — на Восток, другие шли в Рим,
Невольники, строить гробницы.

ЗЕРКАЛЬНЫЙ СОНЕТ

Срывая с крыши тучный наст,
Пурга дымит, струит, беснует,
Узоры в воздухе рисует
И в угол загоняет нас.

Как за окном она тоскует!
Мысль бедная еще рискует
Лететь за ней — не в первый раз,
Оставив вдруг пробел и транс.

И время, медленно влачась,
Уже не потревожит все.
Настал безмолвный белый час,
И наконец — душа пустует.

А мысль себя из-за окна
Следит: как в зеркале она.

СТРУНКА ЖУРАВЛЕЙ

Желтизною пахнут листья,
Пьяные слегка.
Взгляд березы опустелой
В дальние снега.
Взгляды осени несмелой
В дальние века,
Но иду в поля без дела
В дыме табака.

Там картошку убирали,
Пахло всласть землей,
Где-то люди умирали,
Делались золой.
Где-то снова нарождались,
Раздавался плач.
Жизнью юной наслаждались,
Проносились вскачь.

В мире гость опять случайный,
Посреди полей.
Полетит на юг печальный
Струнка журавлей.

* * *

Над мертвой яркостью голов

И. Ашениский

В пустом почтовом вагоне
Жду предстоящей поездки.
Октябрь, золотая осень
Круговорота дней.
Гулял — очутился в парке,
Свернул на сверкнувший Невский:
Толкуются будто безумно
Толпы будто теней.

На мутном стекле в коридоре
За железной решеткой
Качаются, маются, пляшут
Листья — и ветер сильнее.
В тиши непривычно четкой
Слышатся дробные стуки —
Будто переговоры
Еще нездешних теней.

ЛИЯ ВЛАДИМИРОВА

* * *

Был странно скован мой язык,
Был неподвижен воздух летний,
И я от ясности последней
На волосок была на миг.

* * *

Приникнул луч к осенней раме,
Смеется синь над головой.
Иду окрестными дворами,
Кой-где покрытыми травой.

Белье потеет на веревках,
А на скамейках старики
С недостигаемой сноровкой
До ночи чешут языки.

Весь день у осени в отсрочке,
И от погоды сам не свой,
Степенный куст взрывает почки
Несвоевременной листвою.

Детьми облеплены качели,
И, полон солнцем и водой,
Звенит, настоен на апреле,
Осенний воздух молодой.

* * *

На полдороге от прозренья
В саду запущенном найду
Я запахов столпотворенье
И всех оттенков чехарду.

Молчания хочу достичь я,
Чтобы, поверив в благодать,
Медлительным косноязычьем
Былую бойкость обуздать.

ВИКТОРИЯ АНДРЕЕВА

Из сборника «Сон тверди»

*

* *

клубящиеся кущи леса неба и дождя
пейзаж прованский с запахом лаванды
зелеными мечтами и стволами
спокойно в высоту смотрящими
в тех грезах сине-сизых верх горе
и в фиолетовых засмотрах в небо
цветов нарочно незатейливых
в малиново пронзительном ожоге полдня
в коричневых и желтых петляньях
бабочек переносящих в небо
древесные излучины стволов
струение деревьев
сверху вниз
седые облака текущие на север
и облик севера влачащие упрямо
в сей бесконечный августовский день
прованса

*

●. А. Дешард

как звук вплетенный в жизнь
так память
настроившая чуткий парус
по ветру снов
меж коридоров расстояний
вдоль эха долгого без слов
друзей Афины вечный зов
бессонное шуршанье сов
среди витрин прозрачных Рима

орнамент правоспоминаний
зарубки улиц без названий
и эта южная страна
мне изначально не чужбина
и эта вечная жена
мой проводник в подворьях Рима
меж этажей Олимпа и Голгофы

*

* *

стрекочущий мотив судьбы
часы из лавки антиквара
то хриплой сухостью скрипит
то всхлипнет то вдруг замолчит
вновь монотонно зазвучит
собьется с ритма — все сначала

а на другом отлоге гор — ребенка плач
и женский гомон
и петуха полудний говор
рассыпанные по холмам

два желто-бежевых крыла
замолкли в трепетном покое
и тихие уколы хвои
лениво брошенной к ногам

так между небом и землей
таинственный творится сговор
движение вверх и вниз схождение
встречают линию скольжения
и замирают в летнем зное
в изнемогающем покое

Г Н О З И С П Р Е С С

предлагает следующие издания:

«ГНОЗИС», религиозно-философский и литературный журнал

№ 1 (огранич. кол. экз.)	— 12 дол.
№ 2	— 6 дол.
№ 3-4	— 10 дол.
№ 5-6	— 10 дол.
№ 7-8 (огран. кол. экз.)	— 12 дол.

«АНТОЛОГИЯ ГНОЗИСА. СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ
И АМЕРИКАНСКАЯ ПРОЗА, ПОЭЗИЯ, ЖИВОПИСЬ,
ГРАФИКА И ФОТОГРАФИЯ»

Том 1 (на английском языке) — мягкий переплет — 15 дол.

Том 2 (на русском языке) — твердый переплет — 22 дол. каждый том.

АРКАДИЙ РОВНЕР, «ГОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ»

(сборник рассказов) — 10 дол.

АРКАДИЙ РОВНЕР, «КАЛАЛАЦЫ» (роман) — 10 дол.

ВИКТОРИЯ АНДРЕЕВА, «СОН ТВЕРДИ» (сборник стихотворений)
— (в печати) — 8 дол.

GNOSIS PRESS, P.O. BOX 42, PRINCE STREET STATION
NEW YORK, N.Y. 10012

О СЕБЕ ЛЮБИМОМ...

Книга, которую я сейчас пишу, называется «Сплетни о современниках» — не мемуары, которыми на черные крылья истории наносятся голубые и розовые блики, а сплетни — дела внеисторические и обыденные, многоцветные-пестрые, прогорклые, болезненные, мелочные, как и подобает сплетням — поэтому сплетни о самом себе не покажутся нелепыми в гирлянде нелепостей, которые совершаем мы, современники, проживая и говоря слова.

Мы знаем, что сплетни бывают ядовитые и свирепые, пустые и целенаправленные ко злу; я исключаю такие сплетни, я буду придерживаться сплетен характерных и карамельных, ибо у автора отныне желчи нет.

Обо мне любимом есть веселая сплетня; никто ее не распускал, она соткалась сама собою из волокон Времени, оплетших мои дни. Судите сами: еврей, обрезанный раввином на восьмой день бытия, стал русским писателем, а позднее сбежал с родины, используя случайность, чтоб поселиться в Новом Свете, где он рассчитывал насладиться свободой, в том числе и свободой печати, но получил оскомину от тоски о покинутом отечестве и начал сплетничать о себе самом.

Мой дед, Гирш Кляцкин, был местечковым раввином. До революции местечко — место оседлости — называлось Романово; когда власть переменилась, местечко переименовали, разумеется, в Ленино.

Дед был человеком умным, жестоким и многодетным. У него был наследственный двухэтажный дом — на первом этаже располагалась школа (хедер), а на втором — жилые комнаты. Дед был истово религиозен, соизмерял земные дела с именем

Бога своего, но зарабатывать не умел. Еще он не умел быть внимательным и заботливым к своим близким, а если его в этом упрекали, то он свирепел. Когда его сыну Герцу было шесть лет и он произнес при отце что-то неугодное, — дед избил его так, что Герц остался горбатым на всю жизнь. Недаром праотец Иаков говорил о роде сына своего Левия: «Орудия жестокости мечи их».

Ребе женился молодым, и молодая жена стала оберегать беззаботность и бесхозяйственность мужа, сохраняя чистоту его характера для детей. Жена ребе Гирша была из состоятельной семьи — ее капиталами он пользовался без ограничений и скоро все растранил.

Моя бабка рожала детей через год, как запрограммированная: за двадцать пять лет своего брака до революции она родила двенадцать детей. Шестеро детей не были долговечны, и о них не осталось памяти. Другая шестерка, три мальчика и три девочки, пережили все детские болезни, пережили революцию, некоторые пережили войну, а трое еще живы, но в годах преклонных, беспомощных и унылых.

Ребе Гирш не был богат и не был скареден. Размотав деньги, полученные за женой, он практически бедствовал, то есть не имел наличных денег. О питании заботы не было — кормили верующие. Когда традиции потускнели и верующие почти прекратили свои дарения, подросла старшая дочь, подросла настолько, что стала работать и зарабатывать. Если у деда случались наличные, он уезжал гостевать к родственникам в Воронеж; возвращался с покупками, в основном, с колбасами; ел он эти вкусности в одиночестве, не оделяя никого из детей, чтобы у них не возникло грешных желаний чревоугодия.

Старшая дочь ребе Гирша, моя мать, была наделена от Бога способностью шить и кроить. Впервые она проявила свои способности в шестилетнем возрасте, а с восьми лет стала зарабатывать шитьем, трудясь у пана Мигульского белошвейкой и кормя большую семью до начала двадцатых годов нашего столетия.

Грозная революция не коснулась ребе, прошла как бы мимо, если не считать, конечно, того факта, что в 1921 году уполномоченный ЧКи выдал ребе Гиршу бумагу — «статус бедности».

Правда, то были годы, когда ребе очень гордился одним из родственников, который воспарил к вершинам новой власти; так что бумага о бедности могла быть актом угодничания и лести. Однако, в 1925 году ребе строго-настрого запретил упоминать в семье имя своей гордости и оказался прав, так как через десять с лишним лет родственник деда был расстрелян, как враг народа.

Жизнь ребе не была безоблачной в местечке с приходом новой власти, но не власть оказалась тому виной, а безобразное поведение его второй дочери, которая много лет спустя произвела меня на свет, но моей матерью никогда не стала — она этого не умела. Вторая дочь ребе уродилась блудницей. Войдя в зрелость, она стала «увлекаться». И с такой невозмутимой настырностью, что словами ее унять было нельзя. Тогда ребе решил перейти на крик и вооружился палкой с тяжелым набалдашником из слоновой кости. Применить оружие ему все же не удалось, так как блудная дочь приняла контрмеры.

— Ребе, ты лучше молчи, — сказала она, — лучше молчи, а то я пойду в ОГПУ и заявлю, что в твоём доме молятся.

Ребе молчал даже тогда, когда дочь приводила в его дом солдат ЧОНа или мелких чиновников. Говорят, что ее страстью к военным я обязан своим появлением на свет; впрочем, внешности моего родителя родственники не запомнили, не говоря уже о имени.

Где-то в 1926 году ребе Гирша переселили из местечка в город Невель, где он уже не мог устраивать молебнов в своём доме. Тогда все своё религиозное рвение он стал посвящать горбтому сыну Герцу. Герц, однако, ребе не стал, — время не позволило. В сентябре 1941 года, в Ленинграде, когда блокада только-только начиналась, сын Герц сказал своей жене:

— Рива, я ночью умру. Ты сделаешь так, как я тебе написал. Вечером он, как всегда, помолился, лег спать, и умер во сне.

Старшего сына ребе волна времени занесла в Военную Академию, которую он и закончил в 1929 году. Во время войны известий о нём не было. В 1946 году он промелькнул в Ленинграде проездом куда-то, узнал, что его дети умерли в блокаду, — и пропал. Вновь он объявился только в 1959 году в Москве — пенсионером, офицером запаса. В Москве он и умер, уже в 1975 году.

С третьим сыном ребе Гирша Время сыграло злую шутку, — очевидно, Время решило показать на детях священника судьбы нашего проклятого столетия, — третий сын ребе стал налетчиком — так в начале тридцатых годов называли грабителей и бандитов; он был убит при попытке к бегству во время ареста на Финляндском вокзале в Ленинграде.

Младшая дочь ребе приехала в Ленинград в 1930 году, закончила школу и стала модисткой. Она попыталась было учиться в институте без отрыва от производства, однако, не смогла, бросила со второго курса. Зато модисткой проработала добрых полвека, и сейчас еще работает в шляпном деле, контролером готовой продукции — старость не позволяет тянуть фетр, сил нет. У младшей дочери ребе, моей тети, характер «аидише мамы» — неимоверная и постоянная забота о всех без исключения родственниках; и сейчас, в пору старости, она собирает родню на субботние обеды, каждому делает подарки, некоторым покупает вещи и даже мебель, считая себя богачкой; она зарабатывает и получает пенсию, на себя же тратит не больше десяти ки в неделю.

Я родился в городе Невеле в 1935 году. Это происшествие было скандалом для ребе; его старшая дочь прикатила из Ленинграда и забрала младенца, чтобы спасти отца от позора.

Моя мать в 1922 году покинула провинцию и поселилась в Петрограде, а в 1924 году вышла замуж за музыканта и владельца букинистического магазина — человека состоятельного, веселого, доброго и смешного. Звали мужа моей матери Борисом Михайловичем Гозиас — он был стопроцентный петербуржец, то есть человек доверчивый, сентиментальный, склонный к рутине и прекрасномыслию. Революцию он принял восторженно, как большинство интеллигентов его поколения. В 1929 году, ликвидируя последствия НЭПа, Бориса Михайловича «раскулачили» — отобрали его магазин старой книги, но оставили там на посту директора. Меня Борис Михайлович называл «пионерчиком», таскал на все демонстрации и награждал красными флажками и портретами вождей. В 1941 году Борис Михайлович записался добровольцем — по возрасту и состоянию

здоровья он не подходил в солдаты — и пошел на фронт. Он погиб в первые месяцы войны на берегу Ладожского озера.

Не пойти на фронт он не мог — случись такое, он бы попрекал себя всю жизнь. Но он был именно тем пушечным мясом, которым военная машина страны отплевывалась в тяжелый период дезорганизации армии. Я горжусь фамилией, унаследованной от отчима-отца, как гордятся чистотой души; может быть, от него и в мою душу проникли крупинки этой чистоты, только крупинки. Ибо мое Время началось кровью и завязло в грязи, а я, дважды сирота, сын своего Времени...

Время блокады Ленинграда не подлежит сплетням — меня это время наградило истощным страхом, ранней взрослостью и твердой уверенностью в победе. Уверенность в победе пришла от голоса Сталина, к личности которого у меня не было и нет любви и уважения — я обожрался этим именем, — но когда прозвучало: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами», — я поверил. До сих пор не знаю, что это было — наваждение? магия голоса? надежда? Голос звучал из картонки репродуктора почти шепотом, очень медленно, а наполнил силой уверенности.

Голод подарил мне раннюю взрослость — разумность решений и некую проницательность. Но не практичность. Я стал, как маленький старичок, поучать взрослых людей. Вероятно, с той поры занудство поселилось в моем характере и не покидает меня, хотя в пятьдесят лет я куда больше подросток, чем в дни войны.

Первый раз меня легко контузило взрывом маленькой бомбы. Меня откопали МПВОшники — целехонького. Отревет час, я забыл о неприятности, бегал к местам взрывов собирать осколки. В сентябре 1941 года меня контузило серьезней: взрывная волна подняла меня над землей и прислонила боком к стене дома. Боли не было, ничего не было: ни страха, ни слов, ни ощущений. Мой взлет на волне длился вечность. Потом волна отхлынула. Я упал на панель и не ушибся. Я встал на ноги, как робот, и сделал несколько шагов. И тут накатила боль вперемежку с ужасом: мой левый бок стал как бы вращаться в меня, раздирая ребра, и на поверхности туловища вспыхнула, запылала боль. Боль держалась несколько дней и прекратилась. А

ужас — остался. Любой звук войны — зенитка ли твкнет, завоет сирена или грохнет взрыв — награждал меня паническим страхом. Я забивался между стеной и печкой или влезал под кровать, накрыв голову пальто, и орал. Моя мать извелась. Она отправилась в райвоенкомат и добилась эвакуации в срочном порядке. Эвакуация стала возможной в конце лета 1943 года, когда «уже можно было жить», как говорила моя мама.

Моя мать, Хая-Штарн, была трудолюбива, практична, лишена религиозности и тщеславия и умела зарабатывать. Практичность с лихвой окупала пробелы ее образования. Мы не умерли в блокаду только благодаря ее сметке и энергии. Продукты она добывала обменом на драгоценности, сохраненные в ту пору, когда ее мужа «раскулачили». Только непонятным чутьем можно объяснить тот факт, что она не взяла фамилии супруга, выйдя замуж, и во время акции описи имущества не пустила чиновников в свою комнату. Видимо, в ту пору органы власти были снисходительны к рабочему классу, а классовая принадлежность у Хаи-Штерн была безупречной: швея с восьмилетнего возраста — бумага от пана Мигульского бережно хранилась у матери.

Эвакуационная волна забросила нас под Новосибирск. Начиная учебный год. Ни моего имени, ни фамилии местные жители произнести не умели, и с чьей-то легкой руки меня стали звать Славкой. Мать обрадовалась этому имени и так привыкла к нему, что забыла мое паспортное. Именем, данным мне сибиряками, и фамилией моего отца я подписываю свои произведения. Под этим именем знают меня друзья, этим именем зовут меня в семье. Младшая дочь ребе Гирша, моя тетя, пишет в Америку: «Здравствуй, Славка...»

В Сибири я почти победил в себе жадность. Жадность породил голод — я не ел, а жрал, глотая недожеванные куски — всегда быстрее остальных сотрапезников. И вот меня научили: если хочешь всю сметану в миске, плюнь туда — и никто есть не станет, вся твоя будет. Я плюнул. И тут же получил в лоб крепкой деревянной ложкой.

— Не жадничай, — сказала мне хозяйка дома, приютившая беженцев из Ленинграда, — ты не один на свете.

Шишак на лбу вырос мгновенно, но я не ревел, я устыдился, и с той поры почти победил в себе жадность.

В Сибири я быстро отъелся, окреп и за год окончил начальную школу — не оттого, что уродился умником, а по неизбежности: в классе было четыре ряда парт, по ряду на класс; все четыре класса занимались одновременно и учительница была общей на все классы. Читать и писать я уже умел, поэтому занимался тем, что было новым и любопытным. Легче всего давалась арифметика: многоярусные примеры из учебника Березанской я решал в темпе и без ошибок. Математический талант покинул меня после возвращения в Ленинград. Зато постепенно появились качества, которыми не похваляются... С ножом в кармане я до двадцати лет гулял по улицам Ленинграда; гулял бы дольше, но в двадцать лет я уже считал себя «автором», так что рукописи вытеснили оружие. Подобно всем начинающим авторам, мне хотелось получить кусочек похвалы от слушателей, я был навязчив, читал друзьям при каждом удобном случае. И однажды напоролся:

— Борисыч, — сказал мне друг той поры, — если б ты продолжал воровать, ты бы стал великим вором, но вместить в твою еврейскую душу великий русский народ тебе не дано.

Странно, но я воспринял это замечание без ненависти и без обиды, словно говорили не обо мне и не о моей крошечной страсти. Почему? Вероятно, оттого, что это была образцовая фраза носителя безосновательного шовинизма, высказанная вполне искренне. Прошло много лет, я ничего не знаю о размерах еврейской души, о размерах русской души, о размерах татарской души, о размерах души любой национальности, ибо это — фикция, как фикция — все разговоры о величии того или иного народа. «Великий» — всего лишь слово, только эпитет. «Авторство» не занимается вопросами величия; контраст чувств и поступков — единственно подлинный материал для «автора». Ибо в днях жизни человеческой нет никакого величия, как утверждал Моисей: «Дней нашей жизни всего семьдесят лет, а при большей крепости — восемьдесят лет, и лучшие из них — труд и болезнь».

Прозу писать начал в 1955 году, стихи были у меня ранее, но поэзией не были. Читать книги стал позже, чем писать. Одним из первых людей, кто направил мое чтение в нужную колею, был Глеб Горбовский: у него был врожденный и прекрасный,

добавлю, вкус к литературе и очень глубокое для тех дней знание поэзии. От Горбовского я узнал о Цветаевой, Пильняке, Заболоцком, Бабеле, раннем Маяковском и еще о добром десятке ныне всеизвестных имен, которые в ту пору произносились шепотом.

Тогда же я стал считать себя русским писателем, именно русским. Имею твердую убежденность, что *принадлежность к определенному языку и к определенной культуре и является национальностью человека*. Других — зоологических — мерок нации не приемлю.

В 1956 году для моего поколения грянул гром — гром XX съезда. Надо сказать, что до этой громовой встряски сверстники мои политическими игрушками не увлекались; более того, мы были как бы вне официальных дел, нас это не касалось. И вдруг — разоблачение культа, реабилитация живых и мертвых и — надежда! На что именно надежда — четко не обрисовывалось, однако, в лирических голосах неофициальной еще поэзии появился острый привкус социальных крушений. Забродило и в быту.

XX съезд еще населял первые полосы газет, народонаселение еще не знало, как нужно относиться к разоблачениям и культу Сталина, а один из нас, Леня Виноградов, уже бегал по Невскому и забрасывал в двери автобусов и троллейбусов тома сочинений Сталина, крича:

— Читайте! Храните! Через два года это будет библиографической редкостью!

Мое поколение...

Что такое — поколение? А какое поколение — не мое? Не своего ли рода газетная утка — принадлежность к поколению? «Мое поколение в эпоху строительства...» — чушь собачья, не правда-ли? При всей туманности слова «поколение» можно все же разглядеть кое-какие общности. Например, сиротство мое неразрывно с сиротством сотен тысяч сверстников, которых называют «поколением». Сиротство многих пришло от войны; значит, результат континентальных событий, их влияние на судьбы людей — признак грани поколения.

XX съезд КПСС был актом духовной войны, он оказался вторым историческим мерилом нравственности после револю-

ции. Поэтому, не подыскивая временного срока, отпущенного на поколение, условно, для самого себя разделяю: рожденные до революции — старшее поколение века, рожденные перед великой войной — мое поколение, рожденные до XX съезда КПСС — третье поколение. Вероятно, рожденные после XX съезда будут последним, четвертым поколением этого столетия, так как никаких глобальных событий для человечества не предвидится. Практически же к моему поколению накрепко привязаны Олег Охапкин и Валерий Холоденко, Владимир Лапенков, Кузьминский и десятки других авторов, которые не знают времени «до войны», для которых страшные годы до смерти Сталина остались в памяти только детством — школой, коммунальной квартирой, схожестью быта.

Я говорю о своем поколении без восторга, но с твердой уверенностью: *то, чем ужасались художники*, предшествовавшие нам, втянутые силой времени в новый социальный уклад жизни, *было нашей постоянной роскошью — нищета*. Это не формула, это *форма не-величия*, сотворенная государственным аппаратом. Это — душевное опустошение с вкрапленными первыми лучами сознания, которому мы сопротивлялись. Мечта и щемящая тоска о бывшей культуре помогали нам.

Первую песню, которую сохраняет моя память, я услышал из репродуктора. Она мне понравилась:

Если завтра война, если завтра в поход,
если темная сила нагрянет...

И другая песня, тоже очень трогательная:

Гремя огнем, сверкая блеском стали,
пойдут машины в яростный поход,
когда нас в бой пошлет товарищ Сталин
и первый маршал в бой нас поведет...

В дальние времена заглядывать легче, нежели различать сушность текущего дня. Слова этих песен готовили к сражениям, обязывали служить кровью, требовали смелости и жертвы. Песни я слушал, а вот смелости не приобрел. Моему характеру

свойственна стихийная решительность, которая пересиливает трусость. Сознательная решимость во мне маломощна и легко поддается воздействию со стороны. Тщеславие свое я не победил, но приспособил к работе: комплименты мимо ушей пропускаю, не обращаю внимания на хулу, но выцарапываю из мнений то, что полезно мне для дальнейшей работы. Особой доброты в себе не ощущаю, добродетельность моя уступчива, но злонамеренности во мне нет. Вместо доброты в мою душу заложена отзывчивость (сестра доверчивости), но если мою доверчивость обманывают, используют, как игрушку, я впадаю в раздражительность и могу возненавидеть. С тем, кто подорвал мои святыни, общаться прекращаю, ибо опасаясь, что с ненавистью своей мне не совладать.

Одно из лучших качеств, которым я награжден от природы — обязательность; ценю это качество в себе и других. В прежние годы я старался развивать в себе обязательность, а ныне — теряю. Возможно, с годами мы делаемся уступчивей к голосу нужды, заботимся не об обязательствах, а об удобствах. Возможно, что уступчивость появилась у меня от обилия роскоши в земле нового обитания. Десять лет назад, оскорбленный низостью и злодейством мельчайших чиновников, я закатил голодовку протеста. По случаю, голодовка совпала с днем рождения Брежнева. Голодал три дня, но работы топором в лесу не прекращал. На третий день чуть не подох от сердечной спазмы. Почему же я делал это? Просто пообещал себе наказать подлецов, не имея никакого другого средства воздействия. Был обязательным. Один из моих друзей был расстроган глупостью голодовки — стал открыто поддерживать меня. Мы тогда работали лесниками — старались сохранить лес в черте города. Я оповестил о своей голодовке органы профсоюза и партии. Эти органы откликнулись примерно через неделю после голодовки: мерзавцев наказали — «поставили на вид». А когда позже сжигали дом моего друга, то попытались представить дело так, будто бы этот поджег сочинил я. Мой друг кинулся искать защиты и справедливости, побежал в райком партии, но его с первого слова осадили, спросив:

— Какое влияние на вас оказывает сионист Гозиас?

Он сообразил — и заткнулся. Мне ничего не сказал, чтобы я снова не напылил. Признался он только через три с лишним года, перед моим отъездом, когда я расстался с советским гражданством. Клянусь, в ту пору моя обязательность заставила бы меня либо повторить голодовку, либо зарубить пару негодяев — терять мне было нечего.

А ныне? Что стало с моей обязательностью сейчас? Словно бы это уже не я, а некто ленивый и аморфный. Судите сами, перед отъездом из Ленинграда заходил ко мне на рюмку чаю один подпольщик, принеся под исподним бельем рукописи, — член ЦК социал-демократической партии России. Бумаги его партии я читал, программу их и форму предлагаемого будущего поругивал, а он терпел. Я говорил, что их идеи нежизненны, а он утверждал, что партия разрастается, что во всех крупных городах есть ее филиалы, что люди хотят бороться. Немолодой уже человек, дедушка, имеет ученую степень. Потом раскрылся: стал просить, чтобы я оповестил зарубежный мир о существовании их партии — о ее подпольном состоянии, о ее готовности сотрудничать с любой партией, желающей свержения существующего режима.

— Даже с фашистской? — не удержался я.

— Даже! — ответил он твердо.

Ответ его соответствовал программе его партии, но не соответствовал моим чувствам: главным пряником у них были ничем негарантированные обещания, что в случае своей победы они вернут земли, захваченные Советским Союзом у Финляндии, Польши, Румынии и что-то про Азию. Смешно это — так можно добраться до Руси размеров великого княжества Ивана Калиты, потому что на Киевскую Русь ведь рассчитывают украинцы. Но я тогда был еще обязательным, я понимал, что подпольщики ходят по лезвию ножа, что при малейшей неосторожности или глупости полетят десятки голов, сотни голов, возможно, что и тысячи голов — невинных, старческих и даже детских: у государственной машины есть крепкий опыт репрессий.

Я пообещал выполнить просьбу партии социал-демократов. Еще в Вене попытался рассказать о поручении, только никто слушать не захотел. Умница и земляк Лев Шмидт сказал:

— Потерпи до Нью-Йорка, там русские газеты, там услышат.

И в Нью-Йорке некому было слушать. Тогда я написал надежному человеку, обладавшему несомненной политической искренностью и застарелым качеством обязательности — я ему верил. Пожалуй, это был единственный правильный прогноз, совершенный мною в эмиграции: — Давид Яковлевич Дар, услышав, ответил, не скрывая своей антипатии ко всякой политике: «...Однажды они просрали революцию, пусть попробуют еще раз».

С тех пор я всячески стараюсь ограничивать свою обязательность. Удастся. Думаю, недалек тот день, когда я справлю, наконец, поминки по этому обветшалому качеству моего характера.

Слава Гозиас

«РУССКАЯ МЫСЛЬ»

Крупнейшая русская еженедельная газета на Западе

Главный редактор Ирина Иловайская-Альберти

Редакция и контора: 217 rue Fb. St. Honoré, 75008 Paris

Стоимость подписки во французских франках:

	3 мес.	6 ием.	12 мес.
Франция	45	85	150
Заграница	54	95	170
Авиапочтой:			
США, Канада, Южн.			
Америка, Южн. и			
Центр. Африка	76	140	250

МЕЛКИЙ ЖЕМЧУГ

*Вдоль по Питерской
(Дядяша)*

«В Палашовском переулке, рядом с банями, в восьмидесятих годах была крошечная овощная лавочка, где много лет торговал народный поэт И. А. Розоренов, автор народных песен. Ему принадлежит, между прочим, песня «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан». Его другом был Суриков. У него бывали московские поэты. К нему из Петербурга приезжали А. Н. Плещеев, С. В. Круглов. Я жил некоторое время в номерах «Англия» и бывал у него ежедневно. Получил от него в подарок книжку «Продолжение Евгения Онегина», написанную недурным стихом. Это был старик огромного роста, богатырского сложения, читал наизусть чуть не всего Пушкина, а «Евгения Онегина» знал и любил цитировать. У него был друг, выше его ростом, седой, с серебряным чубом, а сила у него была непомерная. Его имя было Ермолай, а звали его с юности за удаль Ермаком. В то время все пространство между Садовой и Тверской заставой считалось еще Ямской слободой. Предки Ермака были искони ямщики и дом их сгорел в тот же день, когда Наполеон бежал из Москвы через тверскую заставу. Ермак помнил этот дом хорошо и когда по моей просьбе он рассказывал о прошлом, то Разоренов тотчас приводил из «Онегина», как Наполеон скрылся в Петровский замок... а Ермак время от времени затягивал свою любимую песню

«Вдоль по Питерской
Как по Тверской-Ямской...»

Я привела отрывок из книги «Москва и москвичи» Владимира Алексеевича Гиляровского. Писатель очень дружил с

* Главы из повести. См. также «Н. Ж.», кн. 161.

московскими извозчиками и, работая репортером, узнавал от них о самых жгучих происшествиях в разных концах столицы. Так, именно от моего деда Тимофея Васильевича Гиляровский впервые услышал рассказ, наводящий на подозрение в убийстве своих седоков извозчиков Петровым-Комаровым, дедушкиным знакомым.

В вышеприведенном отрывке дядя Гиляй допустил несколько ошибок и вот главные из них: Первая: инициалы Разоренова были А. Е., а не И. А. Вторая: песня «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан» сочинена Цыгановым, а Разоренов — автор другой народной песни. И третья ошибка, для меня самая значительная, — но о ней позже.

Вижу себя пятилетней, обязательно на плечах отца или деда, великанов по тому времени. Мы втроем медленно гуляем по Москве, выходя с Мясницкой так, чтобы подгадать в начале сумерек быть на углу Палашовского и Чернышевского, где дедушка Тимофей мальчиком, по воскресеньям, в праздничной рубаше с витым подпояском сживал в лавочке рядом с банями и угощался сладкими стручками. На лавочке была вывеска: «Овощная торговля А. Е. Разоренова». Алексей Ермилыч Разоренов, автор русской песни «Не брани меня, родная», был крестным моего деда.

Вот старинная фотография «cabinet-portrait». Она была сделана в Москве в начале нынешнего века в ателье Асинкритова. Все мои знакомые, как русские, так и американцы при взгляде на снимок говорят одно и то же: «Боже, твоя волюшка, сколько в этих лицах самоуважения! Как редко теперь можно встретить такое. Ведь даже современные медведи честь и совесть потеряли, лапы за подачкой тянут к туристам в Иеллоустоунском парке!»

На снимке в креслах сидят двое. Слева — мужчина на возраст, справа — пожилая женщина, покрытая шалью, подколотовой под горлышко со свисающими ниже колен кистями. В русском народе женщин с такими самоуглубленными физиономиями называют «гордыми», то есть полными большого собственного достоинства. В горящую избу войти? Смеетесь, что ли? Да такая самосожжением могла бы кончить...

И есть косвенное доказательство незыблемой твердости характера женщины в шали. Висит в моей комнате старинное свидетельство, вставленное в рамку, ценнейший семейный документ. Удостоверение, сообщающее о том, что женщина с гордым лицом «свободна от первого брака с Харламовым Иваном Трифоновичем в силу утвержденного Святейшим Синодом постановления Московской Духовной Консистории от 4-го июля 1890 года». Эта женщина, глядящая с фотографии суровой старухой, была одной из редких в Московской губернии крестьянок, которая осмелилась затеять дело о разводе с мужем и добилась разрешения на расторжение брака после добытой с невероятными усилиями аудиенции у самого митрополита. Муж ее, Харламов Иван, писарь, ушел к социалистам, влюбился в народovolку Марью Терентьевну Бузыкину и женился на ней. Потомки их живут сейчас в Ленинграде, Клавка с легкостью нашла эту семью через справочную и сравнительно недавно у меня была интереснейшая встреча с Юлей и Максимом Харламовыми, правнуками Ивана да Марьи.

Старуха с надежным, спокойным лицом, изображенная на фотографии, — моя бабушка, Прасковья Ульяновна Чепурнова. После развода она вышла замуж второй раз за молодого вдовца из семьи известных в Москве извозчиков Рогожской слободы, за моего деда. Мужчина же с кудрявыми седыми волосами, или, как пишет Гиляровский в приведенном мною отрывке, «с серебряным чубом и непомерной силой», с душевной ясностью в простонародном лице — брат моего прадеда Михаил Яковлевич Чепурнов, по семейному Дядяша, а по «поулошному» — дядя Ермак. Вот здесь и есть самая главная для меня полуошибка Гиляровского. Правнучатого моего дядю звали Михаил, а не Ермолай. Писатель спутал тут две вещи «Ермилыч», — отчество Разоренова и прозвище Михаила — Ермак.

Дядяша Михаил, по рассказам всех, был веселый и твердый мужик. Он дружил, кроме дяди Гиляя, с Покровским, Соболевым и Барсовым — старожилami и бытописателями ушедшей Москвы, но больше всего приятельствовал с так называемыми поэтами-самоучками. Вместе с Белоусовым и Леоновым, отцом писателя Леонида Леонова, дядяша Михаил участвовал в издании сборника писателей-самородков «Родные звуки». Но самым

главным, самым первым другом Михаила Яковлевича-Ермака был Николай Панов. Мама мне много раз говорила, что совсем не за то, что отец мой нежно бросал в нее «кремушки» на набережной, вызывая на знакомство, и даже не за арию «Рахиль, ты мне дана», которой папа сотрясал весь черноморский мод, а только за песню «Наша улица травой заросла, вся цветами-васильками зацвела» она влюбилась в отца в двадцатом году в Севастополе. Николай Панов был автором этой очень популярной песни, в двадцатые годы ее распевала вся Москва: дед с братьями Андреем и Романом Васильевичами исполняли ее в моем раннем детстве под отцовскую балалайку.

Есть одна подробность, которую я желаю оставить потомству. Все поэты-самоучки, дети из бедных семей, всю жизнь нищенствовали. Иногда ради куска хлеба создавали «дело» или «бизнес», как говорит сейчас в Нью-Йорке одна старушка, бывшая россиянка. Но теми еще они были бизнесменами. Панов трудился на какой-то фабричонке, Разоренов за что только не брался, даже артистом был на Подновинских гуляньях, где и познакомился с моим прадедом и его братом Ермаком, смешившими народ зазывальщиками. Там же автор песни «Не брани меня, родная», подружился и с их третьим братом. Тот, младший, пел в русском хоре Осипа Кольцова.

Еще был у моих прадедов друг, самый, может быть, любимый, которого мало знают даже литературоведы, поэт-самоучка Алексей Иванович Слюзов. Алексей Иванович Слюзов, ради нескольких копеек на кусок, продавал извозчикам у Курского вокзала в разнос еду, и мой дед Тимофей молоденьким лихачом покупал у него сайки и горячую колбасу.

Восьмилетней я отыскала под потолком на полке, куда были свалены папины книги после его исчезновения из моей жизни, тоненькие, ломающиеся, как кукурузные хлопья, сборники стихов поэтов из народа восьмидесятых годов прошлого века. Между Лазаревым, Гавриловым и Дрожжиным нашелся и один, к которому дедушка отнесся с большим почтением и вплоть до войны мы его свято хранили. На шмуцтителе было выведено:

«Близкому другу Михаилу Чепурнову —
верному товарищу по литературе.

«Не верю, что труд наш бесследно пройдет,
Не верю, что дум наших мир не поймет».

Алексей Слюзов

*Тетка Ульяна-шептуха
(Бабушка)*

«... излазили мы с Сергеем весь склон и нашли, Витя, не сам колодец, он давно кирпичом завален, а сруб только, тоже весь в землю врос. А чтоб узнать точно, по церквям стали ближним бегать, то на Володарского, то в Лыщикову, старух расположить хотели, все Херувимские теперь знаем, ноги отстояли. Дениску я тоже в это дело подключила, он с одной пенсионеркой шуры-муры завел, той понравилось, что мальчик, а в церкви, Александра Алексеевна звать, 82 года, бывшая учительница начальных классов, уже двадцать лет на заслуженном отдыхе; говорит, помнит, с матерью со своей еще ходила девчонкой на тот колодец воду на солку огурцов брать, а я ей: а помнит чего про этот колодец, а она: да вроде как наговорщица здесь тогда жила рядом, с Рогожской была. Сказала, что еще тут есть одна прихожанка, мать старосты, еще старше ее; все что до революции, как вчера помнит, ну, познакомила она мене с ней, а та прямо так и отказала, что вот тут от церкви низ к реке и было это место под прямым углом к Ватину переулку и звали его все «Шептухин колодец», как наша тетя Варя и рассказывала, как раз где мы с тобой лазили в 74 г., искали да не нашли. Люди знающие теперь-то говорят, что на дне колодца ключ был, вода в нем была вкусная, целебная, а в старину народ темный был, во все верили, всякому волшебству, предсказаниям. Старушка говорила, что если лето жаркое было, у всех в огородах сохнет, а у шептухи как после дождя растет; теперь-то ясно, что шептуха просто по-воду на этот колодец ходила, а люди думали — заговаривала на поливку, а я ей: а как звали ту гадалку, а она имя начала вспоминать, я ей нарочно — Марья, Дарья, Анна, Ульяна, а она как вскинется: да, да, Ульяна, Ульяна. тетка Ульяна-шептуха, вот как звали ту ворожейку.

К сему, Клавдия»

Теперь перевернем фотографию «cabinet-portrait» на обратную сторону. Там почерком человека, редко державшего в руке стило, написано: «Наш атлас нейдёт от нас. Всечестная мать-игуменья Пульхерия». Надпись сделана рукой дяди Михаила. Игуменней Пульхерией он прозвал мою бабушку. Как шалью покроюсь, как к зеркалу подойду, так вижу — одно у меня с ней лицо. То, что в нашей семье ее в шутку называли «архиигуменья Пульхерия», я слышала, но почему она снята с братом свекра, этот вопрос мы с Клавой так и не рассекли. Даже тетя Варюша не знает. Может быть, была там какая тайная любвишка? Ухажэ какое-нибудь? Ну, это уж из другой оперы. Была так была. С Богом.

«На бульваре» Маковского — одна из моих любимых русских картин. Вглядитесь. Там, за сидящими на садовой скамейке парнем с гармошкой и его женой, виднеется двухэтажный дом на углу Костянского переулка и Сретенского бульвара. В этом, желто-белой гаммы доме, тоже пережившем пожар Двенадцатого года, жил Петр Михайлович Чепурнов, отец тети Вари, сын дядяши Михаила Яковлевича. У этого Петра было пять сыновей, из них два Николая. Старшего называли Николаша, младшего Николайка. Он был от второй жены Петра Михайловича и приходился Варюше сводным братом. Этот Николайка оказался единственным законченным с.с.* среди мужчин папиной огромной извозничьей семьи.

В четыре года он был иконофором у моих дедушки и бабушки на свадьбе, а потом рос у деда в детях и в крепких руках Тимофея Васильевича был хорошим пареньком. Одиннадцатилетним уже ездил за кучера (взрослый — рядом), а в четырнадцать определился конюшенным мальчиком на бега, так что к девятнадцати годам стал неплохим жокеем. Рысак его, Кункатор, хоть и шел спокойным махом, но часто приходил к привозному столбу первым.

И все было прилично, пока не: спутала его игра. «Тотализатор, — горько рассказывал дедушка. — На бегах народ сбродный, вот и снюхался с червонными валетами. Завертелся середь них, как вор на ярманке. Ладно б за червонцы, за рубли с

* Представьте себе, что «сукин сын» когда-то произносили в «обществе», как «эс эс». С ума сойти.

жульем драться принимался. Да и сам сколько раз бит бывал...».

А при экспроприации первым пошел молодой человек Николай Петрович Чепурнов своего приемного отца грабить.

— Что ты, Николайка, где ж твоя совесть, — покраснел дед, — делиться-то поровну надо. Да моего тут в пять раз больше, чем твоего, а ты себе берешь вдвое, чем мне оставляешь.

— Отдавай, чего просим, а то вилами сбрушу! — ревел подлец племянник. Во время этого разговора вошла тетка Ульяна-шептуха, моя бабушка, постояла, послушала. Внимательно посмотрела в подлящие Николайкины глаза, молча вышла.

А Николайка пришел домой, лег на койку — и будь здоровчик, даже «ох» не сказал. «Вся» Рогожская испуганно заталдычила: помер молодой, здоровенный Николай по Божьему приказу, по шептухиному приказу.

Вот такая есть в нашей семье проклятина, такая сопля кривая.

Улица звала бабушку «тетка Уля-шептуха». Ломовикам-извозчикам она пускала кровь.

— Телегу, как, случись, завязнет, своим хребтом подымали, рычаги не укупишь, дорогие, не у всех они были, — сообщает тетя Варя, — так она в Суконных простонародных банях потом суставы поврежденные разминала, лучше всех бабок-костоправов в Заяузье заговаривали грыжу. Кого чем зашибет, кто надорвется, тот к ней: «Зашепчи, тетушка Ульяна!» А бабушка — хлоп горшок на брюхо или на хребет, перекрестит себя и пациента, забормочет эдак тихо: «Тюрли-тюрли-гур-гур-гур, тюрли-тюрли-гур-гур-гур, ломбта, ломбта, перейди на Федота, с Федота на Якова, с Якова на всякого. Гур. Тюр. Тюрли-гурли-гур». Мужик скок на ноги, отряхнется, чихнет, ух ты, какой роскошный, хоть сватайся да женись.

Как задержалось в памяти, сам разудалый Ваня Дунаев, персональный извозчик Дяди Гиляя, каждую Пасху подносил тетушке Ульяне подарок — башмаки без каблуков (брал в Каретном ряду).

Что ж вы улыбаетесь, фомы неверные? С этим делом шутки

жутки. Чему посмеешься, тому и послужишь. Болью в спине я сама десять лет страдала — то лежала, как парализованная, то чуть не на костылях передвигалась. Доктора в Вашингтоне прямо заявили: они не знают, что с моей спиной, анализы не показывают никаких нарушений. Работу не бросала, хоть и ходила в раскорячку, студенты меня водили под ручки, пальто снимали-надевали; мучилась я целых десять лет, хотела уже переходить на временную инвалидность. Да тетя Варя собралась и съездила в Смоленск к нашему родственнику, в молодости медработнику Прокопу Вуколовичу Салову; отец его с моей бабушкой, теткой Ульяной, целебными методами менялись. И прислала мне Варя в Штаты рецепт особого настоя для лечения боли в пояснице, рецепт Прокопа Вуколовича Салова, разработанный им при участии Прасковьи Ульяновны Чепурновой. Спина у меня теперь прямая, как тросточка. Схватит вас, пожалуйста ко мне. На этот рецепт даю сто процентов гарантии, раз испробовано на самой себе*. Американские врачи удивлялись: «Признайтесь, что вы со своей спиной сделали, чем лечили? Откуда у вас такие серьезные познания в медицине?»¹

Моя бабушка архиигуменя занималась также и овощной лечбой в огородах, пользовала от болезней ягоды в садах, цветы на окнах. Я лично думаю, что она была только знахаркой, так же как и мать ее, Лукерья Аникеевна Китайгородцева. Однако, старые люди утверждали, что действовала она не только народной мудростью, но и заговором и наговором.

А улица боялась вещьбы. Улица считала мою бабку колдуньей.

Своим даром тетка Ульяна-шептуха наделила и меня. Люб-

* В истории советской медицины записано: «Метод лечения радикулитов, миозитов, ишиасов и сдвинутых позвонков, практикуемый фельдшером Саловым Прокопом Вуколовичем, принят к распространению на заседании Ученого Медицинского Совета при Смоленском Облздравотделе от 19 мая 1938 г. А через несколько лет в американских драг-сторах появилась «травяная подушка», помогающая в распаренном виде от боли в спине. Состав дикорастущих трав в этом целебном препарате почти полностью совпадает с нашим семейным рецептом.

лю, ох люблю я бесовским ремеслом потешиться. Кому веку захочу — прибавлю, кому возжелаю — убавлю. Такую ворожбу наведу — ахнете.

Волос у вас падает? Морковки ешьте. В верхнем желудке боль непереносимая? На кулак ложитесь. Чтоб грозы не бояться, всю последнюю пятницу перед Ильей Пророком поститесь — страх снимет. По малым делам подам любой совет.

Тюрьму или суму? Этого не приворожу. Из грешника да праведника? — Не сделаю. Не созрела, это вне моей компетенции. А вот пропажу отыщу, с младенчика родимчик сниму, кто в кого влюблен — разгадаю.

Покойника обмыть и обвить? Тоже можно. Бабка платы не брала, а то ведь заговор не подействует. Ну а я поживиться люблю. Какая моя такса? Скажу — убежите. Такса моя наивысшая, беру дорого. Беру дорого, но уж и сделаю...

Бабушка была молчаливой, неразговорчивой. Добродетельна ли была? Честна? Не знаю. А непреклонна — была.

Силу ее, как шептухи, я поняла только в восемнадцать лет, когда впервые влюбилась, но не была осчастливлена ответным чувством. Тогда Прасковья Ульяновна, бабушка, прознав про мои страдания, позвала моего героя к нам посидеть за чайком. Посидели. С этого чаю мою любовь как ветром сдуло. Я с колен, он на колени: у ног моих дрожал, в вечной преданности клялся, даже сделал формальное предложение, на что я, как все Козе-роги, разгульно зашлась в сардоническом хохоте. Оказалось, бабушка ему в чай присушного, а мне отсушного на любовь дала. Вот и не верь после этого волхованию.

Тетка Ульяна и в глубокой старости жаловалась мне и маме на самобытном московском просторечии:

— Для меня работа мил-дружок. Тимофей тоже от труда не бегал, а уж свекры! Ведь старшие в семье были, а ни в печь, ни из печи чугуны, ни в погреб по капусту слазить. Шлеи валялись не навешанные, — бабушка утирала слезки. — В четыре ночи выезжать, а Атаманка в оглобки не заведена, Сметанка в супонь не затянута. Кабы не дедушка Иван, да не дядюшка Сергуха, хозяйство б совсем захирело.

Мы же с Клавой думаем, что бабушка перегибала. Это верно, что Яков Евдокимыч имел ядреный карман и оставил сыновьям хороший дом, однако, не захотели ни мой прадедушка Василий Яковлевич, ни брат его Михаил-Ермак только в свою утробушку жить да гнаться за копейкой. Сказались-таки гены их матери, Авдотьи Федотовны Новопольцевой, младшим племянником которой был дядека Абрам, сказывальщик из Помряськина, который заставлял дедушку Тимофея и его двоюродных братьев Петьку с Евсюткой пасти стадо, сам же сиживал в кабаке, попивая винишко, караулил бочки, да сказки сказывал.

— Дом обихаживать, куда там! — жаловалась бабушка. — Сидят папаша Василий Яковлевич с Михаилом Яковлевым да с Ермилычем (А. Е. Разореновым), чай из трех самоваров подряд гоняют с полотенцем, да стихеры распевают, ровно нищие. Мамаша свекора, Авдотья Федотовна, тоже это дело любили, старая уже была, а пела как! Вся Рогожеская сбегалась слушать. — Бабушка призадумывалась и продолжала: — Сын, думала, будет помощником, а он чуть вырос, сам все буквы узнал, так к ним стал присаживаться. В училище шел первым учеником. Чуть прoderет глаза, не умылшись, не одевшись цоп за книгу — читать. Это с утра-то, лба не перекрестимши? Ванечка, от книжечки-то нагуляешься без порток, бывало я ему говорю, а он только смеется...

Читатель, прошу вас ответить на вопрос: какое имеет отношение набор невежественных бабкиных слов к, скажем, поэзии? Ведь «стихеры», которые декламировали мои прадеды и сами сочиняли, не отзывались убыточно на их профессии. Деньга в доме водилась. И тяжеленькая деньга, не иначе. Например, на печатанье третьего, так и не вышедшего сборника стихов «Родные звуки» наш Ермак отвалил весьма приличную сумму. В этом сборнике должна была появиться и песня самого Дядяши. Сие произведение («Паша, ангел непорочный, не ропщи на жребий свой») было обращено к бабушке Прасковье Ульяновне, которая, как мы знаем, роптала и роптала усиленно. Ее горькие предчувствия относительно единственного сына Ванечки, моего отца, полностью оправдались, когда в журнале «Образование» в Одиннадцатом году появились «стихеры» семнадца-

тилетнего пиита, что-то в духе — «Россия, Россия, жаль мне тебя, бедная, горькая участь твоя». Для бабушки это было чем-то вроде удара ниже пояса — она надеялась «отдать» отца в Коммерческое училище и умереть, увидя его богатым извозо-промышленником.

Мне было года три, отец еще жил с нами, мы всей семьей приехали на лето в Ульяновск и остановились в доме у ломовиков Димановых. В ту пору из окружавших меня новых лиц я лучше всего запомнила молодую бабенку Кулю с черным гимназическим бантом в выразительных рыжих волосах. Все в ее семье были шатенами, но природа отметила именно Кулю и передала ей от огненного прадеда эту выразительную рыжесть. Куля любила душить одеколоном «Сирень», привезенным моей мамой в подарок симбирским модницам.

В то время я только начала активизировать свой словарный запас и очень комично соединяла волжский говорок с фразами из татарского, узбекского и идиш, на которых говорила четверть жильцов Доброй Слободы. Хорошо помню, как однажды я вышла в горницу к столу, за которым сидели мужики-извозчики, женщины и мой отец с матерью, и, обращаясь к родителям, спросила:

— Нуткася, кто знает, а куда же этко я минем штанемне бенделе ухоронила? Майне бауе хойзелех где тута? — Это я имела в виду веровочку для подвязывания штанишек.

Изо всей нашей огромной семьищи громче всех закатывалась в хохоте эта самая веселая Кулюшка. Потом в Москве, Варвара долгие годы отмахивалась, когда я задавала ей вопрос, кем нам приходится рыженькая.

— Вроде никем, а наша, — сдалась, наконец, тетка. — Свояченицей она доводится Павлику Бурмистрову, Клавдиному отцу. — И сердито начала выпаливать все, что давно у нее naroslo:

— Мы же тогда, после голодухи на Волге, на помочи приехали, хозяйство на ноги поставить. Как ведро, мы все по крестьянству — один на молотьбу, другой снопы вязать, третий еще что. Трудились без разборю родства, все в смесь пополам. — Варвара грозно сжала губы. — Одна Кули́на-неделуха в потре-

биловке сидела, чай с конфетами пила. У меня, говорит, вкусу на такую низменную работу нет и не бывало сроду, я даже полушалков не люблю, мне бы шляпки.

Я сидела рада-радехонька, плавала в улыбке, набредя на еще один привязанный к нашему родовому пупу, и стоящий обрисовки тип:

— Так где же она все-таки работала? — притворно удивилась я, — за что же теперь пенсию получает?

— Где работала... — презрительно молвила тетушка, — это ее работа и была — ленты-бантики снимать да надевать. Кто б поверил — полное коробье шляпок! По полу веничком ни разу не прошла, морковку не кинула в щи. Пять классов прошла, на бухгалтершу потом выучилась. На стульчике посидела, счетами погремела, знай денюшки два раза в месяц огребай, вот и вся ее работа.

Несколько лет тому назад, когда я прибыла облобызаться с родным городом, в Москву из Ульяновска явилась повидать «Ванечкину дочку-американку» эта самая Клавдина тетка Куля, отягощенная весьма крупным грузом прожитых лет. Представлялась она всем теперь как Лина Лаврентьевна. Во времена невозвратные ее мать нередко бывала в столице, где вела с нашим дядшей Михаилом *дела*. Они были сватями и чьими-то компаньонами по выращиванию для скачек лошадей «кыргызской» и кавказской породы. В детстве от наших я слышала рассказы об интересном эпизоде в жизни Чепурновых, когда помещался у них в стойле на Рогожской резвый скакун Азгар, вороной кабардинец. Его готовили к бегам, но он, кроме Михаила Яковлевича, никого к себе не подпускал, бил задом и хватался зубами. Вылечил Азгара «репой» Флор, Зойки Звездиной прадед.

Приехав в Москву, Клавкина тетка Акулина Лаврентьевна важно уверила меня в том, что прекрасно помнит, будучи уже одна на белом свете, мадригал «Паша, ангел непорочный», посвященный нашим семейным поэтом моей бабушке Прасковье Ульяновне и охотно его исполнит, если кто заинтересован. Для своего серьезного возраста Лина Лаврентьевна была еще очень кокетлива.

Прибежал писатель Севка. Он обычно хвалится, что открыл

в отечественном фольклоре новый жанр баллады. Каждое лето, закинув за спину сапоги, он босиком истаптывает северную Россию, вылавливая старух типа Лины, напевающих ему народные сюжетные песни. Дрожа от сладкого нетерпения Сенька наставил маг. Акулина Лаврентьевна открыла роток:

В этой пламенной молитв-ин
Ты скажи своему Творцу,
Что я мать твою заре-аа-зал,
А тебя сведу к венцу

запищала она, веско, по-волжски приокивая, и произнося «щ» как сдвоенное «ш».

— Подождите, постойте, — мы с писателем очумело посмотрели друг на друга. — Лина Лаврентьевна! — Севка даже глаза вытарацил. — Ваше дело — кукарекать, наше — рассветать, но как же прикажете рассветать, когда, Господи Боженьки, почему зарезал? Кто? Кого? За что? Где тема? Где смысл? Ничего неясно.

— А чего же здесь неясного? — обиделась Лаврентьевна, — он ее приревновал и убил. А потом осознал. Дальше вам слушать желательно?

И чтоб показать, что дело свое знает туго, она вновь потянула:

Я теперя больна и бессильна
Как опустят в могилу меня
Ах зачем возмущаться напрасно
Ты прошшай, дорогая моя.

Как Дядяша Ермак и отец мой, я тоже самоучка в литературе. Не знаю, исполняли ли основатели моего рода заунывные песни на вековых российских дорогах и, без сомнения, сочинению «Паша, ангел непорочный» далеко до душераздирающего романа «Однозвучно звенит колокольчик», сочиненного Иваном Ивановичем Макаровым, который, подобно моим близким, занимался ямщицким промыслом где-то на Урале, но

как не вспомнить Пушкина, сказавшего, что в России поэзия разлита везде — от ямщика до первого поэта.

А я горжусь. Горжусь, что не лелеяли Чепурновы бытовые ценности, не облизывали грошики. У деда Тимофея была игра с моим отцом. Дед говорил:

— Ты карманы-то огляди, Ванечка, дырки там есть ли?

— Есть.

— А деньги какие?

— Деньги круглые.

— Ну так-то. Бог одарил денежкой, а черт припас дырочку. И пойдет денежка в чертову дырочку колесом тележным скакать по Тверской-Ямской.

«Небольшая речка Яуза, а дороже она мне родной матушки», — говаривал дед. Приезжая в Москву, я хожу по любимым местам деда Тимофея Васильевича и нет-нет, да натыкаюсь в Заяузье на огороженные посреди тротуаров и мостовых куски московского первоестества. Надпись: «Осторожно, раскопка!» И оживает во мне генная память.

В Московских Актах за семнадцатый век* Клавдия Павловна Бурмистрова (а по прашурке своей Лебови — Чепурнова) обнаружила, что изначального нашего общего родственника звали Неустройкой. Именно у этого Неустройки литовские тати «кобылку гнеду, а была она ...тады двух лет противу третьего, со двора свели. У Соломонидки Овчинниковой, соседки его, боярской вдовы, жонки безродной, беспомощной, все хоромишки переграбили, ларишко с ключами сундушными вынесли, а попа Потапья, сына Хромушина, просвирницу Федосьицу, Юрьеву дочь и кровопушницу Хавроньицу вместе с прочими людишками в королевичев приход, во 122-м годе, польские и литовские люди били, жгли и разорили без остатку пятнадцать дворов...».

По известной мне теперь росписи рода объявляю, что хотя и лежала та земля пустым-пуста после разорения, но не все разбрелись тогда из ямщицкой слободки; осталась там девочка

* А запись подъячей писал диак Аврамко Горбачев, а по листам скрепил Оська Амолин. К концу грамоты приложена малая черного воску печать.

Уля, «дочь попа Потапия Хромушина по осьмому годку, да Оксенко, прозвищем Субботко, брат ее по третьему годку, с матери своей, вдовою попадьей Анисьей». Не покинул дворовое место и старожилец слободки, извозчик Неустройко со своим младшим братом Несвигайком «да подсоседником, посацким человеком Ивашкою Хорошуткою».

Неустройка. Какое потрясающее, какое генное имя... Тут не надо вычислять никакой социально-исторической конструкции; от имени, от прозвища моего первосородича вьется в нашей семье роковая нить на безвыгоду. Ни на монету, ни на житейскую сообразительность был не ловок, не оборотист мой распродальный родственник.

После «Смирнова дозору Отрепьева» — «какая была животинишка, коровенко да кляченко, все в семье на хлеб испроели» — он оставил ближний извоз, и сошел в дальний, в ямщики. На снег, на дождь, на град. Не знал Неустройко, как умеючи жить, не разумел, кому поддакнуть, кому подкрякнуть, кому улыбнуться послаще да поклониться пониже. А ведь звал его к себе после хлебного недорода, когда уже пить-есть было нечерта видный боярин Шигоня-Пожогин, которого возил во Ржев Владимирский основоположник нашего родового дела: «Не дам тебе, Неустройко, для твоего многолетнего здоровья умереть студеною смертью, по чужой стороне скитатцы да поморитцы голодом с жонкой своей да со детишки, ко мне воступай, а работа тебе будет в силу хоть у стола прислуживать».

Не пошел, дурачок простоухий. Не польстился схорониться за спиной боярина Ивана Шигони-Пожогина. Да нет, куда уж. В ямщики пошел — против ветра. Лошадиные хвосты считать.

Неустройко... Какое потрясающее, какое генное имя.

По воскресеньям, когда бабушка Прасковья Ульяновна отправлялась в церковь, дед и мой отец, тогда мальчик, выбрасывали из сараев и конюшен накопившуюся хламоту. По тем временам это было неслыханно. Чтоб простые мужики дом не обустраивали, чтоб двор разоряли? Да в хозяйстве каждая веревочка своего часу ждет, это я даже по своему американскому дворцу знаю.

— Шальные они были, Чепурновы-то, иногда и страмцы, —

вспоминает тетя Варюша, — и на выгоду свою несмышленные, не расторопные были.

Что ж, и прекрасно. В слове «расторопный» слышится мне что-то хвостоверткое, лакейское.

Приезжая в Москву, я всегда беседую с Клавкой. Бурмистрова аккуратно осведомляет меня обо всем, что выведала в последних мосгорархивных розысках, а также от живых хранителей наших семейных преданий.

— Растекалась наша родня по всей России, а вот кто в Ульяновской области, о тех знаю, — докладывает мне сестрица. — Нина Стройщикова часто пишет. Ваня Чепурнов женился, живет в Бирючихе. Что с Новополицевой Леной, никто не знает, а первый ее муж, Костя, второй раз женился, жена у его, Роза, несимпатичная, злая, привечает только своих родных, в доме раскардаш, Коська сам белье в прачешную таскает, это мысленно?

Я осуждающе качаю головой и выражаю желанье в следующий свой приезд лично познакомиться с Костей и несимпатичной, злой Розой.

— Все тебя помнят, все приветы передают, — идет далее Клавдия. — Чертила я планы* в том году в Прислонику съездить, дяди Володи Чепурнова дочь Веру отыскать. Да не удалось.

— Ты ведь эту Веру никогда и не видела?

— А чего ее видеть-то? Свою родню с ходу признаю.

— А как?

— Вот поедem с тобой другим разом в Ульяновск, поведу тебя по бывшей Конной слободе, так сама враз всех наших определишь.

— По чему же?

— По лбам, вот как.

Больше для веселой суматохи, чем для дела, затевались временами в Доброй Слободке свары. И бабка Неонила кричала:

*Выражение родных Клавдиных средневожских мест; значит оно «думала, планировала» или «была у меня задумка» — любимый теперешний эквивалент этих значений у нашей ошпанелой интеллигенции.

— А когда Витька-Мурлыкалка у Кочуровых родилась, то сказали в больнице, в Лепехинской: «Девочка у вас, да такая некрасивая, голова котлом, а на голове один лоб торчит».

Мне от Чепурновых, Стройщиковых и Новопольцевых не красота досталась, а только лоб. Высокий. Сократовский. С Олимпийский стадион. Весь в шишках, увесистый, доверчивый лоб.

— А по матушке они ругались? — допрашиваю я Варвару Петровну, последнюю кровную, самую главную свидетельницу нашей общей с ней дорогой родни.

— Сквернословничать? — с ужасом восклицает она. — Ну уж это нет, этим делом даже в пьяном образе никого не стращали. Чаегонами, ну это уж были, а горькую проклятую, да пойми ж ты, ее только в праздники пили.

Значит не выражались? А я вот помню, как перед войной Бронька, по праву ответственного съемщика, допытывалась у Аделаиды Вадимовны, не слышала ли она непечатных фраз во время вечеринки, которую закатил Пимен, возвратившись из заключения, куда он был взят за истязание сына Кольки. Пировал у Пимена, среди прочих «простых» мужчин нашей квартиры, и мой дед Тимофей, обожаемый Бронькой. Аделаида покраснела и сказала:

— Обманывать не привыкла. Одно *слово* слышала.

— От Пимена? — взрычала Бронька.

— Клеветать не хочу. Не от него. Трезвый голос был. Тимофея Васильевича.

— Не может быть, — присела от ужаса лихая наездница конницы Буденного, — и... что же он?

— Он сказал... хэ-эр, — смущенно пролепетала Аделаида Вадимовна, мадам Обломок.

Боже, Боже, море ж ты житейское!

Минус-сюжет
(ящик Яков — прапрадед)

Сказка бродит по русской истории

В. Ключевский

С тех пор, как я начала серьезный зондаж своего пути к себе, для меня не стало праздного часа, все время в упряжке

иду... В 1886 году летом слышался на Лыщиковой горе набатный перезвон. Начался московский всегубитель-пожар. Отчего? Кто ж его знает. Может, копеечная свечка на дощатый пол свалилась, а вернее всего, бабушка Подерегиных затеяла варить на жаровне крыжовенное варенье. Примчались пожарные на вороно-пегих битюгах, приписанных к Рогожской части. Однако оказалось, что жители моей родной улицы сами кинулись спасать мирское добро, кто с колом, кто с ведром, кто с ушатом и уже почти потушили начинавшее гудеть и реветь пламя.

Все же к улице от пожарного разорения пристала беда — сильно обуглился фасад полпивной Коровина. Сам дом уцелел, но от вывески, которая много лет тешила москвичей, остался один пепел. Дедушке Тимофею было тогда семнадцать, и он часто рассказывал эту историю всем жильцам Доброй Слободки.

Александр Николаевич Островский лепил речь своих героев, точно скульптор кончиками пальцев выделяет шелковые складки одежды статуи. У писателя были даже агенты — способные, начитанные приказчики и молодые купцы нового толка, которые приносили драматургу записанные ими интересные эпизоды, пропитанные словечками и выраженьицами своих старого пошибу маменек, суздальского письма тятенок и иных прочих обитателей Таганки и Замоскворечья.

Одним из таких молодых людей был Иван Иванович Шанин, знакомец прадеда и близкий друг Островского; рассказ о романе богатой купчихи с Разгуляя с молодым, но бедным солдатом, я слышала еще в детстве на общей кухне Доброй Слободки, задолго до того, как увидела на сцене комедию «Правда хорошо, а счастье лучше».

Мой прапрадед Яков Евдокимыч (а умер он, когда его внуку, моему деду Тимофею было около десяти лет) известен был в Рогожской как мужик тихий, но на размин языка недолгий. Разговорчивый был человек. Дедушка мой уверял, что прелестное словечко «сладушки» и оригинальная пословица «Понес Алешка отца», означающая долгий, пустой разговор, которые я слышала от моих близких и не нашла ни в одном

толковом словаре, пошли от ямщика Якова. Возможно, но не обязательно, что Яков Евдокимыч привез их с Волги, где заимствовал у родственников своей жены Авдотьи Федотовны Новопольцевой, семью которой впоследствии прославил ее племянник, Сказывальщик из Помряськина. Все мы, потомки ямщика Якова, выраженья эти знаем и не гнушаемся ими в каждой дневной речи.

Яков женил своего второго сына, уже известного вам Василия, на девушке Дарье.

Анкетные данные Дарьи Васильевны до конца заполнить не удалось (сестер и братьев было у ней много, звали их Пелагея, Аграфена, Евфросинья, Мишка, Георгий, Прокофий, Спиридон, а как остальных я забыла; Аграфена и Евфросинья были погодки), но в самом главном, первом пункте, отыскалось в памяти тети Вареньки, что девичья фамилия моей прабабушки была Бунькова и родилась она в большой ямщицкой деревне Буньково, откуда, по преданиям, пришли в Москву родоначальники нашей семьи и где многие жители были однофамильцами.

Насельники Бунькова были людьми особенными, славными тем, что трудно было по всей России отыскать более агрессивную публику. И наша Дарья Васильевна в те тяжелые для женщины крепостные времена была дамой сварливой и ни в чем не уступала мужу, моему своевластному прадеду (он ей: «чет», она ему: «нечет!»). До сих пор не выяснено по какой причине, но буньковцы, и мужики и бабы, сварясь, часто поднимали такой неистовый гомон, что, казалось, в деревне жили сплошь дебоширы и дебоширки. Они нередко и дрались, а, лупцуя друг друга, блажили так, будто им наступили на живот. Неизвестно, чего они там делили, но сражались яростно: исправник лежащего вблизи небольшого города нет-нет да и посылал в Буньково представителей порядка для наведения спокойствия и усмирения «буньков-дуптиков», как прозвали беспокойных соседей окрестные жители.

Название села Буньково произошло от глагола «бунить», что три века тому назад значило «поднимать крик, шум, вздорить» (отсюда слова «бунт», «буянить», «буян» и прочие однокорневые). Та же основа и в фамилии «Бунин». Буня — скандальный человек.

Яков Евдокимыч, московский ямщик, хорошо знал неспокойных обитателей Бунькова и несколько не сомневался в том, что жителям не дает ни спать спокойно, ни жить меж собой дружно вражья сила. Яков был миротворцем, ямщика Якова, человека положительного, степенной осанки и повадки, уважали и слушались. При нем стихали разбойные голоса, сникал бранчливый разговор. На тот случай, чтоб отшибить беса и унять вражью силу, у Якова были свои слова, вроде заклинания, неоднократно им модулируемые:

— Как видишь, народ, что вражья-то сила те сна не дает, хватай ее за конец, коли длинный, да промеж себя и мечи.

Коровин, хозяин полпивной на Рогожской, был ближайшим добрым соседом Чепурновых. И чтобы позабавить закадычного друга Якова и слобожан-ямщиков, он, хозяин не бедный, нанял церковного живописца. Живописец нарисовал вывеску в русском духе — для питейного заведения. На вывеске доморощенный художник изобразил двух парней-извозчиков в синих кафтанах и красных шапках, а между ними — вражью силу в образе хилого желтого чертенка, которого парни тянули, кто кого перетянет, за «конец» — черный, тощий хвостик.

Дед и дядя Петруша, сын Ермака, уверяли, что автор картины писал этих парней «с живства»: одному из них придал черты самого Коровина, а другого рисовал с моего прапрадеда, ямщика Якова Евдокимовича Чепурнова.

Надпись же, много лет развлекавшая москвичей и испепеленная огнем в 1886 году, надпись, за оригинал или даже вторую или третью копию которой я отдала бы сейчас пол своего царства, воспроизводила беспрестанно повторяемое ямщиком Яковым любимое его выражение:

Метать промеж себя, коли длинный конец

Все, что касается исчезнувших в клубящихся туманах ушедшего событий, имеет оттенок феерии и кажется — не искусство имитирует жизнь, а жизнь подражает искусству.

В 1854 году Александр Николаевич Островский приступил к работе над очередной пьесой. Торжественно объявляю: действие

народной драмы «Не так живи, как хочется» имеет непосредственное и самое тесное отношение к нашей семье.

Самыми чтимыми праздниками в отцовской семье были не Рождество и даже не наиболее торжественно отмечаемая православным народом Пасха, а «лошадиный день» Флора-распрягальщика и Масляница. На Флора до Второй войны мы всей семьей ездили под Вербилки. До десяти лет я гостила там в летние каникулы через лето и хорошо помню, как, вместо тостов, под выпивку, дедушка Тимофей и Прокоп Викулыч, родственник наш, фельдшер, провозглашали:

— Флор да Лавёр до лошади добёр!

А на Масляную, вплоть до самого Семнадцатого, все мои прадеды и отец, хорошо успевший захватить это время, работая в балаганах на Подновинских гуляньях, бурно праздновали веселую русскую неделю. И у меня, не признающей никаких «календарных» дней, у меня (в седьмом колене) каждую весну начинают в душе дрожать атавистические чувства. Мне начинается хотеться блинов. Я пеку блины и с удовольствием пожираю их со сметанкой и всякими припеками в своей американской кухне.

Сначала А. Н. Островский хотел дать место происшедшего в «Не так живи» одному из городов на Волге, но потом, многое в пьесе изменил и переместил события в столицу, а в подзаголовке пьесы проставил: «Действие происходит в Москве, на Маслянице».

В драме в качестве поучителей жизни выведены два почти одинаковых персонажа, Илья и Агафон, которые сентенциями, совершенно сходными по отбору слов и смыслу, и очень ускукающими пьесу, уговаривают своих детей, женатую пару, не ссориться. Предполагаю, что перед Островский стоял какой-то настолько яркий прототип, что писатель, увлекшись им, разгрузил его особенные качества сразу на двух резонеров, чем, увы, отяготил развитие действия.

Хотя автор лучших русских пьес прошлого века в своих творениях несколько раз и упоминает нашу улицу («Что это вы, милая, мужа-то «сам» называете, как какая мещанка с Рогожской?»), но собственно представители гужевого транспорта вы-

ведены только в двух его пьесах — разбираемом мною «Не так живи, как хочется» и «На бойком месте».*

В «Не так живи» изображен некий ямщик, действующее лицо, которое никак не действует и вводится в пьесу лишь для того, чтобы произнести всего две фразы из восьми строк, смысл которых для непосвященного читателя, не знающего подоплеку дела, даже и в те времена был полнейшей абракадаброй.

Действие второе, явление первое. Изба на постоялом дворе. Хозяйка Спиридоновна велит ямщику закладывать лошадей, а в Бунькове (внимание!) сдать Мишке Кривому. На что ямщик отвечает:

— Оно это точно, что ж говорить, Мишка Кривой супротив других ловчей будет. Только теперь староста на буньковских ямщиков приказ написал: если будете, прилично, метать промеж себя и тащить, которая половина больше, так и тащите, а им, чтобы не галдить и чтобы супротив говорить не смели

И когда Спиридоновна велит ему не толочься под ногами и убираться закладывать, ямщик возражает:

— Да уж больно мне...тово...неохота от Масляной уезжать-то.

Ремарка Спиридоновны:

— Поди вот, попотчуй купцов винцом... Пошутить там с ними, побалагурь, наври им короба с три, они ведь охотники.

Есть известный в психологии творческий момент, когда мастер прозы, пораженный чем-то в прообразе своего литературного героя, берет его «с голоса» и вводит в свое произведение только затем, чтобы показать красочность его речи. Иногда автор настолько сильно подпадает под обаяние чем-то поразившего его прототипа и настолько ярко и ясно видит его, что не может не оставить ему его настоящей идентификации.

* В пьесе «На бойком месте» фигурирует ямщик по фамилии Раззоренный. Эта фамилия в форме прилагательного чрезвычайно редка, но когда я думаю о том, что другом прадеда и его брата Михаила-Ермака был Алексей Ермилыч Разоренов, который писался как Раззоренов, с двумя «з», у меня возникает сильное желание взять Клаву, номенклатурицу мою за холку, теперь уже цвета «тициан» и заставить ее снова искать в ЦГАЛИ доказательств знакомства великого драматурга с автором народной песни «Не брани меня, родная».

Так вот, имя ямщика в драме Островского «Не так живи, как хочется» — Яков.

У меня нет никакого сомнения в том, что отличнейший знаток русских характеров писал этого ямщика с моего прапрадеда, резонера, утешителя и веселого балагура Якова Евдокимовича Чепурнова.

Однако, это только полдела.

Как-то, в конце Десятых годов, Павел Ильич Тихонов дал Ивану Чепурнову для разучивания арию Еремки из оперы Серова «Вражья сила». И тут папа, совершенно до того не связывая название оперы с любимой пословицей своего дедушки Василия Яковлевича и не зная, что либретто оперы основано на пьесе Островского, начал впервые читать «Не так живи, как хочется» и начал рдеть заалевшейся кровью. Он увидел, что действие народной драмы пересыпано нашими семейными словечками, шутками, поговорками, наткнулся в замечании Спиридоновны и неуклюжих словах ямщика Якова на Буньково, деревню своей бабушки, вспомнил, как ездил туда мальчиком с отцом к родным, как его дед, Василий Яковлевич, ниспровергатель крепостных устоев Николаевской России, кричал жене Дарье Васильевне: «На своем хочешь поставить, буня-дутик? На сво-е-ем? Вражья сила те спать не дает?» — и, наконец, узнал знакомую ему по рассказам родных, вкрапленную в реплику Якова надпись сгоревшей всего за восемь лет до папиного рождения вывески полпивной Коровиных.

Папа кинулся к своему отцу, и дедушка Тимофей, в старину писанный на всю Москву красавец, будничным тоном рассказал, что у его матери Дарьи Васильевны был брат Мишка. Когда отец был маленьким, этот Мишка часто приезжал к Чепурновым в гости из Бунькова и гостинца привозил, красного квасу. Он был кем-то вроде офени и продавал извозчикам на Рогожской знаменитые буньковские упряжи с бубенчиками и наборной выделкой, которые когда-то славились на всю Россию.

Значит, Мишка. Да, действительно, один глаз он шурил, мужики в свое время отлупили, а человек сам был шумный. Верно, прозвище его было Мишка Кривой, а он не любил этого, кулаки вскидывал.

Отец деда, Василий Яковлевич, часто беседовал с хорошими пассажирами на темы старинных былей и преохотно, перемежая свои байки словцом «вражья сила», речисто рассказывал седокам из тонкой публики, как в его молодости, сам очевидцем был, мужик с Дурного переулка Рогожской слободы так напился, что чуть жену не зарезал на Масляную и как ямщик Яков, папаша его, мужика этого уговаривал одуматься, а потом стал звать народ, чтоб вязать пьяного, да сдать в часть.

И еще добавил в рассказе отцу мой дедушка, тоже как не о самом значительном, что Иван Иванович Шанин этот рассказ прадеда записал и отнес знакомому сочинителю;* а другой, который музыкантом был,** много раз историю эту слушал и просил прадеда пересказать, а позже повел Василия Яковлевича с собой в театр постоять на галерке, послушать музыку «Вражья сила».

Старичок из сказки постоял на галерке, послушал арию Еремки, подивился, как это балагур-извозчик Меркулка с Девички да вдруг в музыке Еремкой стал, а потом вышел из театра, купил калача с медом и зашагал к Кремлю...

Самое для меня важное в человеке — голос. Голос Островского... Чтoб пощупать заячью его душегрейку и постоять там, где когда-то был его дом в Николо-Воробьинском у Яузы, куда я всегда часто ходила в юности, да и теперь всегда хожу, бывая в Москве...

Так. Ну а что дальше?

Виновата.

Не помню.

Рассказывал мне дед Тимофей, старинный друг цыгана Михайлы и его дальний свойственник, солдатскую сказку. Длинную, как былина, спокойную, как сказание, задумчивую, поэтическую сказку, полную недоговоренности. И были там, в этой сказке, ключевые, загадочные слова: «И вот подходит служивенький к дочери прущего короля и говорит она ему».

* Островскому, кому же еще?

** А. И. Серов, композитор. Никто иной.

А что дальше — забыла. А дальше ведь самое главное!

И не помня конца, иногда сейчас, спустя годы, в громовержные времена, когда Сатурн, грозный Сатурн, моя планета, проходит над Юпитером и начинает образовывать новое ледяное кольцо и новую Луну, вводя в души всех, кто родился под знаком Козерога странное беспокойство и неизбывную меланхолию, а Пан, Бог Гармонии Контрастов Природы, которых не дано разгадать человеческому уму, своенравный Покровитель Творческих Сил Вселенной, избалованный чичисбей лесных фей и эльфов, Пан, мой земной Хранитель и Брат, вдруг неожиданно, посреди танца в паре с томной, невесомой нимфой капризно усаживается на пенек и начинает наигрывать на своей дудочке мелодично-диссонансную, холоднопылкую, только ему одному понятную песнь, — я просыпаюсь среди ночи, спускаю ноги с кровати и начинаю мучиться: так что же, все-таки, дочь прущего короля хотела сказать русскому солдатику?

Озираясь на прошлое, вижу — по русской истории бродит сказка.

Алла Кторова

о. ПАВЕЛ ФЛОРЕНСКИЙ

Убегающее поле.
Золотящаяся даль...
Но далекого мне жаль.
Но томительно на воле
Нует сладкая печаль.

Голубой хрустальный свод.
Не за ним ли друг далекий?
Парус облачный плывет,
Ропот сердца как дойдет
До тебя, о синеокий?

Я, прикованный к земле,
Твой полет слежу, бескрылый.
Облака все розовей.
Ты меж ними, чудодей,
В синеве необозримой.

(не позднее 1907 г.)*

* Из архива А. Ровнера.

ИГОРЬ ЧИННОВ

*

* *

Какие вокруг образины,
Какие уродины тут!
Крылато-зубчатые спины
Угрюмую душу гнетут.

Уйдем от зеленых чудовищ,
От синих страшилищ-червей
На Остров Небесных Сокровищ,
Где славит бессмертный Орфей

Богов. Где легко и прозрачно,
И жизнь — как большая звезда.
Туда — от грязи аммиачной,
От низости злого труда,

От низости злого безделья,
Дельцов, подлецов, дураков,
От злого змеиноного зелья
Улыбок, оскалов, щипков —

Туда, где ничто не похоже
На скуку наскучивших мест.
Но райское пение тоже
(Всю вечность!) тебе надоест...

EAST-WEST

11

В 1905 году весна была ранней, скоротечной. В апреле Паша впервые открыла окна в квартире. И воздух на мгновение стал особенный среди всей этой мебели в чехлах, ореховых рамок и тяжелых гардин. Даже Наполеон с зеленоватыми щеками, печально вззирающий на усеянное телами поле Ватерлоо, посветлел, стал выглядеть веселее.

Консерватория на неопределенное время закрылась, возможно, до осени, из-за студенческих сходов, но Наташа ходит к профессорше Зарудной брать частные уроки. Профессорша, терпеливо слушая Наташины рулады, пьет кофе с жирными сливками, иногда спрашивает:

— А что, Натали, как насчет сердечного дружка? Смотрите не прозевайте, женский век дуже короток! Съездите в Крым или на Кавказ, это сильно укрепит горло. Там летом масса гарных хлопцев.

В Вербное воскресенье Надежда Григорьевна, Наташа и Даня отправляются на гулянье на Красную площадь. В доме готовится детский спектакль, так что Саша остался на репетицию. Маруся — в меблированных комнатах, у знакомого офицера. По дороге Надежда Григорьевна заходит к «Яну», к «Сиу и Альберти» — послать Александру Александровичу пастилы, любимых им леденцов крем-брюлэ, цукатов.

— У «Яна» все — пакость, — говорит Наташа, — только на вид красиво. Давайте, маман, уждемся и купим папе турецкую мельницу.

— Цукаты могут склеиться, уважаемая Надежда Григорь-

евна, — подхватывает Даня, — взгляните, уж очень свежи. Лучше подождать, когда Штейнгель будет ехать обратно во Владивосток.

— Я так хотела свежих, а то все были какие-то прошлогодние, — теряется Надежда Григорьевна. Она пристально вглядывается в Даню: — Даня, у вас сегодня какой-то особенно несчастный вид! Развейтесь, взгляните вокруг себя. Какое молодечество написано на всех лицах! Весна! Не правда ли, брошка с ящерицей, что прислал Александр Александрович, Наташе очень к лицу? Противный юноша, пожалуйста, не кукситесь! Страхните с себя все и отдохните нервами и душою хоть теперь! Вокруг такое невероятное оживление!

Вчера Даня проиграл на билиярде свою долю материнской пенсии. Маруся торжественно поклялась, что не даст ему ни копейки. Наташа, наконец, позволила себя поцеловать и сказала, что хорошенько подумает — любит ли. О своем проигрыше Даня заикнуться вчера не осмелился.

На Святой Неделе Москва торгует дешевкой. Надежда Григорьевна исчезает в Торговых рядах купить ситчиков на летние кофточки и капоты. Просит ждать ее через час у Лобного места. Наташа и Даня бродят по площади среди детских стоек, предводительствуемых нянями или мамами, жуют вафли, разглядывают цветастые глиняные игрушки, «американских жителей» и «морских жителей», чудесным образом вынырывающих со дна пробирки, вербных чертей, скукоживающихся на глазах у зрителей.

— Смотрите, я ведь тоже могу превратиться в ничто, как эти умирающие черты на вербном базаре, — жалобно говорит Даня. — Или так и останусь болтаться в пробирке, как этот «американский житель». Ах, Наташа, Наташа! Пусть я не очень красив, но я молод. Отчего ты мною пренебрегаешь?

— Ты слабый человек, Даня. Я отлично знаю, что с тобой никогда не буду счастлива.

— Наташа! Клянусь!

У Лобного места их находит Надежда Григорьевна. Даня покорно идет следом с ее свертками.

— В Москве такие поганые вербы! Не то, что в Петербурге, — негодует Надежда Григорьевна. — Представьте, мне

сейчас сказали, что все булочные забастовали. Неужели Москва на Пасху останется без куличей?! Нет, положительно, в Петербурге больше порядка! Больше этого... европейства! — Она недовольно оглядывается вокруг. — Да, конечно, невероятное оживление. Но все так стихийно!

«В сущности, Москва мне глубоко чужда, — безразлично думает Надежда Григорьевна. — Рано или поздно надо перебираться в Петербург. Может быть, тетя Юля когда-нибудь все же умрет и оставит нам, добрая душа, в наследство не только капитал, но и квартиру».

Увы, они были пришельцы в этом безалаберном московском средневековье, гончаровские Штольцы, обреченные существовать в нескончаемой Обломовке, в этих тупиках и переулочках, среди юродивых и кликуш, татарских князьев-старьевщиков, круглых валяжных гласных и нечетких согласных, несимпатичных древнерусских нищих, вульгарных купчих, мордовских половых, допотопных бар, азиатских куполов, шустрых цыган, экстравагантных староверов, отставных дряхлых корнетов, бесчисленного сонма монахов и монашек.

Вслед за ними, соломенными офицерскими вдовами; вслед за студентами в потрепанных тужурках, таскавшими под прохуdivшейся подмышкой тетрадку в клетку с лекциями по марксизму; вслед за честолюбивыми девицами, бегавшими по урокам; вслед за докторами, стыдливо прятавшими большие красные мужицкие руки за полами сюртуков; вслед за актрисами со звучными ботаническими или духовными фамилиями, вслед за всеми ними — вскоре пришли другие. Те, что пока ходили в хедер или уезжали в Тюбингенский университет; обозленные дети смиренных местечковых сапожников и аптекарей, варшавских и одесских присяжных поверенных, дети вятских батюшек и ростовских, курских, рижских, армавирских, эриваньских мещан.

Им, пришедшим к власти на гребне русского бунта, деревянная татарщина старой столицы показалась нестерпимо вызывающей, враждебной. И они принялись, в кожаных своих куртках, с запинаящейся, плюющей южной речью или окающей северной, искоренять этот нелепый, буддийский, прокисший во мраке невежества и лени город. Все им казалось подозрительно,

расово или классово чуждо — московская доброта и московское святошество, московская глумливость и московское благодушие, российская пространственность, юродство, обжорство. Самая жизнь.

В Страстной Четверг Надежда Григорьевна отстояла все Двенадцать Евангелий у Ивана Богослова, через дорогу. Молилась благодарно и много. Первые, самые длинные евангелия стоять было тяжело, утомительно. Набегали житейские мысли. Утром пришло письмо от Александра Александровича с сообщением о получении им ордена святого Владимира. «Дай Бог, чтобы он принес папочке счастье на всю жизнь!» — Михайлов писал, что они все жаждут боя, о мире и думать не хотят, верят, что русские должны остаться победителями. «Дай Бог, чтобы это было так!» Брат Гриша сообщает из Малороссии — народ бунтует, и у одного помещика даже сожгли усадьбу. «Боже, даруй нам времена мирные!» Между тем, пока вопрос о мире мустируется, япошки не зевают и хапают, что следует. «Вот это очень грустно». — Тетя Юля послала папочке образ Спасителя. «Пусть он спасет его от всякого несчастья».

Маленький шустрый попик обегает церковь мелкими шажками, будто меряет игрушечное поле боя, старательно кропя углы. Воздух сперт и несвеж. На пальцы капает горячий воск, за спиной пахнет паленым. «Господь сохрани, чтобы не сожгли новое пальто!» Но мало-помалу на Надежду Григорьевну сходит умиротворение, даже радость: утешительно молиться вместе в этой незнакомой толпе; кто знает, может быть, и нас, со всеми нашими мелкими грешками и хлопотами, ждет прощение, как того разбойника, обратившегося ко Христу на кресте.

Надежда Григорьевна выходит на пахнущую пьянящим московским весенним воздухом улицу, потная, усталая, размягченная, ненадолго приятно освободившаяся от тяготившего душу груза житейских мелочей, и с полными слез глазами провожает ручейки трепетных огоньков, растекающиеся по окрестным переулкам.

Пасхальная ночь тепла и тиха. Молодые вместе с зашедшим за ними Порай-Кошицем отправились к заутрене в Кремль. Мадам Крогг с сыном уехала к родным в Новозыбков. Квартира

пахнет воцеленными полами, чиста и прибрана. В столовой на крахмальной скатерти стоят пасха, куличи, мазурки, ветчина и сыры под бумажными кружевными салфетками, букет белых нарциссов в хрустальной вазе. Горит подкрученная спиртовая лампа. Паша все еще возится на кухне. Балкон открыт, и с улицы при легких порывах ветра долетают грустные, бередящие душу весенние ночные запахи. Видны иллюминированные церкви, совсем близкий красный, подсвеченный плашками шатер церкви Ивана Богослова. Слышен редкий, мерный предпасхальный печальный звон.

Надежда Григорьевна в сером с высоким воротником платье и с накинутой на плечи черной испанской шалью играет — для себя — шумановский «Карнавал». И вспоминает Петербург своей молодости, консерваторию, первых поклонников, в особенности того офицера, который был брюнет и только что вышел из Генштаба; платья, которые она тогда носила; умерших родителей; прежние пасхальные ночи; костюмированный бал 1882 года и бой серпантинном; Михайлова, у которого в прошлом месяце убили денщика.

На рояле стоит фотография Александра Александровича в коричневой ореховой рамке. Надежда Григорьевна убирает пальцы с желтых, местами выщербленных клавиш. Звук, дрожа, замирает в углах, улетает на улицу. Надежда Григорьевна сосредоточенно всматривается в портрет мужа. «Так грустно за тебя, мой дорогой друг, что и выразить не могу. Мысленно я с тобою. И жить хочется, и ведь тоже душою не стара». Она встает от рояля, подходит к трюмо. Вечная женская боль: «А видом — стара».

Слышен низкий, густой звук, начинающийся издалека, от Кремля. И внезапно, в одно мгновение ночь наполняется радостным, трепещущим звоном всех московских колоколов. С шипением и свистом разлетаются в сияющие брызги ракеты. Внизу, на улицах, видны трескучие огни бенгальских свечей. И этот неумолкающий, все заполняющий трезвон! Опасливо заглянув, в комнату входит Паша. Она в яркой ситцевой кофточке и отчаянно розовой юбке. В ее руках горящая свеча. Теплый трепетный свет еще больше оттеняет Пашины широкие скулы, чистый лоб под гладко зачесанными волосами. Она встает на

пороге, набирает в легкие воздуха, вся внутренне собирается и трижды поет высоким бабьим голосом, глядя немигающими, полными слез глазами на образ Спасителя в углу: «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангелы поют на небеси; И нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славить».

— Христос Воскресе, Надежда Григорьевна! — провозглашает Паша, кланяясь в пояс.

— Воистину Воскресе, Паша, — отвечает Надежда Григорьевна, искренне и внезапно оставляя всякое житейское попечение. И, подойдя к Паше, трижды ее целует.

— Вот и дожили, Паша, до Светлого Праздника! Теперь пора думать о лете.

В мае во всю цветет сирень. Наташа бежит по лекциям, записывает Устинова («революция — это, в основе, борьба за свободу личности»), политэкономия Краснокутского, петенциарное право Гернета. Особенно интересно антропологическое учение о преступнике. В середине мая, когда стоят уже совсем особенные, полные возбужденных надежд и угрозы железнодорожной забастовки дни, она срывается из Москвы и едет с Марусей Ивановой и Леной Цветковской в Питер. На Николаевском вокзале их провожает исхудавший Даня. Он мечтает уехать к матери в Кисловодск, начать новую жизнь, исправиться, вернуться к Наташе нравственно и физически новым человеком. Наташе кажется, что в толпе на платформе она узнала Юшу и промелькнувший в толпе золотистый круп его ирландского сеттера. Но сердце не щемит. Вокруг столько всего нового.

На Васильевском Острове, в большой гулкой квартире с майоликовыми каминами и теряющимися в высоте затянутыми паутиной потолками живут коммуной, как в снах Веры Павловны, бестужевки — старые подруги Лены Цветковской. Вечерами они собираются в большой кухне с плитой в потеках жира и горой немытой посуды, пьют крепкий чай, много курят и читают стихи —

Пусть чудовища мрака кишат,
Пусть таятся пороки и мука,
Светлый рай нам воротит наука...

Боец науки всепобедной,
Служитель истины святой,
Больной, измученный и бедный
Неси вперед твой светоч бледный
Над полусонною толпой...

Лена закатывает глаза, морщится, как от сильной зубной боли, шепчет Наташе: «О, Боже! Как я теперь далека от всего этого: «наука — воротит — светлый рай»! А между тем, на дворе нежная северная весна. Головокружение. Скоро зацветет черемуха».

Бестужевками предводительствует Малевич-Малевская, естественница, крупная старая девушка с мужскими ухватками, в шокирующих всех, даже эмансипированных бестужевых, брюках.

— Надо чистить и чистить себя, господа! — повелительно говорит Малевич-Малевская. — Сколько в нас всех дряни! И сколько труда...

Бестужевки обитают среди реторт и возгонок, все в пенсне на серых или черных шнурках, с короткой независимой стрижкой. Наташе кажется, что квартира пропахла дохлыми лягушками. Бестужевки презируют городских, великих князей, правоведов, первопрестольную Москву, извозчиков, священников, лицеистов, сенаторов, дворников, темных охтенских и коломенских баб, Правительствующий Синод. Их любопытство вызывают косоглазый Брюсов и вообще декаденты, татарские князья-старьевщики, молоденькие хрупкие девушки, эмигранты — социал-демократы...

Наташа устает от долгих утренних разговоров за жидким кофе об эксплуатации наемного труда, прибавочной стоимости и том времени, когда разумный труд будет служить источником счастья и довольства человека. Иногда ей удастся вставить в разговор какое-нибудь дельное замечание, случайно застрявшее в памяти от лекций Краснокутского. Она томится, ей хочется в Эрмитаж, в Гостиный Двор, просто на Невский, вон отсюда, туда, к веселым, оживленным, красивым весенним людям. Лена молчит, курит папирску за папирской и когда к середине дня

они с Наташей вырываются, наконец, от бестужевки, выражение лица у нее такое, будто ее только что накормили касторкой. По Одиннадцатой Линии они идут к Неве. Останавливаются у сфинксов. Пробуя узкой ладонью холодный круп сфинкса, Лена говорит: «Боже! Та же пошлость. Давайте отдохнем на Тициане, Наташа! Приближаются странные времена. И вы увидели их облезлых предтеч. Я тоже была когда-то такой, как они. С тем же мусором в голове... Эти, пожалуй, совсем упразднят красоту. Впрочем, от нее и так уже мало что осталось. Поэтому давайте отдохнем на Тициане и Гирландайо. Нет, мне положительно срочно надо в Париж. Чужих презирать как-то легче.»

В один из вечеров на Васильевском вдруг появляется Коля, Юшин брат. Наташа едва его узнает — с отросшей бородой, в нахлобученном по брови картузе. По ходатайству матери и ее влиятельных петербургских родственников его выпустили на поруки без права выезда из Москвы. Но вот он каким-то чудом оказался в Питере и теперь скрывается — ему грозит несомненный арест.

— Ага, и вы, Наташа, примкнули к движению! — лихорадочно, громким шопотом говорит Коля. — Все лучшие и честные умы России с нами! Это так бодрит! Разумеется, мы победим, несмотря на все кровавые жертвы! На последний рубль я купил красные гвоздики и незаметно положил их у подножия Александровской колонны. Я хотел почтить память жертв 9 января. Дураки-городовые, наверное, подумали, что я благоговею перед Александром I! Мистик и ханжа! Вы уже слышали о разгроме нашего флота при Цусиме? Грохот японских пушек прозвучал, как похоронный набат по прогнившему режиму!

Коля не дает спросить о Юше.

— Как хорошо, что вы разочаровались в моем брате, Наташа! Он — типичный представитель своего класса, трутень и лежебока. Таким, как он, не будет места в будущей России! Без сомнения, вы отыщете в наших рядах скромного работающего человека, болеющего общими бедами. Я в вас верю, Наташа!

Наташа, наконец, собралась с духом и навестила тетю Юлю на Лесном проспекте. Странно было входить в дом, где когда-то родилась. Соне живет у тети Юли, по тетушкиным словам,

недурно: играют в картишки, гуляют. Тетя Юля подарила Наташе золотое колечко с изумрудной змейкой и свое благословение: «Когда же ты, Таточка, наконец, выйдешь замуж? У меня для этой okazji уже припасена Казанская. Спешу, мой друг, спешу! Кругом немирные времена, helàs!

В какой-то из полутемных комнат заметно прибавившая в формах тетя Соня секретно шепчет Наташе: «Боже мой! Какая здесь тоска! Какой непроходимый мрак! Ужас! Бедная я, бедная, — тетя Соня всхлипывает, — принуждена обстоятельствами жить здесь. Влачить. А все оттого, что ограничена в средствах. На что мне этот дурацкий баронский титул! Мой белобрысый барон был полное ничтожество... В монастыре, положительно, должно быть веселее... Имей в виду, нам тетей Юлей не завещано ничего. Ни подушки вот этой самой пыльной. Все отказано твоему братцу, Сашке. А еще никому неизвестно, что из него, шельмеца, вырастет.

Из дальних комнат слышны шаркающие медленные шаги тети Юли. Тетя Соня поспешно утирает муслиновым платком мокрые глаза: «Скажи мне, быстро, что творится в мире? Как твои поклонники? Скоро революция? Правда?! О, Боже, какой восторг! Знаешь, первым делом я откажусь от своего баронского титула! Какой мне был прок от моего покойного Фердинанда? Честно сказать, я его совершенно уже и не помню...»

В июне Надежда Григорьевна и Саша в Риге, на взморье, в пансионе госпожи Коппитц. Кавказ или Крым испугали Надежду Григорьевну своей дороговизной. Конечно, и в Ригу ехать было достаточно легкомысленно — по всей обстановке. Но необходимо укрепить здоровье и нервы; впереди, определенно, тревожная зима. Морские купанья и сосновый воздух должны подействовать целительно. Перед отъездом Надежда Григорьевна сдала на хранение серебро, застраховала билеты, оставила Пашу сторожить квартиру и готовить жильцам. Наташа подъехала в Ригу из Питера и сразу огорчилась. Увязая в песке, среди шумящих сосен, по дороге со станции, Надежда Григорьевна предупредила:

— Мужчины у нас или старые, или больные, или немцы, неподходящие для русских девиц. Поэтому сосредоточься на

своем горле и готовься к экзаменам, авось, консерватория откроется осенью. Думаю, однако, что здесь мы должны поправиться.

Дни стоят подряд жаркие. По утрам после завтрака Наташа забирает с собой плед, книги, зонт и уходит в дюны. Подготовка к экзаменам идет слабо, но она уже успела прочесть «Поединок» Куприна и андреевского «Василия Фивейского», а также завести знакомства с несколькими молодыми людьми, весь день толкущимися на пляже. После завтрака Надежда Григорьевна отправляется для моциона гулять с сыном Сашей. Иногда они проходят по пляжу, там, где песок тверже. Саша увлекается фотографией, копит на кодак, а пока счастлив, что променял аппарат кнокс на меркурий, доплатив всего рубль. В особо знойные дни Надежда Григорьевна располагается под какой-нибудь тенистой сосной на верхушке дюны, не забывая приспособить зонтик (солнце вызывает ненужные морщины).

После полдника они все вместе иногда ездят в Дубельн, где в курзале играет оркестр. Надежда Григорьевна находит, что оркестр — чудный, пожалуй, лучше павловского, памятного ей со времен молодости. По воскресеньям они присоединяются к дружной пансионной компании и отправляются кататься на паровичке по реке Аа, — иногда даже захватывают немного и моря.

Горничные в пансионе все чистенькие и хорошенькие немочки, хотя кормит госпожа Коппитц так себе, неважно. За все лето ни разу не ели ни борща, ни хорошего супа — все какие-то мучные похлебки. Мяса в суп здесь не кладут, заправляют мукой с маслом. Вместо чая подают желтенькую водицу безо всякого чайного аромата, пить противно. Впрочем, в Пернове, по рассказам новой пансионерки, купчихи Тихонравовой, только что сбежавшей оттуда с двумя взрослыми дочерьми, кормят еще хуже. Но еда — это второстепенный вопрос, главное — чудный воздух, запах сосны и купанье в море.

Дочки Тихонравовы — порядочные дурнушки и никакой конкуренции составить не могут. Впрочем, и сколько-нибудь интересных мужчин в пансионе нет. Пастор лет сорока, старик-учитель математики из Минска, молодой человек из Петербурга с расстроенными нервами, судя по наружности — большой песси-

мист. Старик-учитель — господин лет шестидесяти в сером парусиновом мятом костюме. После немецкого обеда в его усах и бороде висают капустные сосульки. Он во всю ухаживает за купеческими дочками, за Наташей. Купчиха Тихонравова, не без легкой ноты разочарования в голосе, сообщает Надежде Григорьевне:

— У него жена недавно умерла. И он стал флиртовой кавалер. Конечно, обращает все свое внимание на молодых.

Вечерами, когда в Дубельне нет музыки, а гулять лень, мужчины, Надежда Григорьевна и Тихонравова сидят на открытой террасе, дополнительно дышат сосной, неряшливо обмениваются мнениями. Только что получилось известие о гибели флота при Цусиме.

— Состояние, в коем мы теперь находимся после потери нашего флота, — ужасное, — вещает учитель математики. — Затрудняюсь подобрать другое прилагательное. Эта неизвестность... Она парализует всякое мышление. Не поверите, но сегодня я не мог решить простейшую логарифмическую задачу.

— Должно жара, — откликается, зевая, Тихонравова. — Я вся теку. Мочи нет. — Она, незаметно для учителя, подмигивает заплывшим глазом Надежде Григорьевне, ковыряет пальцем у виска. — И годы наши не самые первые, тяжелые.

— Прочел в «Биржевых Ведомостях», что в Одессе на броненосце «Потемкин» был голодный бунт с социалистическим оттенком, — говорит молодой человек с расстроенными нервами. Немцы легко могут взбунтоваться. Латыши тоже. Вы заметили, господа, что наша хозяйка стала кормить из рук вон плохо? Надо возвращаться домой.

— У меня там муж! — трагическим голосом сообщает Надежда Григорьевна. В самой опасной близости от театра военных действий. Вы правы, Павлуша, надо что-то предпринять. Но я лично пока не вижу, как мне поступить. Все же здесь относительно дешево. Ах, в последние дни мною овладело такое нервное и неприятное настроение, ни за что не хочется приниматься. Ума не приложу... Нельзя отрицать, морские купанья так благоприятно действуют на детей.

— Я продолжаю надеяться, что будет мир, и мы все вздохнем свободнее, — неискренне и с акцентом говорит пастор.

— Но пища! Как можно закрывать на это глаза! Нас определенно стали хуже кормить! — все больше возбуждается учитель математики. — Господа, мы, наконец, должны от имени общества изъять противной немке свои требования! Кто вызывается охотником?

— Здесь иначе, говорят, нельзя, — поддакивает молодой человек. — Их надо постоянно подтягивать. Я готов идти с вами в депутацию.

До террасы долетает визгливый высокий голос госпожи Коппитц и возбужденные голоса мужчин. Некоторое время оставшиеся на террасе стараются прислушиваться, с надеждой и шkodливым страхом. Все равно, трудно что-либо разобрать.

— Немка, по всему, артачится, — говорит купчиха. Она опять зевает, крупно крестя рот. — Вот и лето прошло. И не видели. Ничего не делая, время шибче бежит.

— Быстры и мимолетны дни нашей жизни, — отзывается Надежда Григорьевна.

Мужчины возвращаются, разгоряченные.

— Немка уперлась и ни в какую, — возбужденно сообщает молодой человек. — Намекнула, что может вообще прикрыть пансион. В Риге начались беспорядки и подвоз плохой. Я вам говорил. Не знаю, как вы, а я уезжаю. Вчера был в Риге на вокзале, своими глазами видел — поезда переполнены отъезжающей публикой.

— Спаси Господь! — пугается купчиха. — Пора и мне с моим выводком убираться подобру-поздорову в Лайшев! Неровен час, застрянем у колбасников. Прибьют ни за что! Ни мужчин настоящих, ни снеди! Все говорят: воздух! воздух! — а что с ним, с этим воздухом прикажете делать? В банк под проценты?

Надежда Григорьевна уходит к себе писать письмо мужу. Она делится новостями, пересланными ей сюда, в Ригу: «Младший Туган-Барановский кончил Академию. Слава Богу, карьера его обеспечена, только страшно, чтобы на войну не послали. Костя Перфильев недавно умер от заворота кишок. По отзывам, мадам Перфильева с горя сильно постарела и похудела — последнее ей хорошо; теперь выходит за Филатьева, между ними когда-то была влюбленность, помнишь? Миша Шаневский женится на родной сестре Линеман — вдова, много старше его, —

видимо, женится на деньгах... Ты на присланных карточках вышел очень хорош. Особенно там, где снялся с двумя командами. Ты перед ними совсем юнец. У них такие брюзглые лица, а у тебя и лицо свежее, и фигура — юная... Ты пишешь, что был в Китайском театре... Как же ты разобрался в смысле играемом? Сережа Фибих писал, что у них страшная жара, а ведь это не так далеко от вас? — и масса мух. Кругом — безобразие.

Обращай внимание на здоровье и не надейся на авось. Береги себя ради меня и детей. Я и дети очень укрепили свои нервы, ведь мы дышим одной сосной. Но, судя по всему, как ни обидно, пора уезжать. Повсюду хаос, забастовки увеличиваются, цены страшно поднялись и подвоз скверный. Молю Бога, чтобы все прошло мирно. Наташа беспокоится — откроется ли осенью консерватория. Будем, как всегда, надеяться, что нас ждет лучшее, поэтому не надо унывать».

Надежда Григорьевна вкладывает письмо в конверт, но, вспомнив, вынимает и пишет наискось по пустому полю — «Прибавилось ли симпатичных семейных в твоём кругу?» Оборотившись к сыну, занятому чтением Пинкертонa, она просит:

— Утром напиши, Сашенька, папе мерси за присланные деньги. И потом отнеси письмо на почту.

Этим летом Юша живет при мельнице, под Зарайском, в версте от мельгуновского имения. Мельгуновы, Ржевские, Дурасовы, Юшин отец Николай Петрович — все были родня, сидели в этих местах лет триста. Кто кому кем приходится — молодежь перезабыла, точно счесть родством умели только Николай Петрович и Евгения Евграфовна Дурасова, родная тетка Володи Мельгунова. И, как во всяком обширном родстве, были между ними старые счеты, обиды; точное их происхождение забылось, но неловкий, неприятный дух оставался. Дурасовы уже лет сорок как обижались на Ржевских. Мельгуновы все еще что-то припоминали семейству Николая Петровича.

Юша недолго пожил в старом мельгуновском доме, но скоро сбежал от суматошности, бестолковости его обитателей и редких колких намеков старого Мельгунова к своему новому приятелю, Арсению Прилепову — на мельницу. Ржевские все лето были в

Италии. К Дурасовым ехать казалось неловко — начнут расспрашивать о Наташе — а что сказать?

Прилепов был мужик лет за пятьдесят, давно вдовец, то ли хилый, то ли сектант, а скорее, — старовер-беспопoveц. Был он горбат, улыбчат, ростом с большую девочку, с редкой бородой и такими же редкими, с заметной сединой усами. Похож он был на врубелевского «Пана». Мальчишкой жил в людской у Мельгуновых; у старого Жана, придворного брадобрея деда Мельгунова выучился цырюльничать, открыл дело в Зарайске и получил от обывателей прозвище Кровососов. Женился на вдовой бездетной мельничихе, тоже староверке — не по расчету, а из жалости. Жена года через три умерла родами вместе с приплодом. Прилепов продал цырюльню, переехал на мельницу и зажил богатым мужиком.

На мельнице Прилепов держал двух работников — угрюмых, молчаливых мужиков с вакхическими глазами и во всем им доверял. Мельницей занимался мало, больше пасекой, разведением пчел — для собственного удовольствия. Прилепов часто отправлялся бродить с Юшей. Не то чтобы он любил охоту — таскал свое ружье как палку, — а была нужна компания; и не то чтобы много поговорить, а так, присутствие человеческое — обронить невзначай слово-два.

Прилепов был находчив. Находил в лесу дорогу по звездам. Ходил за Юшей нетребовательной молчаливой собакой, всегда чуть поотдаль, часто наклоняясь к земле — в поисках трав, корней. Поил Юшу травяным чаем, подслащенным пряно пахнущим медом. Выписывал из Москвы календари, дешевых сойкинских классиков — и все с толком.

Юша не столько охотился — для настоящей охоты рано, всего лишь конец июля — сколько натаскивал молодую ирландскую суку, сеттера Ральку. С Ралькой Юша уже взял дюжину дупелей и двух тетеревят на покосе около опушки. Теперь ему хочется натаскать Ральку на лесную дичь, развить в ней нижнее чутье, приучить к аннонсу.

Юша уходит с Ралькой на дальнюю ягодную гарь, располагается так, чтобы под боком была земляника — только протянуть руку, ну, сделать шаг-другой, и отправляет Ральку в лес. С каждым разом она уходит все дальше и дальше в лес.

Привязанный к ее шее колокольчик затухает, делается едва слышен. Иногда она на кого-то лает в лесу, но Юше лень идти, проверять.

Он сидит, нежась на солнышке, пощипывает ягоды, потягивает морс из фляжки, мечтает, как устроится его жизнь с Машей Ржевской — они уже помолвлены, — как он, наконец, кончит университет, выберет тихое место, ну хотя бы мирового судьи, и они заживут где-нибудь в Мещере с ее бесподобной охотой. Сомлев, Юша вздремывает, а проснувшись зовет Ральку сильным разбойным свистом и нетерпеливо кричит Прилепову, бродящему невдалеке в молодом подлеске, в кустах: «Где же вы, Прилепов? Отзовитесь, ау!»

Прилепов и Ралька являются, и они идут на мельницу пить холодное молоко со дна колодца и есть вкусный черный теплый хлеб, намазанный лениво стекающим по пальцам душистым медом.

Они сидят в затейливой беседке на огороде, под старой развесистой яблоней. Густо пахнет цветущим укропом, по-рабочему гудят пчелы, вдоль сизого гнилого палисадника обильно цветут крапива и могучий пунцово-лиловый чертополох.

Иногда на жеребце Абрикосе подъезжает Володя Мельгунов, и Юша идет с ним купаться под обрыв у Осетра, на запруду, выше прилеповской мельницы. Выдающейся своей ленью Володя пошел в родню, в Мельгуновых. Умора на них смотреть, когда собираются, к примеру, в гости. Поспевают чуть ли не к шапочному разбору. Уже третий год подряд Володя остается в предпоследнем классе гимназии. У него роман или что-то в этом роде с Надей Загоскиной, дочерью соседнего помещика и земского деятеля. Надя влюблена в Володю безумно, в прошлом году она кончила гимназию; ей теперь решительно нечего делать. От Загоскиных каждый день нарочный скачет с очередным письмом Володе.

В конце июля полдневная жара особенно томит. В разогретых травах немолчно стрекочут кузнечики. В ложбинке у маленькой заводи голубеют выцветшие незабудки, рыжеют пушистые гроздья таволги. Неутомимые стаи мальков шныряют у самого берега, в прозрачном мелководье над песчаной рябью. На

другой стороне Осетра, за лесом, в безоблачном с виду небе гремит глухой гром.

Абрикос привязан в тени под ракитой. Там же примостилась обалдевшая от жары Ралька. Подстелив пледы, Володя и Юша обсыхают, подставив спины палящему солнцу.

— А что, сегодня опять было письмо от Нади? — лениво роняет Юша. — И какая это дура пишет такому лентяю?!

— Да ведь я ей не отвечаю! Ужасная лень! — искренне сокрушается Володя.

— Конечно, слишком много соблазнов, — говорит Юша. — Жениться тебе пора, вот что!

А ты что не женишься? — спрашивает Володя.

— Мне пока нельзя. Я гимназист.

— Поклянись, что не скажешь! — Юша переходит на шопот. — Мы с Машей Ржевской признались друг другу. И помолвлены. Родители знают. Но это — секрет! Вопрос только — когда. Хорошо бы кончить университет.

— Ну, коли ты женишься, то и я женюсь, — нетвердо говорит Володя.

— Это добре, — смеется Юша. — Марш за бумагой, я тебе продиктую, как следует писать невестам.

Володя покорно плетется к раките, роется в суме в поисках бумаги и карандаша. Юша диктует Володе послание к Наде, а потом долго упраскивает съездить, в Зарайск, отвезти его собственное письмо Маше Ржевской в Венецию. За такой Володин подвиг Юша обещает вычистить ружье. Ему хочется побыть одному.

Поднявшись к обрыву по дороге на мельницу, Юша минует черный крест под двумя дощечками домиком с прикрепленным к сердцевине трехстворчатым медным складнем. Здесь Прилепов положил свою жену-староверку. По-прежнему погромыхивает. Из-за леса вылезает край тучи. Молчат птицы. Из-за поворота пыльной дороги прямо на Юшу мчится телега, груженная мешками с мукой. Дикий, пьяного вида незнакомый мужик кричит:

— Посторонись, барин, зашибу вгорячах и тебя, и твою сучонку!

Юша отступает, и пока телега несется мимо, успевает

разглядеть неумную злобу в глазах мужика. «Не протрезвел, наверное, после вчерашнего», — вспоминает Юша. Вчера в мельгуновской церкви был престольный праздник, и, напившись браги, мужики выдирали колья из ограды — драться с пришлыми из соседней чулковской деревни. Чулковские мужики, отбиваясь, отступали в поле, прикрывая баб и девок, а на них наседали, размахивая кольями, раскричавшиеся и с помутненными глазами мельгуновцы. «Вот он какой бывает, бунт», — подумал вчера Юша.

Прилепова он нашел, по обыкновению, в беседке.

— Что это за дым такой сильный в чулковской стороне? — спросил Юша.

— Пожар, — безмятежно ответил Прилепов. — Чулковский дом горит, ну и пара-другая изб. Остальную деревню отстояли. Думаю так — последствия вчерашнего ристалища. Со вчерашнего все выпимши, что с пьяных спрашивать? Мельгуновские, они тем недовольны, что чулковские богатенько живут, а своей церкви не строят, к соседям прилепились. Мужики, они все у нас тут того, уравнильные. Шершавеньких не хотят, а так, чтоб все были под одно, гладенькие, в чем мать родила... не завидно... Я вот тоже жду, когда до меня, богатого мужика, доберутся. Ежели при разбое не прибьют, уползу в Сибирь, в глухой скит, осуществляю давнишнюю мечту. Вот когда буду, наконец, свободный. И то сказать, прикован к этой чертовой мельнице да к женину кресту, как каторжный.

— Делать что-то надо, становому сообщить, — волновался Юша, — а вы тут прохлаждаетесь, книжки читаете.

— Кому надо было, тот до станowego уже добежал. А я человек в летах. Беги не беги, все уж, поди, сгорело. Против судьбы не попрешь, и кого научишь? Свет весь на плутовстве стоит, все пьяницы, все озорники, все воры.

Юша расслабился, сел. Некоторое время они сидели молча, в послепопуденном буддийском созерцании.

— Тишина сегодня какая, птиц не слышно, будто все вымерли, — заметил Юша.

— А на Финогена всегда так, — откликнулся Прилепов. — Птицы замолкли, задумались, — с чем им зиму пережить. «Попрыгунья-стрекоза лето красное пропела, оглянуться не

успела, глядь, зима катит в глаза». Вот уже и Илья на носу! Да, Илья, а мы останемся, как свинья. Уйдет и уволокет нашу теплоту...

«Какой симпатичный мужичок, просто прелесть», — думал, совсем размякая, Юша. Жара брала свое.

Что вы сегодня читаете, Прилепов?

Да вот, Пушкинского «Гусара».

Скребницей чистил он коня,
А сам ворчал, сердясь не в меру:
«Занес же вражий дух меня
На распроклятую квартиру.»

Небось, вы, Юрий Николаевич, и о моей мельнице что-нибудь в этом роде думаете.

— Нет, отчего же. У вас покойно.

— Ведьм у меня или русалок нету, потому что женским духом на сто сажень не пахнет. Водяной же, говорят, есть. При запруде живет. Мысли путает. Смущает. Впрочем, я сам его никогда не видел. — Прилепов лукаво улыбнулся. — А может, меня с ним кто из глупых баб спутал в куриных сумерках. Похож.

— А вот, скажем, бес. Этот везде рыщет, — продолжал Прилепов. — Соседскую барыню, Софью Александровну Чулкову лет двадцать мучит по старому фасону. Не утаивается за научной кличкой...

«Что за чушь» — сказал себе Юша. — «Софья Александровна — самая обыкновенная сумасшедшая. Да не сгорела ли она в сегодняшнем пожаре?» Разговор сам собою завял. Юшу нестерпимо клонило в сон. Чтоб хоть как-то встряхнуться, он стал просматривать старый номер газеты. Наткнулся на выигравшие год назад лотерейные номера.

— Вот бы выиграть, — мечтал вслух Юша, — купить имение. Еще лучше — откупить у фабрикантши Матвееву. Завести пруд с карасями, чтоб жирные были, кучу детей, правильную охоту, как в старину, при бабушке. Заграницу я лично не хочу, там для всего места мало. А тут русской душе раздолье. Сколько кругом удачников, а мне не везет, хоть тресни!

— А вы никак не игрок, уважаемый Юрий Николаевич. Вы, как теперь говорят, — интеллигентный созерцатель, — откликнулся Прилепов. — И почему нам знать, кто удачник, кто неудачник. Обо мне говорят: вот везучий мужик, богатство само с неба свалилось. Богатство не ахти какое, только праздность мою удовлетворительно питает, а прикован я к нему, как клоп к вкусному телу — самому не оторваться. Все ожидаю, когда чуждые силы прервут, так сказать, нить моих судеб. И потом, войдите в следующее рассуждение. Когда, предположим, на Страшном Суде труба заиграет, так удачнику-то труднее будет вставать. На нем ноша во-о какая, милуша вы моя!

Туча, долго висевшая над лесом, надвинулась. Стало совсем душно. Закапал мелкий дождик. Юшу окончательно разморило.

— Пойду-ка, вздремну. Мочи нет.

— Что к обеду прикажете? А что если картошечку молодую в печке потомить, да в сметане. Потом укропцем поверху эдак присыпать для благоухания. Да по парочке жареных лещей, жирных на брата?

— Общий прожект недурен, — на ходу чуть не засыпая, отозвался Юша.

У Прилепова Юша спал не в комнатах, которые находил душными, а на сеновале, обширном, наполовину заваленном сеном, наполовину пустом. На пустующей половине стояли белые плетеные кресла и стол.

Уютный дождь мягко барабанил по крыше. И под его мерный ропот Юша тотчас уснул глубоким молодым сном. Он проснулся уже в сумерках. Дождь так и не перестал. Кто-то маленький и щуплый тенью слетел с белого плетеного кресла в угол, под скат крутой крыши. Юша протер глаза, всматриваясь в темноту. Определенно там кто-то был, невысокий, в темном сюртуке со стоячим воротником, даже ботинки блестели, начищенные.

— Эге, значит, я не один, — сказал себе Юша. И позвал: «Эй, вы там! Чего прячетесь, выходите!»

— Я несколько не прячусь, — отозвался этот кто-то. — Напротив, единственно из чувства деликатности. Не испугать. Знаете, уже был случай. Так я во избежание паники.

А я не из пугливых.

Как знать, как знать, — захихикал кто-то, выходя из своего угла под крышей. — Позвольте мне опять в кресло? Место погреть. Для вас.

— Я тут не сижу. Да кто вы, полно?

— Погорелец, — жалобным голосом сообщил незнакомец. — Временно перекочевал от своей приятельницы Софьи Александровны Чулковой. В поисках пристанища-с. Но думаю, что здесь не задержусь. С двумя старыми дураками мне тут никак не ужиться. А вы, юноша, как ветер — сегодня здесь, завтра — неизвестно где.

Незнакомец достал папироску. Чиркнул спичкой, закурил. Юша успел разглядеть его лицо — вполне интеллигентное, с густыми бровями, неожиданно черными посреди сильно тронутой сединой шевелюры и пегой профессорской бородки. Юша потянулся за портсигаром.

— Да вы спускайтесь с вашего сена, — пригласил незнакомец. Подождете, неровен час. Я сегодня уже натерпелся этого страха. Посидим, покалякаем. Позвольте угостить своей папироской. Особая марка. Впрочем, курить — это от скуки. И потом, для здоровья. Как говорит народная мудрость: «Кто курит, на тот свет потурит, а кто пьет, — незнакомец учительно воздвиг указательный палец, — на тот свет попрет». Однако, в небольших количествах. И чтобы уж вовсе не лишать себя удовольствий жизни... Все можно, только осторожно.

Юша все еще не мог побороть в себе сонную истому. Сел в кресло в полоборота к незнакомцу. Затянулся предложенной папироской и стал искать, куда стряхнуть пепел. Незнакомец подвинул ему тяжелую малахитовую пепельницу.

— Мерси, — поблагодарил Юша. — Я что-то эту пепельницу здесь не припоминаю. Ваша?

— *Omnia mea mecum porto*, — усмехнулся незнакомец.

Папироска благотворно подействовала на Юшу. Ему показалось, что он почти проснулся. В голове, во всем теле разлилась приятная, волнующая легкость, вот сейчас встанешь и не удержишься, полетишь. Боясь показаться невежливым, Юша спросил незнакомца:

— Что-то не припоминаю вас у Чулковых.

— Давнишний сердечный друг Софьи Александровны. Можно сказать, компаньон и жилец. Единственно, из врожденной скромности. Все больше в задних комнатах. И по душам с хозяйкой. А теперь осиротел. Сгорела!

— То есть как?! — опешил Юша.

— Обыкновенно! Задохнулась дымом! Может, и заметили бы, если б кричала. А она так, бессловесно. Люди же все были заняты спасением ее гардероба. И прочих драгоценных безделиц.

— Но вы-то знали! — начал закипать Юша.

Подумал: надо бежать, кричать — ратуйте, тут на сеновале сидит поджигатель, убийца. Но ноги были слабы, вялы.

— Придите в чувства, юноша! Мало ли что я знал! И знаю. Старинный обитатель здешних палестин. Я вашего прадедушку, к примеру, знал. Условия человеческого существования-с. Вы смерти боитесь, что ли?

— Нет, — ослабевая от порыва, сказал Юша.

— И правильно, нечего ее бояться, — поддержал незнакомец. — Что ж, когда-нибудь и к вам придет *la belle dame sans merci*. К каждому своим манером. Чего тут паниковать! Падение в суету дел ради дел вытесняет ясную идею смерти. А вы — куда-то бежать, кого-то звать.

Незнакомец откинулся в своем кресле, разглядывая Юшу:

— Однако, вы сильно возмужали против нашей последней встречи. Помните, тогда, в ивняке?

Он засмеялся высоким, визгливым смехом. Закурил следующую папироску, и пока он подносил спичку к пухлым красным губам, Юша вспомнил, где он видел эти злые жгучие глаза. По телу пробежал холодок, сердце застучало, он чувствовал, как каждый волосок встал — уже не в страхе, а в отчаянном, непреклонном отвращении.

— Метафизические рефлексy, — усмехнулся серый. — Всосанные, как видно, с молоком матери. Сильная дама, ничего не скажешь. Но и вы молодец. И вправду возмужали. С вами теперь интересно поговорить. Поделиться взглядами на современность. На будущее. Знаете, мы с вами совсем из другого романа. Женитесь? Одобряю. Только зрелище делает существование приемлемым. Вы уже начинаете понимать, как страшно-

вата и бессмысленна сырая жизнь. Не скрою, сегодня я получил определенное удовольствие от пожара. Что-то от гибели миниатюрной Валгаллы. Вагнерианское. Хотя грустно, лишился давнишней клиентки. Но было приятно наблюдать подвиги ваших хваленых кротких мужичков. Жгли и плясали. Ими двигал дух уравниения, дружественный мне дух небытия. Замечательный, подлинно артистический народ! Все в них найдете. Смирение и наглость. Рабство и бунт. Опрошение и уничтожение. Вечером радушно накормят, а ночью, того, зарежут. А какую потом, вспоминая, прольют слезу! Неподдельную! Искреннюю! Горячую! Замечательно нежный народ! Примут поношение от мира — да как сокрушенно, до какой подлинной глубины! А потом над этим миром сами и посмеются в кулачок. А как иступленно ожидают чуда! Как обожают безвинное страдание — это настолько в воздухе, что даже отчаянные разбойники, если их прищучат, убеждены, что страдают безвинно. Не знаю, просто не знаю, как это я переживу разлуку с таким артистическим народом, как ваш. Бегуны, разбойники, юродивые, странники... Да, разлука. Хотя, впрочем, ненадолго. На какие-нибудь десять-двенадцать лет. Так они пролетят — фьют, незаметно.

— А что потом? Примешься пакостить с новым рвением? — с презрением и гадливостью в голосе спросил Юша.

— Ну зачем так? Пакостить... Я всего лишь наблюдатель человеческих слабостей. Разумеется, слегка заинтересованный. Ах, люди, люди, отчего вы так слепы для символов всего, происходящего в мире? Вот, скажем, пожар. Стихийное бедствие. Умышленный поджог. А за ним — символ. Вам бы, юноша, насторожиться, собрать вещички — вот и друг ваш давеча был полон нехороших предчувствий — и отправиться к вашей невесте, за границу. Неторопливо осмотреться, выучить язык, не спеша пустить новые корни.

— Зачем мне уезжать? Мне и здесь хорошо. А что пожар, так пьяные были. Что с пьяных спрашивать. У нас тут всем хорошо, все счастливы.

— Вам, людям, всегда и во всем свойственно находить альтруистические оправдания. М-м, какой-то дефект творения. Между прочим, ваш прадед держал гарем; не думаю, чтобы девки были при нем счастливы. Ваш дедушка, вы его помните,

тихий такой старичок, на колесиках, неукоснительно осуществлял право первой ночи — в педагогических целях, а ваша бабушка держала — для верности. Кстати, дурочка Матрена, помните? Она вам приходится теткой. Единокровной, конечно. Условия человеческого существования. И принципы. А спросите вашего папашу — он вам скажет, что родители были патриархальны и не обидели даже кошки. Нам всем так хочется хоть маленьких иллюзий! Спросите у самого закоренелого злодея, как он дошел до жизни такой. Он вам непременно скажет, что не виноват. Не мог сдержаться. Несправедливые социальные обстоятельства. Другие виноваты. А зависть и жадность? Они так привыкли рядиться в тоги справедливости. Впрочем, чего это я все обличаю, протестую? Будучи отцом лжи, мне бы следовало радоваться, ликовать. Ан нет! Видно и во мне сидит этот проклятый дефект пратворения. Противоречивость. Известная раздвоенность. Добавьте сюда мое пристрастие к игре. Забавная игра — утверждать, что ты хочешь всеобщего счастья, а по гамбургскому счету — хочешь вон тот дворец, есть от пуза, всеобщего поклонения и счета в банке. Неужто вам незнакома эта завистливая и монотонная жажда черни — владеть, владеть, владеть?

— Я, например, ничего особенного не хочу, — возразил Юша. — Ну, помечтаешь иногда, не без того, так — от праздности. Мне и в голову никогда не приходило, что кто-то может мне завидовать. Лично я решительно никому не завидую. И ни на кого не зол. У нас с мужиками мир. Каждый знает свое место, в чужое не суется. Разве иногда, спьяну.

— Это ваша ошибка, — заметил сурово серый. — И плохое знание истории. Юша припомнил: да, отец говорил, что пугачевские разбойники повесили кого-то из родственников и французенку-гувернантку впридачу. Так ведь это было давно.

— Это ваша ошибка, — повторил серый. — Вы еще успеете увидеть, как злобны и завистливы будут дети этих мирных мужичков. Как они зубами будут рвать то, что вы и подобные вам считали своим по прирожденному праву. А оторвав, лучше стеречь. И считать теперь уже своим — по тому же праву. И опять завидовать вам, вернее, тем из вашего племени, кому к тому времени повезет уцелеть.

— У вас родится сын. Два сына и дочь. Ваша жена умрет от чахотки и малокровия. Вы будете ломать себе голову, как прокормить своих детей. Потом они кое-как вырастут, но будут вам совершенно чужды. Один из ваших сыновей, баловень, будет никчемным человеком и умрет в концентрационном лагере. Ах да, ведь вы не знаете, что это такое! Миленький изолятор, вроде тех, что англичане несколько лет тому назад настроили для буров. Только эти будут похлеще. Другой сын станет опорой нового режима. Ему будет стыдно своего имени, и он будет вас избегать. Разве что перед смертью он поплачет, но вы этого уже не увидите. Он будет работать в очень специальном учреждении, ваш младший сын, такой человеколюбивый, человекодавливый маленький мерзавчик. Условия человеческого существования-с! Кондиции! — Когда вы, наконец, умрете, в метель, от отвращения и усталости, от рака, у вас не будет зубов, а у вашей дочери денег на ваши похороны. Потом вас все-таки похоронят с пятидневной седой щетиной, запавшим ртом и отросшими желтыми ногтями. На панихиду придут ваши сестры — братьев поминай, как звали, переживете, юноша, — придут ваши старые сестры, старшая и две младших. Младшие к тому времени забудут свои революционные follies и станут чрезвычайно религиозными.

— Чего это я все бью вас деталями, деталями? — спохватился серый. Он протянул Юше ароматную папироску. Юша машинально закурил.

— Главное — общая картина, а ваша личная скорбь, что же, она отлетит, пройдет. В Свяжске — вы там не были? — поставят памятник Иуде Искарйоту. В Сергиевом Посаде будут копать в мощах вашего великого Сергея Радонежского; хорошо еще, если не выбросят.

— Почему памятник Иуде? Почему именно в Свяжске? Вздор! Кто поставит?

— Чем же плох Свяжск? Мирный городишко, живописный. Кто поставит? Дети праха, они и поставят. Это их манера истреблять вечность. Они будут жить в перманентной обиде и зависти. И это приятно. Они устроят классическое буржуазное государство со всеми его пороками, но без его добродетелей. Шумом и суетой они будут стараться заглушить дурные мысли.

Ведь у них не останется воскресений для благочестивых размышлений в церкви (и сплетен потом, добавлю от себя). Но, как говорится, шум смерти не помеха.

Серый встал, потянулся, поплескал узкими плечами. Зевнул сладко, по-кошачьи. Юше безумно хотелось спать.

— Вы засыпаете, а я зеваю, — капризно заметил серый.

Прилепов закричал из комнат:

— Юрий Николаевич! Заспались! Пожалуйста к столу!

— Не хочется! — ответил серый Юшиным голосом. — Уж вы там как-нибудь один, Прилепов. Мочи нет, хочу спать. — И проказливо погрозил Юше пальцем. Юше было все равно, наплевать.

— А теперь марш спать, юноша! — приказал серый. Вздыхнул. — Право, не знаю, увидимся ли. У меня столько дел впереди, столько дел! Наутро, к вашему благу, вы мало что вспомните. Дурной сон, забавная нелепица... О ревуар!

Во сне, кошмарном и тяжелом, Юша видел себя в темном, глухом пространстве. Вверху, сбоку, даже под ногами мерцали звезды. Летали какие-то театральные средневековые топоры, виселицы глаголем с раскачивающимися в полете пустыми петлями, древнерусские шлемы, почему-то тряпичные, ангелочки-путти, позолоченные, с каминных часов на Новинском бульваре. Неспешно летали девицы, знакомые и незнакомые, растерянно всплескивая руками, в белых платьях. Проплыла мимо старая Наташа, — все равно, он ее не узнал, — жалуясь: «Потеряла зуб, Юшок, это меня окончательно подкосило». Пролетела мимо Маша Ржевская, только чуть-чуть постаревшая, с острыми, сильно выступившими скулами и горько сжатым немym ртом. Сестра Лена — неожиданно седая, все с теми же печальными красивыми глазами, теперь сильно выцветшими. Питерские кузины, фрейлины императрицы Марии, в какой-то ветоши. Младшие сестры Маши Ржевской — до безобразия старые, лысые, в сбившихся на затылки скверных париках. Юша заприметил вдруг свою бабушку — она не изменилась, он всегда такой ее знал — в черном муслиновом платье кринолином и во вдовьем капоре с атласными лентами. Она тоже куда-то летела, совсем близко от земли, и знаком пригласила Юшу за собою. И

Юше показалось, что с нею лететь всего удобнее, безопаснее — не расшибешься. Он крикнул ей: «Бабушка, подождите меня, сейчас полечу вслед за вами». И вдруг на его пути, не близко, но и не далеко, появился *этот*, уже знакомый, в черном профессорском сюртуке и сказал: «Шалишь, братец! Никуда ты не полетишь! Условия человеческого существования-с. Поразмысли об условиях человеческого существования». И тут Юша увидел рядом с говорящим свою мать, Анну Петровну. Она молча кивала головой, будто подтверждая слова серого и улыбалась ему, Юше, знакомой иронической улыбкой.

Юша сильно дернулся и проснулся. В оконце сеновала светило солнце, после дождя пахло приятной свежестью, немилосердно шумели птицы. Юша высунул голову на двор и впервые в этом году заметил желтизну в листве высокой березы.

— Здорово же вы, Юрий Николаевич, вчера всхрапнули! Я вас обедать звал, звал. Еле докричался. Зря отказались. Лежцы были дивные.

Прилепов сидел на лавочке, ковыряя в банке с медом, пробуя на язык.

— Разве ж я отказывался? А впрочем... Должно быть, перегрелся, — ответил Юша. — Чертовщина какая-то снилась, чушь... Чем это вы занимаетесь, Прилепов?

— Вот, сижу в утренней праздности, ем муравьев с медом и сам с собой философствую. Забрались в жбан, етить их. Тоже сладенького хочется. Всем этого, сладенького хочется. И в этом, в сладком, безвозвратно потонули. Завязли. Како всплывеши? Вот, думаю, и мы, людишки, так. Подавай нам сладенького. Наедемся, завязнем в нем — и до свидания. Что тело любит, то душу губит.

— Вы сегодня пойдете со мной на сечь? — поинтересовался Юша. — Я там тетеревиный выводок присмотрел, на ягольнике.

— А что же, — отозвался Прилепов. — Пока время — наше. А вы спускайтесь полегоньку. Я вам яблочных оладьев спек. Самовар в беседке полчаса как фырчит, устал поди.

Юша встряхнул головой, отгоняя последние клочки неприятного, уже начавшего забываться сна. Он опять был в своем солнечном, с детства знакомом мире бесполезного и удобного барского существования.

Я просыпаюсь среди мира прустовских вещей. Горка уединенных фарфоровых чашечек, подсвечники, подушки. Над моей головой — строй коробочек из-под съеденных венских конфет. Десяток Моцартов на крышках, а внутри, вместо съеденных десятилетия назад «кугельхенов», — письма. Этикетки — «От моей дорогой маман», «От Хильды», «От Эгона», «От Мориса». На темных книжных шкафах — сухие букеты. В щели ставен лезет пронзительное солнце. Я открываю дряхлые, облупившиеся ставни; в комнате повисают столбы солнечной пыли. За окнами жирные черные грачи и вороны греют бока на стриженных ветках лип и буков. В простенке — раскрашенная гравюра с пейзажа Белотто — вид от Верхнего Бельведера. Я смотрю в окно; ничто не изменилось за эти двести с половиной лет.

Я распаиваю ветхие, хрупкие рамы. Крошу птицам хлеб. Опять пахнет сыростью, прелью, кладбищем, дохлыми птичками Шенбрунна. За хлебом прилетают живые синицы. Ссорятся. Клюют. Вороны и грачи презрительно следят за их возней с высоты своих лип. Черный маленький шпиц Шварц нюхает голый куст розы.

— Рекомендую вам моего ворона. — Я слышу за спиной голос принца. Оборачиваюсь. Никого нет.

— Слишком светло, вы меня не увидите. Подождите, мой ворон сейчас подлетит и сядет на подоконник. Единственное живое существо, связывающее меня с этим материальным миром. Мы с ним почти ровесники. Он моложе меня всего на каких-нибудь десять лет.

— Отчего вы так любите *эту* жизнь, принц? — Я делаю вид, что недоумеваю. — Мне, например, уже хочется отдохнуть.

— Ну, зачем же спешить? Уверяю вас, там, где я — не так заманчиво.

Большая черная птица перелетает с верхушки липы на безносую греческую голову в шлеме. Потом на подоконник. Придирчиво заглядывает внутрь.

— Сегодня все в порядке. Ф анцхен. Все тихо, — говорит невидимый голос принца. — Однако, прошу тебя всегда быть поблизости. Мало ли что. — Он обращается ко мне: — Как

печально, что я до конца не властен над моим ментальным телом! Иначе...

Ворон косит на меня грустным, понурым глазом подневольного лакея. Телефон издает дребезжащий звук и давится. Я не успеваю поднять трубку.

— Это виноваты мы с Францхеном, — говорит принц. — Уходи, Францхен, лучше не возбуждать лишних подозрений.

Ворон, тяжело хлопая крыльями, перелетает на безносую греческую голову.

— Держитесь независимей, *mon ami*. Кстати, за зеркалом в прихожей вы найдете подслушивающее устройство. Так, иметь общее представление о визитерах Как деликатно, как по-венски, не правда ли? Не беспокойтесь, оно уже разъединено. Абсолютно ничего в спальне.

Телефон, наконец, прорывается.

— Это я, Лили! Что было с твоим телефоном? Я не могла дозвониться... Жареная картошка? О, это прелестно! Немного овощей. Крепкий кофе. Я лечу. По дороге куплю что-нибудь сладкого — и в трамвай. Ты же знаешь, как мы, западные люди, экономны. Кстати, позже у нас свидание с тем самым журналистом, который тебе так много помог. Вам, наконец, пора встретиться. А *bientôt*! — Она делает паузу. И говорит не то, что хотела, что-то другое: — Будь благоразумен и ничего не бойся. Я не причиню тебе зла.

В прихожей из-за старинного зеркала нескромно торчат концы проводов. Я стараюсь запихнуть всю эту машинерию за зеркало. На холодном кафельном полу у входной двери лежит письмо. Твое письмо, Лиза. И в нем — фотография, так мало похожая на тебя.

«Ты уехал, и пошел прекрасный русский снег. Я сидела у окна на Перри-стрит и думала — сколько нелепостей в жизни! Зачем ты сказал мне о Лили? Ты знаешь, откровенно, я еще не знаю — люблю ли тебя. Между нами такая разница. Культур. Жизненного опыта. Я боюсь. Я еще ничего не решила. Мне нужна *security*. Позволь мне побыть в моих фантазиях. Мне кажется, мне надо испытать все, чтобы приобрести опыт. Рано или поздно я тебе отвечу. Кто знает, может еще приеду в Вену и приготовлю обед для нас троих. Ты упоминал о каком-то

профессоре — друге или больше? — Лили. Кто из них держит тебя в своей паутине? Я, как всегда, шучу...».

«Ну вот, жизнь, может быть, уже и прожита, — говорю я себе, пряча письмо подальше от глаз Лили. — А теперь будет не житие даже, а так, помогающая самообману фантазмагория. Я не привез из Плевны в рязанскую Чурмантеевку полудохлого турка для развлечения ленивой дворни. Не написал из Бухареста писем своей жене, своей прабабушке — как-то поживают дети, оправился ли Леля от кори, прорезались ли зубы у Юши, благополучно ли прошел коклюш у Коли. Не заложил имения в банке. Не проклял своих детей. Не ожидаю с нетерпением внуков. Не проигрался на билиарде. И не получил ордена. Не завел счета в банке и не упомянут в примечаниях. Не написал «Былого и Дум» или «Отражений». Никого не предал на Лубянке и не страдал за идею в Лефортове. Не купил места на кладбище и не разочаровался в своих — левых или правых — увлечениях. Ничего, решительно ничего не было сделано к тем годам, когда самое время умереть, не успев окончательно надоесть самому себе».

Звонок в дверь. Я открываю. Лили нерешительно стоит на пороге с букетом анемонов в руках и тяжелой сумкой через плечо.

— Зачем ты звонишь в свою собственную квартиру?

— На всякий случай.

Лили поправляет волосы перед зеркалом. Косится на торчащие концы проводов.

— А, ты заметил! Не стоило разъединять эти провода. *Они* пришли перед твоим приездом и попросили. Я не могла отказать, извини. Я ведь тоже здесь из милости. Иностранка.

Я молчу. По тому, как она на меня смотрит, я знаю, что она знает, что это сделал не я.

— Пустяки, — вздыхает Лили. — Я попрошу Иоханнеса, он все наладит. А пока я тебе расскажу, пользуясь временной немотой этого прибора. Представь, мне опять звонил этот молодой нахальный советский голос, ужасающий акцент, якобы инженер, и уговаривал работать. Патенты. Там были детали, но это несущественно. Думаешь, стоит согласиться? Ну не забавный ли город эта Вена? Шпионы, профессора гностики...

Может быть, ведьмы? — Лили застенчиво улыбается. — Впрочем, если ты веришь в свои апокрифические глупости, у тебя есть шанс. Некий испанский каббалист шестьсот лет тому назад утверждал, что Лилит — это лестница, по которой восходят на круги пророчества. Надо только мне понравиться. Или приобрести надо мной власть. Мы, женщины, так непостоянны, так капризны...

Скрестив на груди руки, она сидит на церковной скамье в прихожей под зеркалом. Длинная прядь черных волос свисает на бледный лоб. На худых ключицах бежевый верблюжий свитер.

— Ты сейчас похожа на балетную Эдит Пиаф из бежаровской «Любви поэта».

— Ах, правда? Неужели я так трагически бесполо? Довольно шутить. Я страшно голодна. Пожалуйста, не забудь открыть вино. Ты знаешь нас, французов. Но прежде — поставь в воду анемоны. Как они трогательно хрупки!

Я ставлю вазу с цветами на белую мраморную доску большого, под самый потолок, зеркала в красной гостиной. Фрау Матильда, угрюмая мраморная девочка, неодобрительно глядит из противоположного угла. Я слышу за своей спиной дыхание Лили. Поднимаю глаза: из зеркала на меня глядит пустой желтый череп с иссиня черными длинными волосами. Я непроизвольно вздрагиваю. Говорю себе: «Так это, наверное, и должно быть». Оборачиваюсь. Нет, это всего лишь Лили, хрупкая, грустная. Смотрит чуть испуганно, как нашкодивший ребенок.

— Я тебя чем-то напугала?

— Нет, ну что ты. — говорю я. И, стараясь быть легкомысленным, — Когда-нибудь ты мне расскажешь об иллюзорной природе материи.

Стоя у окна, Лили меланхолически замечает: «Все тот же пейзаж! Боже, здесь ничего, почти ничего не переменялось. Быть может, поэтому я и выбрала такое пристанище».

Мы сидим с нею на кухне за некрашеным деревянным столом. Между нами коробка конфет «Моцарт» и бутылка вина. Под испытующим цепким взглядом Лили стакан вина в моей руке неожиданно тяжелеет, наливается свинцом. Она отводит глаза, старается спрятать улыбку, выходящую в углах губ.

— Как хорошо быть с тобой. Здесь. Сейчас. Ждать весны,

через какой-нибудь месяц-два. Отчего жизнь так жестока? До твоего приезда я не любила этого дома. Я уехала учиться в Париж, оставив Хильду и парализованную бабушку. У матери я не остановилась. Сняла маленькую квартиру за городом, в Савиньи. Отец, или тот, кто играл его роль, платил. Добиралась до Сорбонны с двумя пересадками. Чашка холодного кофе из автомата, пока ждешь поезда. Дома — грустный жирный холод меблированных комнат. В серый зимний день смотришь на свои мертвые желтые пальцы, с вечной сигаретой, утопаешь в одиночестве, в отчаянии. В Вене я увлекалась Дю Белле и Ронсаром. В Париже пришел черед Бодлера.

— Моя переводческая деятельность двусмысленна. Я — существо замкнутое и робкое. Да, не смейся, я робкое существо. Каждый раз на публике я делаю над собой величайшее усилие — выйти из внутреннего оцепенения.

— Ты — настоящий русский? — Лили впивается в меня любопытными глазами. — Тебе знакомы все эти бездны Достоевского?

— Вряд ли, — говорю я. — Слишком много мелодрамы.

— Конечно, незнакомы. Ведь у тебя почерк мелкого педанта. Моя сестра играет в «Андромахе» Расина. Знаешь, эти новые озадачивающие постановки. Все три первых акта актеры в классицистских тогах. В четвертом они надевают, наконец, красное трико. Теперь герои — то, что они есть на самом деле. Я нахожу, что мы играем третий акт. Ну, может, в самом конце второго. А в четвертом судьба начнет выделять кренделя.

Лили снова где-то далеко. Смотрит на свой бокал невидящим, пустым взглядом.

— Здесь, в этой квартире живет столько духов. Не говоря уже о Бельведере, о Вене. Когда я вернулась из Парижа, мне было страшно одиноко. Я допоздна сидела в библиотеке, ходила в кино, лишь бы не быть дома. А потом, переходя улицу теплым весенним вечером, встретила *его*. Моросил дождь. Он был на мотоцикле. Лицо Джеймса Дина.

— Ты любишь эти простонародные сексуальные лица?

— Он чуть меня не задавил — я поскользнулась на мокрой брусчатке. Страшно извинялся. Это было у пансионата «Монополь», знаешь, напротив... Мы пили кофе в холодной кухне, за

этим самым столом. В соседней комнате сердито и многозначительно кашляла Хильда. Бабушка уже ничего не понимала. Я пошла его проводить и вернулась из пансиона за полночь. На пороге Хильда сказала мне, что бабушка умерла. Через неделю Хильду отвезли в сумасшедший дом.

— Что было с ним? С этим мотоциклистом из «Монополя»?

— Ах, да. Он возил меня в госпиталь к Хильде. Оттуда мы ехали в Венский лес, под черные сосны, под буки с прошлогодними ржавыми листьями. Тогда была весна. Цвел алый вереск. Какие-то странные мелкие лесные орхидеи. Потом появились собачьи розы, первоцвет и печеночница. Я не могла оставаться одна дома, даже с ним. И впервые не хотела в Париж. Я никогда не спрашивала, что он делает в этой жизни. В одну из самых коротких ночей в июне он остался здесь. Мы забыли на проигрывателе пластинку Цары Леандер, старую тяжелую шлаковую пластинку. Она застряла на слове «Traüme». Когда он уезжал, солнце уже взошло. Не глядя в глаза, он сказал на прощанье: «Как ты можешь здесь жить? Будто в склепе. Все эти прабабки на стенах, шепчущие в ухо: «Вон, вон, вон, у вас, разумеется, нет счета в банке. Убирайтесь прочь!»».

Венское радио умолкает на очередном концерте барокко. Пошли новости: умер Жан Ренуар, захватили американское посольство в Тегеране, казнь Бхутто отложена на каких-нибудь десять дней, в Нью-Йорке страшно холодно, а в Англии забастовали гробовщики. В Вене ночью будет туман, завтра же — дождь, дождь, дождь.

Несколько двусмысленных венских анекдотов, и вот уже на фоне дрожащих томительных скрипок запел бархатный голос:

Wien, Wien, nur du allein
wirst stets die Stadt
meiner Traüme sein . . .

— Какое пошлое совпадение! — кривится Лили. — Выключи эту мерзость.

В оглушающей тишине кухни капля назойливо стучит в невытую тарелку. Мне хочется поцеловать Лили. Она сидит оцепенело, как застылый труп. Я боюсь, что сейчас, после моего

поцелуя, она рассыпется прахом, грязно-желтой горсточкой пепла.

— Как ты нашла профессора? — спрашиваю я, чтобы что-то сказать. Меня начинает утомлять это висящее в воздухе молчание.

Лили вздрагивает, втягивает голову в плечи. Потом пригубляет вино и только теперь заметно розовеет.

— О, совершенно случайно. По объявлению. Ему требовалась секретарша, а мне — лишние деньги. Он жил у своей последней жены, в длинной гулкой квартире. Там было еще больше глобусов, чем на Шварценбергплатц. Странно, но тогда он выглядел старше и был меньше ростом. Ходил, шаркая, приволакивая ноги. Он посмотрел мне прямо в глаза и сказал: «Вы что, забыли? Как вы могли забыть? Какой вздор!»

Я хочу спросить Лили. И не решаюсь. Нет, лучше оставить все, как есть — недомолвки, умолчания, нашу игру. Мне кажется, что так разумнее и проще. Лили благодарно улыбается:

— Спасибо. Профессор — прирожденный администратор. Он терпеть не может непредвиденных ситуаций. Неожиданный ночной телефонный звонок повергает его в панику. Он все всегда раскладывает и классифицирует, а потом не может найти...

— А где теперь его жена?

— О, она процветающая переводчица. Очень долго не могла успокоиться, звонила мне, предлагала деньги. Наконец, мы встретились. В кафе «Норма», здесь, на Ренвеге. Шел дождь, мы старались не смотреть друг на друга. Пара венских стариков с удивлением прислушивалась к нашему разговору. Нам подали по холодному, невкусному, приторному марципану. Она кричала, что я, несомненно, околдовала Германа, что меня надо сжечь на костре, что я хуже и опаснее ведьмы (а что она знает?), что она даст мне деньги, много денег. «Смешно, мадам, — сказала я, — кто в наш век верит в ведьм? Я его у вас не забирала. Он сам ко мне пришел. С чемоданчиком. С маленьким чемоданчиком и с зонтиком. Если хотите знать, я сама в плену».

— Разве ты в плену?

— Да, конечно. Я всего лишь раба Германа. Иногда, правда,

он отпускает меня покричать в пустыню. Я хочу сказать, в Венский лес. В дымные осенние дни.

Лили снова оцепеневает. Я трогаю ее за плечо. Она хочет поцеловать мою руку. Мне неловко.

— Скажи, что теперь все будет иначе, что что-то случится, и я не останусь горстью праха. Хоть на время. Потому что в день искупления я буду все равно опять одна — голосить в пустыне.

Дымный зеленый прищур глаз. Она затягивается сигаретой. Возвращается сюда, на землю, в *этот* зверинец, в *это* время.

— Каждое место хранит свою тайну. И каждый человек. . . . О, мы заболтались! Поль нас ждет в кафе на Порцелангассе в два тридцать. Он очень занятой человек. Было бы неудобно опоздать. А мы так до сих пор еще ни о чем подробно не поговорили. Не обсудили твою Лизу. Впрочем, впереди — вся жизнь. Не упрекай меня.

Я знаю это место на Порцелангассе, рядом с дворцом Лихтенштейнов, рядом с кафе «Коралле». Туда меня когда-то приводил герр Бюлер. Сидя в дешевом табачном дыму, старые господа пили кофе, пиво, играли в шахматы, в карты, вздыхали:

— О, каким императором мог быть Рудольф!

Им нравилось снова и снова проигрывать старые венские развлечения, прежние венские драмы. Величие исчезло уже при старом императоре, но еще не пришла сегодняшняя суетливая монотонность.

— Позвольте мне занять на вечер вашу очаровательную Мари! Этот несносный бал! Без ее компании я умру со скуки!

Der Alte Herr, старый господин, император Франц-Иосиф идет склеротической походкой через дворцовый сад на Максимилианплатц. Там его ждут фрау Шратт, музыкальный ящик с механическим соловьем, букет свежих цветов, кипферль, горячее молоко, сырая морковь и стихи Гейне.

— Ах, если бы Руди в тот вечер остался у Митци, ничего, ровно ничего бы не случилось. Она бы его отговорила от этой глупой затеи! После старого джентльмена мы бы имели еще более замечательного императора. Империя была бы спасена. . .

— А скажите, куда подевались венские бульвардьеры? А прежний Захер? Согласитесь, захер теперь не тот. Осталось

одно имя. Помните историю с эрцгерцогом Отто? ... Незабываемая теплынь 1914 года. Вы помните? Уж это вы должны помнить! В июне все на скачках в Фрейденау. Тополя и ивы на Дунае.

— Ich hatt' einen Kameraden. . .

Мы на Порцелангассе. Я ищу глазами и не нахожу «Коралле». Теперь на этом месте — магазин японских автомобильных запчастей. Поль уже ждет нас. Он сидит на краешке венского стула — только что пришел, или вот-вот уйдет. Зеленое пальто-шинель висит на аккуратных плечиках в углу. У него голубые глаза и рыжие редкие усы. Лили спешит: «Я вас оставляю. Я и так слишком задержалась с ланчем. Поль, вы слышали о смерти Берты? Берты Шредер. Да, да, та самая ассистентка профессора Вайсса. Она выбросилась из окна. Глубокая депрессия. Говорят, она позвонила профессору перед самым его отъездом в Париж. Жаловалась на свое состояние. Но он не придал никакого значения. Как нелепо! Крупнейший специалист по самоубийствам в депрессии и не придал никакого значения?!

Поль обиженно молчит.

— Странно, что Труды вам об этом не сказала. — При упоминании Гертруды в глазах у Поля появляется непонятный мне страх. Он весь сжимается, напряжен.

— Я безумно опаздываю. До свидания! Позвоните мне, Поль!

Лили одаряет меня заговорщицким взглядом. Грозит незаметно пальцем. К нашему столику ковыляет старая женщина в деревенском платке, похожая на ведьму из сказок Гриммов. Она продает веточки засушенного клевера.

— Оставьте их в покое, фройляйн, — бросает на ходу Лили. И уходит.

— Вы не знаете профессора Вайсса? — спрашивает Поль. Ему трудно начать разговор. — Вы слышали, наверное, что Вена полна безумцами. Так вот, когда мы сходим с ума, нас везут к профессору Вайссу. Мой покойный брат начал с того, что смастерил маленькую гильотину и рубил головы морским свинкам. Его, наконец, отвезли к профессору Вайссу. Через месяц он повесился. Кстати, говорят, что при нацистах профессор Вайсс ставил эксперименты на людях. Теперь он — знаменитый

психиатр, босс моей жены... О, вы еще не знаете этого города! Он полон зловещих и липких привидений.

Поль часто замолкает, ища слова. Напротив нас, за соседним столиком сидит бородатый студент с простывшей чашкой кофе. Он читает толстый том Вильгельма Райха, иногда поднимает голову — посмотреть на публику, и опять ныряет в книгу.

— Всё в порядке, — говорит Поль. — Вы получите разрешение на работу. Но... зачем вы здесь? Зачем вы оставили Россию? Россия... Небывалый социальный эксперимент... Конечно, может быть, сейчас, когда идеалы революции преданы.

— Революция — всегда разрушение, а не созидание, — резонерски отвечаю я. — Перераспределение власти имущих.

— Теперь стало модным ругать революции, — с печалью богатого буржуа говорит Поль. Вспоминают преступления, совершенные именем революции... А идеалы? Что вы дадите нам взамен? Как мы можем забыть или отмахнуться от огромных достижений русской революции? Подумайте, какие перемены произошли в жизни русских простых людей; ведь они — внуки и правнуки рабов! Если социализм и не построен, то в России, по крайней мере, уничтожен капитализм. Советское общество в движении...

— Вы что, Поль, действительно верите в благотворные результаты механических перетрясок и всеобщего кровопускания?

— Зачем этот сарказм, — смущенно говорит Поль. — Мы, правда, так мало знаем... Но если бы вы прожили здесь всю жизнь...

— Что вы знаете об огромном мире, отправившемся на дно?

— Я должен во что-то верить. Согласитесь, свободе свойственна обескураживающая, оглушительная неприкаянность. Здесь, на Западе, мы разучились ненавидеть, но не сумели научиться любить. Мы боимся войны, боимся революции, не знаем внутреннего мира. Все кругом рассыпается. Остаются тревога и поиск глаз. Мы ничему рабски не подчиняемся, кроме вещей и самих себя. Мы верим только в карман и желудок. Разве это не ужасно? Тем временем Третий мир умирает в голодных корчах, задыхается в отчаянной нужде! Все это звучит для вас, наверное, как советский пропагандистский пассаж. Но это правда. Прости-

те, я могу себе позволить так говорить с вами. Ведь вы — чужой в этом городе. На Западе. У вас большое преимущество — быть чужим.

Поль уходит в обиженное, не ждущее ответа западно-европейское молчание. Взгляд его голубых, резко очерченных темными ресницами глаз застывает на зеркальном венском стекле.

— Что вы знаете об одиночестве? — вздыхает Поль. — О нашем европейском истерическом одиночестве?

— Знаю кое-что, и то немного, — об американском.

— Здесь всё надо жадно держать при себе, опасно оглядываясь, — продолжает Поль. — Информацию, друзей, вкусы, мечты, всё, решительно всё. Иногда в туманную ночь я выхожу прогуляться в Штадтпарк. Верхушки лип тонут в молочной пелене, как на пейзажах немецких романтиков. В окружении беломраморных обожающих дам черный Штраус выглядит особенно демоническим. Я долго стою на мостике над каналом. И не хочу возвращаться домой. Какая-нибудь безнадежная душа бредет внизу, вдоль берега. Быть может, нам есть о чем поговорить с этой душой. Но мы никогда друг друга не окликнем... Я так устал от собственной двойственности! От нюансов... От корней. Пленник своего класса. Как все венцы, я люблю старого императора Франца. Романтическое венское пристрастие к Габсбургам. И отталкивание от них. Габсбурги — зачатие той эпохи. А я мечтаю о новой... — У меня есть приятельница, со-трудница. Вот кто — настоящий, чистый человек. Ее зовут Анна, она из Вюрцбурга. Вы ее сейчас увидите.

Поль сверяется с часами:

— Она должна мне передать кое-какие материалы для газеты. Она пишет у нас статьи. Под псевдонимом. Я во многом с нею согласен. Хотя и не во всем. Ее разыскивает немецкая полиция. Нет, она не террористка. А впрочем...

В дверях возникает девушка с лицом Гленды Джаксон. Скулы, высокий крутой лоб, карие глаза. Она делает знаки Полю, косясь в сторону филера, пожилого и усталого, сидящего к ней спиной. У Анны дорогая шуба из серой лисы. Я расплачиваюсь. «Спасибо», — говорит Поль. Читатель Вильгельма Райха провожает нас завистливым взглядом.

Анна ждет на углу, в сизых сумерках. Дребезжит старомодный трамвай.

— Мой русский друг, — представляет меня Польш. — Будущий сотрудник нашей газеты.

— Вы, как всегда, непоследовательны, Польш, — решительно говорит Анна. — Основная черта вашего класса. Вам, видно, недостаточно тех антисоветских помоев, который каждый день выливает на читателя ваша газета.

— Мы должны помогать людям, — виновато отвечает Польш.

— Успокойтесь, фройляйн, ничего политического. История, культура, — говорю я примирительно.

— История, культура, — иронически повторяет Анна. — ...А как облечь доброту и честность в радостные, дружелюбные формы? Вы знаете мой рецепт? Для этого надо убивать, убивать, убивать — всех этих жирных буржуа, этих филистимлян, этих филистеров, этих крыс...

— У нас это уже делали, — говорю я. — И безуспешно. Появились новые, тоще и злее, и в гораздо большем количестве. Ведь обычно начинают со справедливости для всех, а кончают справедливостью для себя.

— Простите мою резкость, — говорит Анна. — Я устала. От общества потребления. От Вены. От слезки. От Германии. Может быть, от себя.

— Мне надо домой, — робко говорит Польш. — Спасибо за то, что вы принесли, Анна. Не провожайте меня, пожалуйста. Аннелизе... Мой мальчик...

— Разве Аннелизе не в Париже? — резко спрашивает Анна.

— Да, да, конечно, в Париже. Но мой мальчик... С ним Труды, ей вечером надо уходить. Я прикован к больному ребенку...

— Держитесь в стороне от этой Гертруды, — деловито предупреждает меня Анна. — Еще одна буржуазная вампириша. Вам повезло — попасть в самое логово...

— Не преувеличивайте, Анна, — беспомощно просит Польш.

— Я не преувеличиваю. Скорее, преуменьшаю. До свидания, Польш!

— Я пройду с вами, — говорит мне Анна. — Нам по пути. Ведь вас приютили в Бельведере?

Она идет широким, стремительным шагом. Сзади задыхаются, спешат два пожилых филера.

— А, черт с ними, — устало роняет Анна. Она берет меня под руку. — Оказывается, вы тоже им подозрительны. Это уже как-то объединяет.

На Лихтенштейнштрассе филеры заметно отстают. Им, в их возрасте, трудно мчаться в гору. Из-за угла, с Берггассе выныривает стайка громкоголосых американцев.

— Американское паломничество к меморабилиям Фрейда. Любопытно, как долго завядший нарциссизм Вены еще будет импонировать мужицкому неиспорченному нарциссизму американцев? Как же вы там жили, в Америке, в этой реабилитации материального мира. С вашей пресловутой русской духовностью?

Она не ждет ответа, тотчас уходит в себя. Но с нею рядом тепло и просто. У университета Анна выпрастывает горячую руку. Неожиданно целует — неиспорченный, братский поцелуй в щеку.

— Какую глупость вы сделали, господин буржуазный эскапист! Теперь будете метаться... Я возьму ваш телефон у Поля. На днях обязательно позвоню. Кто знает, может быть, еще придется вас спасать! Еще раз напоминаю, будьте осторожнее с Труди. И не попадайтесь к герру Вайссу! Пока!

Я жду, пока высокая сутулая решительная фигура Анны не исчезает в университетском дворе. Совсем темно. Я возвращаюсь к Вотивкирхе. Глазами ищу окна мансарды, где жил герр Бюлер. Конечно, можно отыскать его имя в телефонной книге. Попробовать позвонить. Но я почему-то не хочу. Может быть, боюсь.

Вы любили читать «Сюддойче Цайтунг», герр Бюлер. Играть в шахматы в клубах дешевого сигарного дыма. Вы были добры и угощали нас, свалившихся с забытой планеты эмигрантов, кофе и апфельштруделями. Мы ездили в Венский лес на вашей старенькой машине, пили пиво на Леопольдберге, сентиментально собирали фиалки. Вы были горды тем, как замечательно водите авто («сорок лет на горных дорогах и ни одного приключения!»). И тем, что знаете толк в дружбе. В женщинах. В карбюраторах. Когда вы говорили об этих вещах, ваши седые,

коротко стриженные усики победно топорщились. Рядом с вами во мне вдруг просыпался какой-то зыбкий ремаркизм, который я до того не любил. «Ich hatt' einen Kameraden». Вы водили меня к вашим друзьям-инвалидам, потерявшим ногу, руку, молодость на Восточном фронте.

Они ставили на стол сливовицу, крохотные стопки, ностальгически вспоминали русский плен, русских женщин. Вы заговаривали зубы пьяным таможенникам, чтобы выручить мою нехитрую кладь. «Zoll ist Zoll!»,* — говорили вы, уважительно помахав указательным пальцем и хитро подмигивая. Мы ездили с вами на кладбище, где лежали рядом три поколения швейцарцев Бюлеров, осевших в Вене. Вы скупно молились. Зажгли лампаду-фонарь. Поправили свалившийся на бок с могилы отца горшок с сухими цветами. «Ну что же, по крайней мере за место заплачено еще на двадцать лет вперед», — сказали вы, и трудная жила проступила на вашем лбу.

На Вену ползет туман. Город замирает. На Хельденплатц — пустота нордического гранита, пристроенная фюрером к юриспруденциальным колоннам императора Франца. Пахнет выжженной Хиросимой. Под ногами звенит прошлое арийское спортивное ликование, кончившееся разбомбленными городами. На Шварценбергплатц, под памятником советскому солдату — выбитый золотом на таком же нордическом граните приказ Сталина.

Неужто они везде, их так много, они так вездесущи?

Я поднимаю голову вверх, к балкону профессора Хопфа. В щели между портьерами виден свет. Там сидит он, как колдун из сказки — над всеми этими зловещими памятниками, над прошлым, над настоящим. А где сейчас Лили? В клубе, на упражнениях по аэробике? В пустыне?

Я был неправ, обвиняя во всем комиссаров. Виновато время. Просто, так должно было случиться везде. И случилось.

В парке Бельведера никого нет. И принц сегодня не ждет меня на верху своей лестницы. Куда-то исчезла Мышильда. В

* «Таможня есть таможня!».

квартире Лили на кухне сидит худая маленькая женщина в сатиновом халатике, со слезящимися глазами.

— Я — Хильда, — говорит она просто. — Эс Готт! О, я вижу, вам подарили мой любимый шарф.

— Но ведь вы...

— Ах, я право не знаю, умерла я или не умерла. Впрочем, возможно, что я и умерла. Здесь так долго было пусто! Иногда Матильда приезжала из Парижа. Смести пыль. Разобрать бумаги. А теперь здесь вы. Я пришла по привычке. Дом стал теплым. Пожалуйста, будьте осторожны. Я прошу. Эта Лили...

Резкий телефонный звонок. Хильда умолкает. У нее испуганный вид. Я иду к аппарату, в гостиную.

— Я просто умираю от любопытства, — спешит Лили. — Надеюсь, вы с Полем друг другу понравились. Завтра вечером я приду стирать белье. О, я буду скромна! Ты знаешь, возможно, нам удастся кое-что сделать. Для меня. Для тебя. Для всех нас. Это зависит от настроения Германа. И от его бдительности, конечно. Спокойной ночи!

Когда я возвращаюсь на кухню, Хильды там уже нет. За окнами густая, сырая темнота. Подсвеченный шпиль Святого Стефана. Мигают красные огоньки на мачтах Каленберга. В приемнике бархатный баритон привычно, наверное, страшно пленительно, мурлычет под аккомпанимент нежащихся скрипок —

Wien, Wien, nur du allein
wirst stets die Stadt
meiner Traume sein...

(продолжение следует)

Юрий Кашкаров

РОБЕРТ ФОРД

ЛУИС МЕДИАС ПОНТУАЛ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ

«Тысячелетия стоят выгребной
ямой. В яме валяются машины,
куски чугуна, жести, винты,
пружины...

Темная, мрачная яма. И светятся в яме гнилушки, фосфоресцирующие грибки, плесень. Это наши чувства. Это все, что осталось от наших чувств, от цветения наших душ».

Юрий Олеиш, «Зависть»

I

В круге твоих глаз
Дни повторяют круг нашей судьбы,
И сегодня такой же,
Как в давнем горестном прошлом,
Путь, извилистей, чем он был.

* Р. Форд — канадский поэт, переводчик Б. Пастернака, А. Ахматовой, С. Есенина. В 1944-1966 гг. находился на канадской дипломатической службе. В предисловии к книге, где напечатана эта поэма («Needle in the eye», 1983), он пишет о ней: «Поэма основана на опыте беженца испанской гражданской войны. Многие из испанцев бежали в СССР в 1939 г. и все они нашли советскую систему невыносимой. Здесь я попытался выразить потерю иллюзий и отвращение столь большого числа людей к Советскому Союзу, когда, после войны, Сталин сбросил маску, которую он носил в период схватки с немцами, и вернулся к первозданному и отталкивающему сталинизму в действии» — *Прим. переводчика.*

Мы находим, что шарканье наших ног
По свежей плоскости снега
Это медленный ход
К концу мира каждого, от
Пропасти к пропасти
И от судьбы человека к судьбе человека

И обратно к тебе, что встал
Пред стенами Бога — всмотреться.
Приглушенный шум зимней улицы
Тонет в почти
Холодном пространстве.

Нехотя наши глаза
От красных кирпичных стен
Поднимаются вверх, где ряд
Желтых дворцов. Души
Мертвых давно героев, и наш беспомощный взгляд

В сотый раз останавливаются на
Золотых куполах в пламени
Зимнего солнца. Забыть
Ворон и галок потревоженные души,
Подобно недобрым знаменьям,
Кружащиеся в небе. Потом
На твоём плече — рука
Милиционера: «Поди! Поди!» —
Универсальное, древнее, цепью через
Все скованные века.

II

Рим больше не Рим. Два
Вечных города в мире
Теперь — Мадрид и Москва.
«Мы» — слова ненависти, которые они
Используют, чтобы к двери

Рая гнать друг друга.
Мы — ветры и моря слов в услуженьи
У Левиафана.
Я хотел бы лежать в прохладной тени,
Вдали от города моего рожденья

И от города, выбранного мной
Для моего изгнания. В месте,
Свободном от тирании солнца и деспотии снега.

Я хотел бы чувствовать мягкие руки любви,
Останавливающие лживую мысль,
Стирающие морщины с твоего лба
И печаль с твоих глаз.
Не видеть тебя,
Чистый восход твоего лица
Из-за бесчисленных, безликих евразийских масс —
Отстраненно идущего сквозь
Молчаливую, невыносимую жуть
Человеческого страдания, необратимость крушений,
Скорбь тех,
Кто сказал, что этот путь —
Подлинный рай. Ведь это только —
Слов прибой через степь леденящую стужей.
Сладкий мир, по которому я плакал,
Не для того, чтоб служить.

О, Испания,
Вижу тебя — Херес-де-ла-Фронтьера —
В морозном дыхании,
Встающая, как статуя, из наших губ,
Как смерть — из ствола револьвера.

В глазах мерзнут слезы — бросить их
В улицу горстью камней;
Пусть покатаются к дому —
Единственная сентиментальность,
Еще остающаяся во мне.

Под миром — туннель молчанья,
И мои шаги вниз, вдоль стен —
На встречу с тобой на дороге
Ночи, в чистой, растущей,
Не нуждающейся в словах пустоте.

III

Не ветры из Самарканда,
Не ветры из Голодной Степи
Довершили дело:
Буря с Финляндского вокзала
Сдула в ночь Иберийскую Деву.

И, воздвигнутая из ночи,
Другая встала святыня —
Черная, красная, порочная,
Функциональная фабрика московского духа.
Кенотаф сомненья.

Я иду по белой
Пустоте святыни твоей, Иберия!
Тайна Испании
Затеряна в сердце России,
Для которой внешний мир — феерия
Жарких страстей Андалузии,
Индий, золотых морей.
Но не ненависть,
Не ярость татарских набегов; мы осторожно
оставляем следы ступней
Вдали от цыганского города, где,
С моей матерью рядом, ясно
В памяти: черное дерево — святыне мученики,
Реальные и настоящие боги, —
Чтоб боялся...

Там в распахнутые ворота
Врывались сорок жандармов и
Чинили разбой во имя
Богов, которых я потерял, которые были в юности
Разрушены маврами и глухими

Попами в мертвых
Городах, в лагерях заключенья.
Вы возвращаетесь
Ко мне в отреченное убежище
И ангелы, передо мной шествуя,
Плчут о сокровищах неба
Золотой Андалузии. Имена их
Товарищей по Гвадалахаре
Встают из снега.

IV

Если б каждый день видеть холм,
Смотреть на него и знать —
Он будет завтра там же,
Как дерево в городе,
Где можно взывать
К ангелам и слышать
Их голоса, защищающие от оков
Камня. Святыня тайны,
Золотом вкрапленная
В бетон рабочих суток — без панихид заводских гудков

И контрольных часов; как
Спрятать тень?
Чтоб две руки, соединенные в любви,
Чтоб этот холм, это дерево, эта святыня,
Эта тень в нашем
Мозгу — были не на московских серых

Площадах для плоских сентенций,
Но на остатках
Монгольского прошлого, на печальных следах
Древних трущоб Востока,

Пахнувших ордами
Тимура и гунна Атиллы.
В черных, ясных, как зарево,
Глазах туркменского мудреца:
Тайна и древнее древо.

V

Россия, Испания
Испытали дыханье Востока.
Монгологлазый нищий
Был когда-то твоим
Завоевателем; под его кнутом
Московские князья низко
Склонялись перед Ордой —
В иконе Нередицы
Видится вся история тысячелетней славянской боли,
Вся скорбь и человечность гибнущей Византии,
Которую турки властно рушили.
Ее потаенные стены, переходящие
В деревянные стены России —
Аванпост христианства
На границе азиатского наводненья.

Все величье страданья и жажда
Приятия мук — в грубых красках
Иконы, противостоящей
Безжалостности.
Этот, в грязных лохмотьях бородатый старый туркмен,
Последний мечтатель, затерявшийся в дебрях России,
где,
Властелин ее степи полынной,

Он однажды ломал славянскую массу блаженных людей,
Как ломают распятие, — о колено.

Ныне он грезит
О странной силе Афона,
Пришедшей в Новгород. Последний мечтатель —
Шаг неверный, глаза, устремленные к башням, ладони,
Сложенные в раздумьи — он приблизился
К красной стене.

Мир раскололся —
Резкий звонок, мигалка, настезь
Ворота Кремля, из них
Кавалькада машин. Мудрец
Падает под колеса.

VI

Какими словами любви
Жизнь
Этой обворованной, бесполезной душе
Вымолить мне?
Или Испании,
Сожженной в вечном огне

Ненависти? Не по собственной воле
Пошедшей на смерть, но
По неизбежному плану
Брошенной на
Перекресток всех четырех ветров,
Раздувающих пламя.

Поколенья снегов
Покроют тело,
Годы спустя лед растает,
И запах новой голой земли
Поднимется к желтым стенам.

Мы идем, отворачиваясь от
Запаха
Прошлых веков. Пустыми глазами
Мы смотрим на
Забвения, слезы, мечты
Греции и Туркестана.

В черных колеях,
Оставленных в снегу шинами грузовиков,
Словно прибитых трамбовкой годов,
Всходит зерно весны.
Один человек может назвать много имен
Бога, но и одного уже — много.
Чуждое прошлое
Не отрицает границ
России, чья дорога началась
С поисков смерти.
России, не пошедшей на Запад или Восток,
Но под смертною сенью
Открывшей Бога.

Из снега
Я поднимаю семя,
Горсть
Навоза,
Цветок одиночества,
Камня
Краюху, кость

Жалости, прах
С могилы Иберийской Девы,
Смерть,
Что не ожидается.
Белый

Свет! Преклонение пред Россией, ее
Безысходностью, чудом, поиском, неудавшимся
Совершенством. Мертвые, много
Мертвых висят на мне . . .
Где, на какой дороге
Не сумел я чего-то понять?

О, цыганский город, я не могу
Прийти к тебе опять . . .
Скажи жандарму, врагу
Простых людей: «Я не сумел».
Он будет рад.

1950 г.

Перевод Д. Надеждина

ЮРИЙ ИВАСК

Похвала Российской Поэзии

Имажинисты. В 1919 г. был издан манифест имажинистов. Их идеолог Вадим Шершеневич стремился к непоследовательности в изложении, восхищался сменой малосвязанных образов у Лафорга (которого, но с других позиций, высоко оценивал Т. С. Элиот). Первым имажинистом Шершеневич считал царя Соломона... Имажинисты были близки футуристам, но менее оригинальны и мало что сказали нового.

В Англии, в 1910-х гг. возникла группа писателей *имажинистов*, но на русских *имажинистов* они не повлияли, хотя в 1915 г. З. Венгерова поместила в журнале «*Стрелец*» интервью с имажистом Эзрой Паундом.

Проф. В. Ф. Марков извлек имажинистов из Леты и издал о них две книги на английском языке, общий очерк и антологию (1980 г.). Конечно, стоило о них напомнить. Пусть тезисы имажинистов вызывают зевоту, но теперь, через 60 лет, можно и нужно пересмотреть-переоценить их поэзию.

Все они грубо, со смаком кощунствовали. Грубость и некоторая «похабность» свойственны и новому диссидентскому авангарду, возникшему в середине 50-х гг. Но кощунственных стихов эти авангардисты не пишут. Это можно объяснить не только тягой (зачастую очень поверхностной) к метафизике, но и тем, что советской интеллигенции очень уж надоела бездарная офи-

* Редакция «Н.Ж.» публикует последние, неоконченные главы труда покойного Ю. П. Иваска. См. также «Н.Ж.», кн. 150, 154, 156, 158, 159, 161, 162.

циальная антирелигиозная пропаганда. А в 1910-х гг., да и вскоре после Октября, безбожие еще имело какую-то, пусть и очень сомнительную, прелесть новизны.

Вадим Шершеневич (1893-1942) часто кощунствовал, упивался гротесками, но в лучших стихах являл красоту мира, пусть и лишенного Бога:

Когда пальцы молний терли небес переносицу
И гроза вызернивалась громом арий,
Я вносил высоту в широкополую многоголосицу,
В самую июль я бросал краснощекий январий!

Есть размах в этих «дольниках» с подвывающими дактилическими рифмами, но есть и хвостовство: очень уж Шершеневич кичится своими диковинными образами, впадая в безвкусицу. Удачнее его хныкающие стихи, обычно с примесью иронии:

Другим надо славы, серебряных ложечек,
Другим стоит много слез, —
А мне бы только любви немножечко,
Да десятка два папирос.

Здесь тоже хромающие дольники, длинные рифмы и своеобразная напевность.

Меткость наблюдений Шершеневича. Вот женщина выбирает любовника:

Все равно мне какого: хорошего, гадкого,
Стройного, как восклицание, сторбленного, как вопрос.

Лучшее у *Анатолия Мариенгофа (1897-1962)* — не поэзия, а проза, хотя бы «*Роман без вранья*» (1927 г.). Полно в нем богемского цинизма, но и сколько человеческой боли. Мариенгоф тоже кощунствовал, но, по существу, и он и Шершеневич — добрые мальчики из культурных семей. Их кощунство и нагловатость — поза. Перенасыщенно-образно, но трогательно вот это стихотворение Мариенгофа:

Грустным тупозвоном в пятносинь потемок
 Разбросался дождь по лужицам булавками.
 Дрогнет и стучится мне в окно котенок —
 Предосенний ветер с перебитой лапкою.

Настоящая фамилия *Рюрика Ивнева* — Ковалев. Он родился в 1891 г. Племянник видного чиновника. До революции служил в Государственном Контроле, а при большевиках — в секретарях у Луначарского (как и Исаак Бабель). Немало в его стихах садизма и мазохизма. В поэме «*Осада монастыря*» неистовствует безбожник-фанатик. Иногда Ивнев готов в стихах каяться. Все же он — личность скользкая. Но был — настоящий поэт. Выделяется его стихотворение об Архангельске:

Все забыть и запомнить одно лишь,
 Что Архангельск не так уж далек.

По дороге узкоколейной
 Я всегда до тебя доберусь.
 Хорошо, что я не семейный,
 Хорошо, что люблю я Русь.
 По дороге узкоколейной
 Я всегда до тебя доберусь.

Стихотворение одушевлено особенным трепетом. Эти ноющие и жалиющие строки хотелось бы твердить на каких-то самых «последях» жизни. Живого, противоречивого Рюрика Ивнева хорошо воссоздал в «*Стране воспоминаний*» пианист и поэт Всеволод Пастухов («*Опыты*», V, 1955 г.). Ивнев писал стихи более 60 лет. Постоянные темы его щемящей лирики — утерянная или несостоявшаяся любовь и дружба. Ему было 76 лет, когда он написал эти стихи (1967 г.):

Мы встречаемся и расходимся,
 Будто перистые облака,
 То случайно в вагоне поезда,
 То у маленького ларька.

Сколько у него оживляющих лирику деталей. Это:

Горячие белые руки
Под крупным июльским дождем.

Или счастье:

Теплое и нежное такое,
Как брюшко веселого щенка...

О друзьях:

Мы вечно чувствуем их локоть
И ощущаем их дыханье...

Сергей Есенин (1895-1925) — самый знаменитый из имажинистов. Проф. В. Ф. Марков утверждает, что, вопреки установившемуся мнению, Шершеневич и Мариенгоф значительно повлияли на Есенина. Может быть, это и так... Но, надо полагать, они же его и испортили. Заразили всяческим авангардом, который был не к лицу Есенину — не для его нежного тенора.

Читатели Блока или наших последних четырех или пяти — Ахматовой, Пастернака, Мандельштама, Цветаевой и Георгия Иванова — редко поминают Есенина. Но несомненно всеобщее — всероссийское — сочувствие к Есенину. Снобировать его поистине грех.

Англосаксы осуждают всякую саможалость не меньше, чем русские — пошлость и мещанство. Но это ведь только слабость, а не смертный грех, и втайне — кто себя не жалел (включая англосаксов). Вся Россия, каждый русский всем сердцем отзываются на есенинский жалостный стих: «Не жалею, не зову, не плачу...». Как это часто бывает в поэзии, смысл здесь обратный — *И жалею, и зову, и плачу*.

Помню, как многомиллионные *мы* (включая и меня) оплакивали раннюю Есенинскую смерть и со слезами читали:

До свиданья, друг мой, до свиданья.
Милый мой, ты у меня в груди.

Предназначенное расставанье
Обещает встречу впереди.

До свиданья, друг мой, без руки и слова,
Не грусти и не печаль бровей, —
В этой жизни умирать не ново,
Но и жить, конечно, не новей.

Народность Есенина — не деревенская, а городская, с рифмами, в традиции не Кольцова, а Мерзлякова, Цыганова, Дельвига. Она чем-то сродни мещанским жестоким романсам.

Несчастливая императрица Александра Федоровна была по своему разумению, но и безумию, народницей; в советники-мудрецы избрала сибирского мужика, знахаря, и слышать не хотела о его дебошах. А из всех тогдашних поэтов Государыня приняла только рязанца Есенина, тоже крестьянина. Есенин хотел было посвятить царице стихи, но так их и не написал: сам ли понял, или ему подсказали, что незачем связываться с обреченными Романовыми! Тогда уже шел Шестнадцатый год.

Сергея Есенина нельзя судить. Литературно и только литературно, он — живая легенда о новом *словутном певце* — друге, товарище, брате, сыне.

Клюеву, имажинистам удавалось ломаться в авангарде и писать затейливо-сложно. Но не Есенину. К нему шло простое. И прежде всего — раскаяние:

И за все те грехи мои тяжкие,
За неверие в благодать,
Положите меня в русской рубашке
Под иконами умирать...

Иван Елагин (Матвеев, род. в 1918 г.). Учился на медицинском факультете Киевского университета. Больше тридцати лет проживает в США. Профессор русской литературы Питтсбургского Университета.

Есть лирическая сила уже в его первых двух сборниках, изданных в Германии. В 40-х гг. Елагин был на самом гребне русской Великой Беды. Его стихи тех лет полны гражданского и

чисто человеческого негодования, захватившего лучших русских людей. Гитлер свергнут, но опять прокатился сталинский террор. Именно тогда открылись глаза у А. И. Солженицына и у других. Военная победа обернулась ГУЛАгом. Тогда было чем возмущаться — хотя бы выдачей власовцев, и во время прозвучали эти негодующие стихи:

Пока не заткнули кляпом
Клокочущий рот, пока
Не выгнали в ночь этапом
Под окрики броневика...

Как большинство «первых» и «вторых» эмигрантов (но, увы, не «третьих») Елагин оставался верен России:

И черт ли нам в Алабаме?
Что нам чужая трава,
Мы и в могильной яме
Мертвыми злыми губами
Произнесем «Москва»...

Но не только «чужую траву» увидел Елагин в Америке. Он, оставаясь русским, освоил Америку. Удачно перевел мону-ментальный эпос Винсента Бене «*Тело Джона Брауна*».

Ему посчастливилось очень по-своему, по-елагински отразить в поэзии Нью-Йорк — огромный, преступный, упоительный по размаху и силе тоски современный Вавилон. Вот одна из его самых сильных нью-йоркских строф:

Какая-то тусклая жалость
Из труб серебристых текла,
Какая-то дрянь раздевалась
На сцене ночной догола.

Есть ладная упругость в стихах Елагина. Есть динамика:

Еще я в молнии и громе...

— писал он о себе.

Иногда Елагин увлекательно «заговаривается»:

Каждым утром, сразу после сна,
Я выбрасываюсь из окна...

Это не самоубийство, это — свойственное многим поэтам стремление вырваться на какую-то вольную волю, хотя бы и «на камни мостовой». Отмечаю ритмическое своеобразие второго стиха: здесь т.н. дипиррихий, т.е. два пропуска ударения в хорее. И создается впечатление, что поэт захлебывается, может быть, и от отчаяния, но с упоением. Елагин обходится без метафизики. И вспоминает афоризм:

Ближе к небу — как Дельвиг говаривал — тем холоднее...

Как кому: у многих современных поэтов-метафизиков немало горячности, хотя бы у верующего Бобышева или у влекущегося к вере Бродского.

Елагин прошел мимо современного барокко с его религиозными страстями. Он остается фатальным романтиком. Он знает, что гибнет, что его «снимут» с шахматного поля жизни:

За то, что с позиций разгромленных вдрызг
Я шел на предсмертный, восторженный риск!

Навстречу мне вражеских пешек навал,
И вот он, король мой, на смертном одре..
И если я даже игру проиграл,
Я все же участвовал в этой игре..

Пессимизм агностика, или атеиста, не ослабляет поэтического азарта.

Елагин силен, заразителен не в пессимизме, а в энтузиазме, в радости жизни. Посчастливилось ему, хочется сказать — во славу Создателя, — весело раскрасить ветер:

Вот и мыслью ошарашен я,
Чтобы ветер дул раскрашенно,

Дул павлинисто, фазанисто,
Дул гогенисто, сезанисто,

Чтоб по всей его волнистости
Шли сиреневые мглистости,

Чтоб скользили по наклонности
Голубые просветленности,

Чтоб он гнал в рывках неистовых
Цветовую бурю выставок,

Пусть по ветру фордыбачатся
Все абстрактные чудачества,

Многоцветные, несчетные,
Несусветно-беспредметные,

Пусть в его порывах множатся
Сумасшедшие художества.

Иосифа Бродского (род. в 1940 г.) прославил издевательский процесс над ним в Ленинграде в 1964 г. На несправедном Шемякином суде его называли «окололитературным трутнем» и приговорили за «тунеядство» к ссылке. С 1972 г. он живет в эмиграции. Советской *судьбе* (как ее заклеила Н.Я. Мандельштам), он смело заявил: «стихи от Бога».

Его поэзия восхищает многих в России, где он почти не печатался, и на Западе, где он постоянно выступает с чтением стихов и читает лекции. Изданы и сборники его стихов.

Отмечаю два свойственных ему лада в поэзии:

1) Короткий, ударный — иногда со сплошными мужскими рифмами:

Шум шагов и лиры звук
будет помнить лес вокруг.
Будет памяти служить
только то, что будет жить.
(«Памяти Т. С. Элиота»,
12 дек. 1965 г.)

2) другой, близкий ему лад — длинный, часто встречающийся у Мандельштама:

Сохраняю твой лик, устремленный на миг в безнадежность.

Есть у нас традиция длинных размеров: будь то т.н. гексаметры (шести стопные дактили) в переводах древних («Илиада», переложенная Гнедичем) или александрийские стихи (шести стопные ямбы), дожившие до Пушкина, Баратынского. Бродский стал мастером неторопливой поэтической речи. Звукопись для Бродского нехарактерна, хотя удачным повторением слога «ра» он сблизил столь противоположные слова, как «рай» и «параша». Бродский вообще склонен сблизать «высокое» и «низкое», и тем самым включился в барочную — державинско-шишковскую — традицию стилистических контрастов (как и Цветаева). Здесь Бродский совпадает и с любимыми им английскими метафизиками эпохи барокко. Их он переводил. Вот строки из его перевода стихотворения Джона Донна:

... и храм блоха сия.

Нас связывают крепче алтаря.

(эта прославленная Доннова блоха напилась в постели крови обоих любовников и стала храмом любви!).

Богатая образность поэзии Бродского. Немало у него неожиданных и метких метафор, например, в этой «Римской элегии» (IX):

И золотистая бровь, как закат на карнизе дома,
поднимается вверх, и темнеют глаза подруги.

Замечательно и даже чудесно, что Иосиф Бродский, как и некоторые другие ленинградские поэты его поколения, не поддавался развращенному влиянию советской школы: каждый из них, своим путем, уперся в метафизику. Здесь на Бродского несомненно оказали воздействие английские метафизики.

Неторопливо, торжественно разворачивается его изумительная «Большая элегия», посвященная великому поэту Джону Дон-

ну. Это — выпренное стихотворение, и, вместе с тем, очень вещное. Бродский воссоздает Англию Семнадцатого столетия. Доминирует глагол «*уснуть*», перечисляются уснувшие вещи:

Уснуло все. Бутыль, стакан, тазы,
хлеб, хлебный нож, фарфор, хрусталь, посуда...

Здесь хочется продолжить — «и прочая, и прочая, и прочая...». Да, это проза жизни, но разве не драгоценнейшая? Бродский не побоялся ввести в это стихотворение старинное поэтическое «чу»:

Но, чу! Ты слышишь — там в холодной тьме,
там кто-то плачет, кто-то шепчет в страхе.

Кто же рыдает?

Не ты ли, Гавриил, среди зимы
рыдаешь тут, один, впотьмах, с трубою?
Нет, это я, твоя душа, Джон Донн.

Джон Донн, и вместе с ним Иосиф Бродский, «Бога облетел». А выше не пускает груз жизни — земля, земное, «тяжелые, как цепи, чувства, мысли». И все это оплакивается. Но везде ощущается благоговение и хочется сказать: слава Богу — есть Бог, облетаемый Бог!

По приблизительным подсчетам в «*Большой элегии*» 75% стихов (пятистопных ямбов) лишены пиррихий (т.е. в них нет «опущенных» ударений), что характерно для английской поэзии. Но английская ударность не кажется монотонной в этих русских стихах. Сильные акценты придают особенную значительность каждому слову, каждой вещи, из которых складывается мир Джона Донна и которые при всей их тяжести (грузости) везде граничат с небом, с духом.

Заслуженная безбожниками оплеуха Бродского: Неверье — слепота. А чаще свинство. Исповедание веры (в коротком ритме, тоже очень выразительном):

Каждый пред Богом
наг.
Жалок,
наг
и убог
В каждой музыке
Бах,
В каждом из нас
Бог.

Бродский допускает: Бог — великое *Может Быть* Монтеня. Но и несомненно, Бог нечто для него — самое главное. Стихи Бродского, посвященные подругам и друзьям, слабее метафизических стихов.

Покойный отец Александр Шмеман высоко расценивал стихотворение Бродского «*Сретенье*», и не только потому, что оно написано на евангельскую тему (о. А. Шмеман был истинный стихолюб, живо отзывался на поэзию Ахматовой и Мандельштама). Вот стихи о Симеоне Богоприимце:

он слышал, что время утратило звук.
И образ младенца с сияньем вокруг
пушистого темени смертной тропею
душа Симеона несла пред собою,

как некий светильник, в ту черную тьму,
в которой дотолé еще никому
дорогу себе озарять не случалось.
Светильник светил, и тропа расширялась.

Привлекает Бродского и Бог Ветхого Завета — могучий, но иногда и жестокий Иегова, от которого отвращалась Н.Я. Мандельштам: она находила в нем черты Сталина...

Бродский одержим метафизикой, но многое в религии путает или не продумывает. Он утверждает:

Бог органичен. Да. А человек?
А человек, должно быть, ограничен.

Ограниченность человека несомненна. Но органичны были только языческие боги, умиравшие осенью и возрождавшиеся весной (Озирис). А Бог, который, по-видимому, раскрывается Бродскому, *не органичен, а личен* в обоих Заветах.

Большую тему Бродский наметил в своей «*Остановке в пустыне*»:

К чему близки мы? Что там, впереди?
Не ждет ли нас теперь другая эра?
И если так, то в чем наш общий долг?
И что должны мы принести ей в жертву?

И нет равнодушия в «*Римских элегиях*» Бродского:

Наклонись, я шепну Тебе на ухо что-то: я
благодарен за все; за куриный хрящик
и за стрекот ножниц, уже кроющих
мне пустоту, раз она — Твоя.
Ничего, что черна. Ничего, что в ней
ни руки, ни лица, ни его овала.
Чем незримей вещь, тем оно верней,
что она когда-то существовала
на земле, и тем больше она — везде...

Я был в Риме. Был залит светом. Так,
как только может мечтать обломок!
На сетчатке моей — золотой пятак.
Хватит на всю длину потемок.

Дмитрий Бобышев (род. в 1936 г.). По отцу Мещеряков, носит фамилию отчима. Крещен о. Дмитрием Дудко, одним из его друзей-наставников был богослов о. Александр Мень. По собственному признанию самым значительным событием в его жизни было мистическое видение, посетившее его в марте 1972 г. в Ленинграде, чем-то напоминающее видения Владимира Соловьева и Эммануила Сведенборга (та же бытовая конкретность и та же духовная мощь).

Духовное озарение отразилось в нескольких циклах стихов

(«Вещественная комедия», «Медитации» и др.). Писал он и барочные фигурные стихи подобно английским метафизикам XVII века. Но едва ли они на него повлияли.

Христианство Бобышева — космическое. В координатных осях мирового пространства ему видится Распятие, откровение трансцендентного Бога в космосе. Будучи чужд чрезмерному спиритуализму, небесное Бобышев улавливает в земном; существо мира для него — и вещество и божество.

Бог и в космосе — личный Бог: и Отец, и Сын-Спаситель, и Искупитель. Человек для Бобышева — «частица умная, живая».

Лирический герой Бобышева — не расщепленная личность, не двусмысленный Гамлет XX века, а цельная личность, как и в поэзии Осипа Мандельштама. В стихах Бобышева нет декадентства, нигилизма. Нет и гротескной буффонады, как у некоторых современных советских поэтов-диссидентов.

Вера сама по себе еще не делает поэзии. Но сколько молитвенного рвения и поэтического мастерства в этом стихотворении-псалме:

Дай, Ласковый, дай, Грозный, муку, —
вскричал, — но покажи устройство горл,
дающих мед и медь пустому звуку.
Гармонии отведать — я пришел.

Здесь звучание совсем державинское, с рокочущими «рцы», и слышится высокое «верхнее *о*» в третьей строке («дающих мед и медь»).

Бобышев постоянно ощущает присутствие Божие в родном ему Петербурге-Петрограде. В нем ему видится опрокинутый Новый Иерусалим. «Кто-то» (Бог) есть и в грязных пригородах Ленинграда. Тон уже не торжественный, а дружески-разговорный:

До чего же она неказистая,
дверь в котельню и та же стена,
но так жарко, так, Господи, истово
и сиротски так освещена.
Да и в куче кирпич, так он лыбится,

что свести свои годы вот здесь,
даже в эту оплывшую глыбищу,
я бы счастлив...
Но тут кто-то есть!

Это уже не великолепная барочная риторика, а поэзия сердца — скромный цветок добра, выросший на тусклых задворках великого города. Бодлер же видел на дне своего Парижа-Вавилона преимущественно цветы зла. Есть здесь у Бобышева та некрасивая красота, которая иногда дороже красоты красивой.

Бобышев не скучный дидактик-проповедник, он — радостный христианин, родственник Мандельштаму. Он приемлет в Божьем мире и радость и страданье:

Жизнь святая, цветы
В грязной нежной работе,
в чистом поте, в пути,
в темном опыте плоти,
в самом смертном полете
умирай, но цветы!

Есть у Бобышева христианский оптимизм, но есть и острое ощущение боли, жалости, которое свойственно русской литературе, но почти отсутствует в гротескной авангардной поэзии. Его Бог, как в той потрясающей молитве, и грозный, и ласковый.

Первая тема — метафизическая. Вторая — русская. Уже в эмиграции, где Бобышев оказался в конце 1979 г., он закончил замечательные *«Русские терцины»* (1977-1981 гг.). Многое в России он страстно осуждает (рабство, бахвальство и прочее). С болью, с горечью обличая, он переходит от отчаяния к надежде. Бобышев говорит России: буди, буди. Ему даже захотелось

Закреть Неву мостом бетонных плит...

Ему видится, как

заскребется Город-краб
и мальчик закричит стрекозоглазый:
— Глядите, эка! Ангел и корабль!!.

Так Россия всплывет, как потонувший Китеж.

Уже в изгнании Бобышев сложил свой лирический акафист Блаженной Ксении Петербургской: недавно она была причислена зарубежной церковью к лику святых, а в Ленинграде ее могила на Смоленском кладбище давно стала местом всероссийского паломничества (чему и я недавно был свидетелем). Бобышеву посчастливилось найти для Блаженной Ксении нужные сердечные слова:

И, нищелюбая, бредет она, раздавши,
да что имение? саму себя и даже
гораздее того... — с просвиркой поутру,
и хвалит Господа за — в башмаке дыру.

Слышится аввакумовское «вяканье» в этом валком синтаксисе с разговорными вводными словами: «да что имение?».

Много русских голосов и гласов ввел Бобышев в свою совсем не архаическую, но самую современную лирику. Все в его стихах насущно нужно. Он понял то, чего не могли уразуметь другие весьма многочисленные поэты его поколения, тоже так или иначе упирающиеся в метафизику. Но какую? Иногда в черную магию или же в чистый буддизм, который, однако, несовместим с христианством. Ведь наш Бог — личный, а нирвана — нечто безличное. Бобышев, как и Ахматова и Мандельштам, понял: единственной религиозной почвой в России может быть только православие.

Дмитрий Бобышев достигает большой высоты в стихотворении-молитве Ангелу-Хранителю.

Ангеле Божий, Хранителю мой,
братик небесный в нелюбе земной!

Наших нежнейше-неслышных бесед
на языках человеческих нет.

Слух ни глагола не выловит. Лишь
духу звучит эта теплая тишь.

Что́ это: Зов? Или весть? Или знак?
— Что-то... А сердце оттукнется: — Так!

Братик! Самой неразрывью своей
что-нибудь сделай, и мраки отвей.

Вот я, и вот они все потроха
Божьего грешника и батрака.

Что́ я могу? Только душу — по шву...
Как получился, таким и живу:

крепкий, работал, и, слабый, грешил,
разве что дар не менял на гроши.

Выпрями, если можешь, состав.
И в обстоятельствах не оставь.

Здесь в единое молитвенное и речевое целое сливаются и церковнославянский призыв («ангеле», «хранителю») и русский, русейший «братик».

Дмитрий Бобышев, как Иосиф Бродский и еще два ленинградских поэта, входят в сонм *ахматовских сирот*. Ахматова их всех ввела в просторные палаты российской поэзии. Не учила писать стихи, не наставляла, вообще была на слова скупа, но незаметно связывала своих юных друзей-поэтов с лучшими преданиями нашей словесности, включая и недавние — Серебряного века. Бобышеву она посвятила стихотворение «*Пятая роза*».

Есть немало и других одаренных поэтов, родившихся от 30-х до 60-х гг. Некоторым кое-что удастся. Но это еще не «Ренессанс», как они думают. Слишком много среди них эклектиков, да и графоманов. Метафизика путанная, поверхностная. Россия (любая) зачастую поносятся. Не взваливают они на свои плечи котомки с драгоценной тяжелой ношей — будь то Бог или

Россия. Без такой добровольной ноши нет большого искусства.
А Бобышеву посчастливилось себя обременить — и верой и родиной.

ЕКАТЕРИНА ТАУБЕР

* * *

Последнее тепло земное,
Любимой женщины рука.
И летний день отходит в зное,
И смерть твоя тиха, легка.

Ты шепчешь: «Все пришли святые»,
Не видит никого жена.
Целует лишь виски седые.
Еще вдвоем... Уже одна...

ОЛЬГА АННЕНКОВА*

ПЕТЕРБУРГУ

Город-призрак, сумрачный и нежный,
Ты, не знающий забвенья и измен,
Вновь пришла дорогой неизбежной
Я в твой пышный, в твой гранитный плен.

Поздний вечер. Сани в Двор Гостинный
Мчатся в снежной вьюге вихревой,
Офицер склонился над витриной —
Твой ли брат или чужой?

В Эрмитаже дремлют Тицианы,
Бледный Греко и Лорена сад,
Юностью и красотой пьяны
Мы ступеней пробегали ряд.

Как Улисс, спустившись в Мир Подземный,
Я вступила в хоровод теней.
Кубок выпит. Я пребуду пленной,
Город-призрак, и навек твоей.

О. Н. Анненкова (1887-1949), поэт, переводчик, член антропософского кружка, подруга Е. Д. Бальмонт.

ЮРИЙ ИВАСК

Прекрасно-преступно Чикаго:
Огромно, у озера на́го.
И, черта везде веселя,
Завязана туго петля.

Но, небо скребя, серебруются
Верзилы-дерзи́лы-дома.
Ни в чем не могу разобраться,
Но ставлю отмету: «весьма».

Юрий Иваск

ПАВЕЛ ФЛОРЕНСКИЙ

Магичность слова

Какова же магическая функция смысла слова? Смысл слова определяется семемой слова, и в способе образования семемы должно искать ответа на поставленный вопрос. Слои же семемы, ее последовательные оболочки, ее концентрические скорлуповатости образуются особыми творческими актами, каждым из которых полагается завершение некоторого духовного роста, иногда весьма продолжительного, и, вообще говоря, переживаемого целым народом.

Да, каждый слой семемы есть оседание на слове духовного процесса оплотнения Духа, в этом концентрировании себя впервые, в данном отношении, переходящего из-под и полу-сознательности к сознанию и потому собирающегося при процессе семеообразования в себя самого. Образование нового слоя семемы есть, следовательно, величайшее собирание внимания в одну точку, в одно острие, есть, иначе говоря, *моноидеизм*. Но моноидеизмы и есть важнейшее условие магического воздействия. Творчество семемы по необходимости магично, если только вообще признаются магические действия. Если есть что магическое, то прежде всего и более всего — семема, ибо в образовании ее проявляется высшее напряжение, наибольшая концентрация внимания. Но отложенные слои семемы не пребывают в слове бездейственными, а скорее напоминают коловраток, засыхающих без воды, а потом вновь набухающих и оживающих, лишь прикоснутся к жидкой влаге; так и семема, раз

* Из архива А. Ровнера.

созданная участием многих поколений, целого народа, пребывает словно мертвой, пока слово не употребляется. Но лишь оно попадает в поток живой речи, так семема его ожила и полна внутренней силы и значения. Тут-то и сказывается антиномический склад слова: извне мною полученное, взятое мною из сокровищницы народного языка, чужое творчество, в моем пользовании оно заново творится мною, снова и снова становясь всякий раз свежее и обновленное. Полусознательно, быстро просматривая слои семемы, я сам концентрирую творчески свое внимание, и мое внимание делается не моим, а общенародным, сверхличным, равно как и общенародное внимание, выделившее и отложившее слои семемы, усваиваясь мною чрез приятие в себя сего слова, само делается моим вниманием.

В слове я выхожу из пределов своей ограниченности и соединяюсь с безмерно превосходящей мою собственную волею целого народа, и притом не в данный только исторический момент, но неизмеримо глубже и синтетичнее, соединяюсь с исторически проявленной волею народа, сознательно запечатлевшую себя образованием такой именно семемы данного слова. Слово энергетично: энергия-люди. Как бы по нарезкам винта, мое внимание ввинчивается в семему по ее наслоениям и т.д., концентрируется, как не могло бы концентрироваться никаким индивидуальным усилием.

Слово есть метод, метод концентрации. Собранную в один фокус историческую волю целого народа в слове я имею в своем распоряжении, и дело — не в силе, а лишь в умении ее направить в нужную мне сторону. И, вместе со словом, мною произнесенным, продвигается и вонзается в пространство моя сконцентрированная воля, сила моего сосредоточенного внимания. Попадая же на некоторый объект, способный получить толчок от воли, слово производит в нем то изменение, какое способен получить данный объект, и ввинчивается в объект всеми нарезками воли, пробужденной в сказавшем это слово соответственными нарезками семемы.

Если объектом нашего слова был человек же или другое разумное, или хотя бы сознательное существо, то, помимо прочего действия, сказанное слово вторгается в его психику и возбуждает здесь, этим напором семемы великой воли целого

народа, давление, вынуждающее пережить, почувствовать и продумать последовательные слои семемы слова, устремляясь вниманием в намечаемую ею сторону и производя соответствующее волеизъявление. Суть действия в том, что наслоения семемы откладываются в слове не произвольно, но — в некотором, более чем только логически связанном порядке, и потому стоит взяться за кончик нити, свитой в клубок мощною волею и широкообъемлющим разумом народа — неминуемая последовательность поведет индивидуальный дух вдоль всей нити, как бы ни была она длинна.

И незаметно для себя этот дух окажется у другого конца нити, в самом средоточии всего клубка, у понятий, чувств и волений, которым он вовсе не думал отдаваться. Сила действия слова — со стороны его семемы — в спиральности его строения, почему слово втягивает, всасывает в себя и затем себе подчиняет. Слово — конденсатор воли, конденсатор внимания, конденсатор всей душевной жизни; оно уплотняет ее, примерно, как губчатая платина уплотняет в своих порах кислород и потому приобретает чрезвычайную действенность на пущенную в нее струю водорода, этим сгущенным кислородом зажигаемую.

Так вот и слово с усиленною властью действует на душевную жизнь, сперва того, кто это слово высказывает, а затем, возбужденною в гворящем от соприкосновения со словом и в слове — от прикосновения к душе — энергией — и на тот объект, куда произносимое слово, направлено. Правду сказал Витрувий, определивший слово как «истекающий дух и слух, доступный ощущению от удара воздуха».

Термин, как слово слов, как слово спресованное, как сгущенный самый существенный сок слова, есть такой конденсатор душевной жизни преимущественно. Все сказанное выше о семеме слова должно быть повторено с большим усилением о *термине*. А кроме того, сюда должно присоединить то соображение, что самоконцентрация воли происходит не только последовательным ее уплотнением, но прерывно, переходом на иные плоскости ее жизни, провалами и взлетами, имеющими качественно различный характер.

Поэтому известных действий магии вовсе нельзя достигнуть, пользуясь обыкновенными словами, каково бы ни было при этом

личное усилие к концентрации. Требуемая здесь степень волевого сосредоточения — другого «типа возрастания», нежели та, которой располагаем мы, пользуясь обычными словами. И хотя с нашей стороны возможна степень усилия, превосходящая всякую данную, тем не менее, самый путь усилий лежит гораздо положе того, по которому достигается искомое действие. Только словом концентрированным, более высокого порядка синтетичности можно, даже без особых личных усилий, без натуги, легко и даже небрежно получить требуемую степень сосредоточенности. Как не раздувай угли, нагретые, положим, в кипящей воде, хотя бы и всей своей массой — они не загорятся и печь останется нетопленной. Но если те же уголья разжжены хотя бы в одной точке, то и легкие дуновения разожгут всю кучу их, и печь согреется, обед сварится, а угли обратятся в углекислоту и золу.

Так и магическое действие известной ступени вовсе не произойдет, пока энергия, хотя бы имеющаяся в большом количестве, не будет организована определенным образом, доводящим ее уровень до известной высоты; а тогда, легко и без усилий, она хлынет на нуждающиеся в ней поля и сама собою, «как бы резвяся и играя», взрастит магические пажити.

И если наиболее высокою степенью синтетичности обладают из всех слов — имена, личные имена, то естественно думать, что на последующей после терминов и формул (а формула, напоминая, есть нечто иное, как тот же термин, но в развернутом виде) ступени стоят личные имена. Действительно, имена всегда и везде составляли наиболее значительное орудие магии, и нет магических приемов, кроме самых разве первоначальных, которые обходились бы без личных имен [...].

ВЛАДИСЛАВ ХОДАСЕВИЧ

ПАРИЖСКИЙ АЛЬБОМ

(Из воспоминаний)

Публикация Г. Поляка

В этом году исполнилось сто лет со дня рождения замечательного русского поэта и литературного критика Владислава Фелициановича Ходасевича (1886-1939 гг.).

Интерес к творчеству Ходасевича в последнее время особенно возрос по обе стороны границы. Свидетельством тому являются многочисленные издания и переиздания его произведений на Западе, а также все чаще появляющиеся упоминания о нем в мемуарах, статьях и сносках в советских изданиях.

Следует отметить, что в новой литературной политике СССР творчеству В. Ф. Ходасевича теперь уделяется значительное место, наряду с Н. Гумилевым и В. Набоковым. Надо надеяться, что многое из им написанного будет, наконец, возвращено советскому читателю, с которым он расстался в 1922 году.

Большую часть своей жизни в эмиграции он прожил в Париже, где вел литературный отдел в газете «Возрождение». Именно там им было опубликовано около 400 статей и рецензий. Лишь небольшое количество их вошло в книги: «Некрополь» (1939 г., им самим подготовленный), «Литературные статьи и воспоминания», 1953 г. (составитель Н. Берберова), «Белый коридор», 1982 г. (подготовленный мной и являющийся тематически продолжением «Некрополя»).

Предлагаемые вниманию читателей воспоминания не вошли ни в один из этих сборников.

Брюсов и Блок

Время идет. То, что для меня относится к области *воспоминаний* (впрочем, юношеских), для других уже становится *историей*; что было предметом *наблюдений*, уже превращается для кого-то в предмет *изучения*.

Молодой историк литературы Виктор Гольцев (сын покойного В. А. Гольцева, редактора «Русской Мысли») заинтересовался историей взаимоотношений Брюсова и Блока. Этому предмету он посвятил обстоятельную статью в советском журнале «Печать и Революция» (1928, кн. 4 и 5).

Гольцев отнесся к работе тщательно: обследовал печатные высказывания Блока и Брюсова друг о друге, их переписку (изданную и неизданную), опросил кое-кого из ближайших свидетелей: Л. Д. Блок, И. М. Брюсову, С. М. Соловьева.

В результате, исследователю удалось восстановить картину всей брюсовско-блоковской «литературной встречи» довольно полно и, если станем судить по внешности, то довольно верно. Точнее, Гольцев внимательно пересмотрел то, что ему открыли источники и официальные свидетельства. Но, вполне естественно, от Гольцева скрылось многое, что в этих источниках и свидетельствах не отражено или скрыто, что лежало как бы невидимой прослойкою между *фактами*, о чем собеседники Гольцева не могли или не пожелали вспомнить, но что, в действительности, придавало отношениям поэтов несколько иную окраску, иной тон, не тот, который лежит на работе Гольцева.

Начать с того, что самая тема о взаимоотношениях Блока и Брюсова представляется историку более содержательной, нежели это есть в действительности. Гольцев рассуждает, как полагается историку: вот два больших поэта; они — современники, следовательно, интересно выяснить историю их отношений. И на самом деле — интересно, а все-таки не в такой степени, как мнится историку. Ни лично, ни литературно Брюсов и Блок никогда не были близки. Их «встреча» ни в том, ни в другом глубокого следа не оставила — ни в биографическом, ни в литературном отношениях.

В самой теме «Брюсов и Блок» нет настоящей «коллизии», нет ни драматизма, ни напряжения. Я бы сказал, нет и объек-

тивного историко-литературного значения. (Гольцеву кажется, будто есть, потому что оба были «поэтами революции», — но это совсем не так, и я к этому еще вернусь). Такие, например, темы, как «Брюсов и Белый», «Белый и Блок» дадут будущему историку гораздо больше материала, во всех отношениях неизмеримо более любопытного и поучительного.

Однако ж, пока что нам предложена тема «Брюсов и Блок». На ней все же стоит остановиться и, может быть, внести некоторые дополнения в концепцию, предложенную молодым историком.

Гольцев прав, когда отмечает чрезвычайно высокую оценку Брюсова Блоком в начале девятисотых годов, когда Блок едва вступал на поэтическое поприще. О восторге, который охватил Блока по выходе «*Urbi et Orbi*», исследователь собрал ряд самых красноречивых свидетельств. Но он недооценивает того обстоятельства, что тогдашнее непомерное увлечение Брюсовым вовсе не отличает Блока от его сверстников. Блок писал:

«Я совершенно не могу надеяться вырасти до Брюсова»; «*Urbi et Orbi*» — факт неисчерпаемый и громадный» и т.п. Но такие же и даже гораздо более восторженные заявления о творчестве и о личности Брюсова лежат на совести вряд ли не у всех младших современников Брюсова. Можно сказать без преувеличения, что в начале девятисотых годов возник и долго еще держался целый культ Брюсова, и его усерднейшими служителями были такие по существу далекие от Брюсова люди, как Андрей Белый, С. М. Соловьев, Эллис.

Как водится, жрецы «подогревали» друг друга. На Брюсова сыпались самые громкие и ничем не оправданные прозвища, как «маг», «чародей», «гений» и даже «ангел печали». Еще неокрепший, не установившийся, просто — еще очень юный Блок прибавил сюда свое: назвал Брюсова «путеводной зеленой звездой». Но он только разделял всеобщее в тех кругах увлечение — не больше. Напротив, в отношении Блока к Брюсову характерно и примечательно то, что он начал разочаровываться раньше и глубже других. Ведь недаром совсем недавно, в 1924 году, Андрей Белый после всего, что он знал и писал о Брюсове, вновь разразился неистовым панегириком: очевидно, старинная оторопь перед «магом» еще не прошла.

Другое дело Блок. Он начал одумываться очень скоро, еще в 1904 году, и постепенно его разочарование углублялось. Он первый понял, что Брюсов — совсем не то, за что его принимают или хотят принимать, что это отнюдь не «звезда», не «ангел», и вообще явление вовсе не «запредельное» и «апокалиптическое». Правда, он долго еще считал Брюсова чрезвычайно большим поэтом, может быть, даже гениальным, но под конец жизни понял, что и это не так. Но, в конечном счете, это и не было ему важно.

Для особенно резкого охлаждения к Брюсову у Блока были и особые причины. Гольцев знает о них, рассказывает, но мне сдается, — не до конца. Гольцев говорит:

«Блока давно уже интересовало отношение Валерия Брюсова к Владимиру Соловьеву и сопоставление этих имен казалось ему вполне законным и естественным. Апокалиптические мотивы в творчестве Брюсова особенно волновали Блока... Блок считал, что некоторые стихотворения Брюсова приближаются к Апокалипсису и усматривал в них смятенное предощущение »конца мира«. Ему как ученику и последователю Вл. Соловьева было очень важно узнать, что Брюсов относится к философу положительно... Всюду Блок усматривал «близкое родство поэта с душою философа». То обстоятельство, что Брюсов в стихотворении «Mon rêve familier» использовал в качестве «среднего термина» слова Лермонтова «Люблю мечты моей созданье», а Соловьев применил ту же лермонтовскую строфу в «Трех свиданиях», уже имело для Блока существенное значение. По его мнению, «одна и та же мечта о неведомой царице, открывающей порою свое лицо, сопровождает как Вл. Соловьева — в стихотворении «Нильская дельта», так и Брюсова — в стихотворении «Царица»... Насколько ошибался Блок, стремясь во что бы то ни стало установить глубокое внутреннее родство Брюсова с Вл. Соловьевым — показало будущее».

Гольцев правильно очерчивает *историю* блоковского разочарования, но не до конца вникает в его *психологию*. Конечно, сближать Брюсова с Соловьевым у Блока не было никаких оснований, кроме ничего незначащих словесных совпадений и собственного воображения. Блок вместе со своими тогдашними друзьями просто *выдумал* Брюсова, представил его себе вовсе не

таким, каков тот был на самом деле. Я даже полагаю, что и тут Блок не столько сам заблуждался, сколько повторял чужую ошибку и даже на ней упорствовал, стараясь в самом себе заглушить голос разуверения. Почему? Этого вопроса Гольцев не ставит, а он имеет важное значение для понимания последующих отношений Блока к Брюсову.

29 октября 1904 года, посылая Брюсову экземпляр только что вышедших «Стихов о Прекрасной Даме», Блок сделал на книге такую надпись:

«Законодателью русского стиха,
Кормщику в темном плаще,
Путеводной зеленой Звезде,
Глубокоуважаемому
Валерию Яковлевичу Брюсову,
В знак истинного преклонения».

Брюсов честно и не без иронии ответил, что не считает себя вправе принять это «слишком ответственное посвящение». «Не возлагайте на меня бремени, которое подъять я не в силах, — писал он. — Принимаю разве только первую строчку. Дайте мне быть только слагателем стихов, только художником в узком смысле слова, — все большее довершите вы, молодые, младшие».

Но Блок все не унимался и ответил длинным письмом, в котором упорно продолжал сопоставлять Брюсова с Вл. Соловьевым и заявлял, что не в состоянии считать Брюсова «только художником в узком смысле слова».

Однако мы имеем неопровержимое свидетельство, что в душе Блок уже не только разуверялся в Брюсове — пророке и маге, но и начинал относиться к нему иронически. Всего за восемь дней до приведенной выше надписи на «Стихах о Прекрасной Даме» он писал С. М. Соловьеву: «Милый друг! Почему ты придаешь такое значение Брюсову? Я знаю, что тебя несколько удивит этот вопрос, особенно от меня, который еле выкарабкивается из-под тяжести его стихов. Но ведь «что прошло, то прошло»... «Маг» ужасен не вечно, а лишь тогда, когда внезапно «в разрыве туч» появится его очертание. В следующий

раз уже заметишь частности («острую бородку»), а потом и пуговицы сюртука, а потом, наконец, начнешь говорить: «А что, этот черноватый господин все еще там стоит?»

Итак, Блок *первый* стал образумливаться. Он постепенно узнавал, что ни к Вл. Соловьеву, ни к Вечной Женственности, ни к какой эсхатологии, ни к какому Апокалипсису Брюсов просто не имел отношения. Впоследствии, все яснее сознавая это, Блок все более утрачивал интерес к Брюсову. Именно этой утратой интереса, тем, что внутренне он сознавал лежащую между ними пропасть, объясняется и позднейшее нежелание Блока вступать в начатую Брюсовым полемику о теургии в поэзии.

Гольцев прав, говоря, что к 1910 г. Блок уже «почувствовал невозможность найти с Брюсовым общий язык».

В сущности, после приведенного письма, все уже между ним и Брюсовым было ясно. Но почему же Блок упорно навязывал Брюсову роль пророка, от которой тот сам отказывался и которую (Блок уже знал) он играть не может?

Причина лежала вне Блока. Слишком тесные узы (хоть, может быть, не столько мистические, сколько ребяческие) связывали его с московскими мистиками: Андреем Белым, С. М. Соловьевым и прочими. Кроме единства воззрений, тут было и некоторое формально-партийное единство. Открыто изменить отношение к Брюсову Блок мог бы или вместе с друзьями, или отколовшись от них. Последнее для него в те дни было еще невозможно, да Брюсов и не был достаточным поводом. Оставалось переубедить друзей. Вот, мне кажется, приведенное письмо к С. М. Соловьеву и было первой попыткой Блока в этом направлении. У меня нет данных, чтобы судить, делал ли он и дальнейшие попытки и в чем они выражались. Думаю, что делал, не мог не делать. Но обаяние Брюсова было чрезвычайно. А. Белый и С. Соловьев, даже порой негодуя на Брюсова, даже впадая в ненависть к нему, считали, а судя по недавней статье Белого и доньше считают Брюсова столь исключительной и «провиденциальной» личностью, что разув-ерить их Блок был бессилен.

Правда, с течением времени «цвет» брюсовской магии в глазах Белого и др. изменился. Уже в 1905-1906 гг. Брюсова были готовы считать прямым слугой дьявола (см. мою статью «Конец

Ренаты») — но все же признать его просто «черноватым господином» в сюртуке не осмеливались. Брюсов же с ними играл и шутил. По-своему даже, быть может, был прав. Ведь уже давно в стихотворении «Младшим» предупредил, что он — не то, за что его принимают. О том же честно написал Блоку. Но все еще не хотели признать его «только поэтом», все рядили в пророческий «венец».

Помню такую сцену в редакции «Весов» весной 1905 года. Мы сидим с Брюсовым в задней комнате. Звонок. Брюсов выходит в приемную. Некоторое время оттуда слышны голоса, потом хлопает входная дверь. Брюсов возвращается и скупающим голосом говорит:

— Опять приходил Андрей Белый уверять меня, что я — тайный рыцарь Жены Облеченной в Солнце.

— Что ж вы его разуверили?

Брюсов склбится и отвечает:

— Нет. Пусть. Чем бы дитя ни тешилось.

Только впоследствии, когда более существенные причины отстранили Блока от его юношеских связей, Блок мог открыто выражать свое ироническое отношение к Брюсову. В 1911 г. Блок писал матери полушутя, что «Брешко-Брешковский ближе к Данту, чем Валерий Брюсов».

Впрочем, эта ирония (которую признает и Гольцев), под конец переходила в презрение, отчасти в злобу. Такова напечатанная Чуковским пародия Блока на Брюсова, написанная уже в годы революции. В ней Блок осмеивал как раз то самое, с чего некогда началось его поклонение Брюсову: то, как Вечная Женственность преломляется в «апокалиптической» поэзии Брюсова.

Несомненно, Блоку противен был и брюсовский «коммунизм». Уж он-то хорошо знал ему цену. Гольцев напрасно ставит Блока и Брюсова на одну доску как «поэтов революции». Большая разница — «слушать музыку революции», как ее слушал Блок, и — плясать под дудочку Луначарского, как плясал Брюсов. Недаром и их судьба по отношению к коммунизму была столь различна. Блок умер, задушенный большевиками, Брюсов — большевицким сановником. Блок открыто и честно пор-

вал с большевиками, Брюсов их воспевал в деревянных стихах, тайно их ненавидя и явно низкопоклонствуя.

В заключительных строках своей статьи (не надо забывать, что она напечатана в «Печати и Революции») Гольцев делает «несколько беглых замечаний социологического порядка». По его мнению, впрочем, обязательному для сотрудников данного журнала, расхождения Блока с Брюсовым в корне определяются тем, что «Блок по своему социальному происхождению был дворянином, и в нем все-таки всегда чувствовался русский барин», а Брюсов «происходил из купеческой, буржуазно-демократической семьи». Блоку близка была «дворянская усадебная культура», а Брюсов «всецело был связан с жизнью города, большого промышленного центра». Все это, разумеется, благочестивые марксистские пустяки. Брюсов и Блок действительно принадлежали к различным «классам», но только не в социальном, а в духовном и нравственном смысле. Глубоко очаровательный, прекрасный и трагический образ Блока еще не очерчен, не дорисован. Он был «весь дитя любви и света». Не то был — Брюсов.

Собранный Гольцевым материал об отношении Брюсова к Блоку однообразен, но любопытен именно однообразием и любопытен. Его характерная черта: Брюсов никогда не проявлял никакого интереса к личности Блока, ни разу не попытался к нему приблизиться. Относился официально, как к литературному «сослуживцу». Выдерживал отношения в «ведомственных» тонах, с тончайшим соблюдением всего, что касалось литературной «табели о рангах». Личных встреч с Блоком не только не искал, но упорно от них уклонялся. Бывая в Петербурге, старался не посещать Блока. На письма не отвечать.

Гольцев уверяет, что «Брюсов обладал поразительным критическим чутьем». Это и вообще неверно: Брюсов был плохим предсказателем. Возлагал великие надежды не только на Городецкого, но даже на Миропольского, С. Соловьева, Димитрия Рема и на других, которых и вспомнить сейчас не сумею. Зато почти не заметил Ахматову. Что же касается Блока, то по отношению к нему «поразительное критическое чутье» опровергается всем материалом самого Гольцева.

Началось с того, что в августе 1902 г. Брюсов писал П. П. Перцову: «Блока знаю — он из мира Соловьевых. Он — не поэт». В декабре того же года он присутствовал в Петербурге у Мережковских на вечере, специально посвященном молодому Блоку и даже не отметил этого факта в своих дневниках. Потом, под влиянием М. С. и О. М. Соловьевых, пригласил Блока в «Северные Цветы», но ценил его невысоко. В 1905 г. написал на его стихи рецензию, которую Гольцев очень мягко называет «сдержанной и не слишком хвалебной». В том же году, полемизируя с А. Белым, прямо назвал Блока «поэтом второстепенным». Сам Гольцев, говоря о тогдашнем отношении Брюсова к Блоку, резко противоречит собственному заявлению о «поразительном чутье». В одном месте он говорит: «Брюсов... явно недооценивает молодого поэта». В другом: «обнаружил явную недооценку творческих возможностей Блока». В третьем: «долгое время оценивал блоковскую поэзию весьма сдержанно». Наконец — очень метко: «Вообще в те годы Брюсов не столько восхищался Блоком, сколько позволял ему восхищаться собою. Особого значения творчеству молодого поэта он не придавал».

Только после выхода «Нечаянной Радости» Брюсов как бы пересмотрел свое отношение к Блоку и раза два высказался о нем как о «большом мастере стиха». Конечно, в устах Брюсова это была большая похвала, но надо принять во внимание, что к тому времени слава Блока весьма возросла, что Брюсову уже приходилось считаться с отношением литературных кругов к Блоку, что «блоковская партия» могла быть опасна и что в общем хоре голосов, хваливших Блока, голос Брюсова все-таки оставался наиболее сдержанным. Его оценка, повысившись абсолютно, относительно оставалась низкой. Брюсов только учитывал повышение Блока в литературном чине.

Я лично не могу вспомнить в точности ни одного высказывания Брюсова о Блоке. Но помню, что с самых первых до самых последних наших литературных бесед (1919 г.), Брюсов говорил о Блоке как о поэте, не заслуживающем внимания.

Когда большевики стали управлять литературой и административными мерами передали поэтическую гегемонию в марксистские руки, Брюсов почувствовал, что «чин» Блока, несмотря на «Двенадцать», снова понизился. Себя, большевицко-

го сановника, вновь ощутил литературным начальством Блока. И вот, об одной из последних и лучших книг Блока написал он в журнале «Лито» снисходительно-презрительную рецензию... строчки в три или четыре длиной: поспешил «поставить Блока на место», так сказать, снял с него царские погоны. Эта рецензия, весьма характерная, ускользнула от внимания Гольцева.

В начале девятисотых годов человек определялся словом «поэт» или «не поэт». Двадцать лет спустя департаментским критерием большевицкой оценки стала «идеологическая выдержанность». И что же? Гольцев добросовестно сообщает: «Брюсов не сумел оценить «Двенадцать» как произведение, наполненное революцией, благодаря присутствию в поэме образа Иисуса, а также вследствие разбойничьей несознательности ее героев. Идеологическая невыдержанность «Двенадцати» заслоняла для Брюсова все остальное. Мы были очень поражены, услышав однажды из уст Валерия Яковлевича следующую фразу: «Ни для кого теперь не тайна, что «Двенадцать» было произведением антиреволюционным».

Такой был отчаянный революционер и такой последовательный марксист, что «идеологическая невыдержанность» заслоняла для него все остальное. Не мог ее вынести. И, конечно, не одному Гольцеву говорил это.

Начал с слишком неумного заявления: «не поэт». Кончил полудоносом. Это печально, конечно, но это так. [1928 г.].

О меценатах

Несколько лет тому назад один молодой писатель на собрании, посвященном вопросу о положении эмигрантской литературы, воскликнул с энтузиазмом: «Нам необходим меценат, идеальный издатель». Недавно в «Современных Записках» в статье, о которой я уже упоминал, М. А. Алданов мимоходом высказал ту же мысль, только уже безо всякого энтузиазма, без малейшей даже надежды. По его мнению, эмигрантская литература могла бы быть спасена разве только чудесным появле-

нием мецената, который бы согласился истратить очень большие средства, не рассчитывая на возврат их. Чуда такого Алданов, однако, не ждет — и я с ним вместе. Тем не менее, красивая мечта о меценате несколько дней «преследовала мое воображение». Но так как будущее на сей счет не сулит ничего, то, естественно, мысль моя очень скоро обратилась к прошлому.

Русская литература никого еще, кажется, не обогатила. Умели наживать издатели газет и журналов, рассчитанных на широкое потребление, издатели дешевых книг «для народа», календарей, учебников и т.п. Успех даже таких под счастливой звездой родившихся предприятий, каковы были «Знание» или «Шиповник», в конце концов оказывался непрочен. Как общее правило, художественная литература приносила убыток, и этот убыток оказывался прямо пропорционален качеству и новизне издаваемого. Выпускать книги новых, молодых, но серьезных авторов, а также книги, рассчитанные на высококвалифицированного читателя, значило обрекать себя на неизбежный убыток. Россия, однако ж, была богата, и богатым людям ее была свойственна широкость. Меценаты в ней не переводились, проявляя себя в разных областях, в том числе и в издательстве. За людьми действительно богатыми и действительно бескорыстными нередко тянулись люди со средствами ограниченными и с целями уже не столь отвлеченными. Соответственно всему этому различна была и судьба их затей, и судьба их самих, и честь, которая им полагалась. Всех равно звали меценатами, но не одинаковое содержание оказывалось вложено в это прозвище. Память мне сохранила несколько таких меценатских образов. Герой одной высокой трагедии говорит: «Мы ведь только играем в предположения, как другие играют в кости». Он говорит это, высказывая свои счастливые чаяния. Чайний у нас мало. Поэтому мы играем не в предположения, а в воспоминания. Я решаюсь на этот раз поделиться воспоминаниями о некоторых меценатах.

Начну со времени самого отдаленного, с человека, память о котором мне истинно дорога. Сергей Александрович Поляков был сын московского суконщика. Отец заставлял его просиживать положенные часы в «деле». Он там предавался филологическим изысканиям и, так сказать, лингвистическому об-

жорству. Его специальностью, если не ошибаюсь, был санскрит, но он говорил и читал на множестве языков, европейских и азиатских, которые усваивал с одинаковой легкостью. В самом начале девятисотых годов судьба столкнула его с Бальмонтом, Брюсовым, Балтрушайтисом. Он сам не имел к поэзии никакого отношения, но почувствовал, угадал, что этим людям, преследуемым насмешками и улюлюканьем обывательщины, принадлежит ближайшее литературное будущее. Они выпускали тоненькие брошюры — он для них основал солидное издательство «Скорпион». Вскоре вокруг «Скорпиона» образовалась целая группа молодых авторов. Появились на горизонте Белый, Блок, Вячеслав Иванов. Модернизм разветвлялся, ширился. Литературная борьба понуждала обзавестись собственным журналом — Поляков при «Скорпионе» основал «Весы».

Свою лучшую или, во всяком случае, центральную в своем творчестве книгу «Будем как солнце» Бальмонт посвящал нескольким людям сразу. В этом посвящении значилось, между прочим: «Нежному, как мимоза, С. А. Полякову». Сравнение такое вызывало улыбку: ни с мимозой, ни с каким вообще цветком этот сутулый, лысый, со впалою грудью и седеющей бородой человек, строением лба и овалом лица напоминающий Достоевского, ничего не имел общего. Ничего не было поэтического и в его небольшом, но вечно румянном носике, которым он был обязан пристрастию к коньяку. И вместе с тем, если всмотреться в него, бальмонтовское сравнение оказывалось не так уж преувеличено. Поляков обладал совершенно исключительною душевною деликатностью, которая как-то очаровательно не гармонировала с его насупленными бровями, с угловатыми движениями и склонностью сиповато покрикивать и махать руками.

«Скорпион» и «Весы» стоили ему больших денег и поглощали немалую часть его доходов. Но эти деньги он тратил с истинным изяществом: без купецкого «мы можем», но и без прижима, без вздохов, без попреков. В нем было глубоко заложено чувство ответственности — в смысле положительном и негативном. Однажды приняв на себя моральное обязательство перед начатым делом и перед людьми, которые это дело делали, он умел приносить жертвы, не колеблясь, но и не выпячивая своей жертвенности. С другой стороны, не будучи профес-

сиональным писателем, он никогда не вмешивался в литературную сторону дела, им созданного.

Понимая, что за «Скорпион» и «Весы» будут отвечать их сотрудники, он не позволял себе влиять безответственно. Обладая отличным литературным вкусом (он «открыл» Кнута Гамсуна, о котором еще не имели понятия в России и мало знали на родине), он за всю жизнь написал в «Весях» одну маленькую рецензию по какому-то специально филологическому вопросу — и то под псевдонимом. В предприятии, которое было им создано и на нем держалось, сам он держался тишайше, скромнейше, — и, разумеется, сгорел бы со стыда, если бы кто-нибудь ему посмел намекнуть, что он здесь хозяин. И вот — такова логика человеческих отношений — именно потому, что он держался в тени, именно потому, что на собраниях «скорпионов» казался случайным гостем, к его мнениям прислушивались не только с уважением, но и с любовью. Пожалуй, отчасти благодаря этой любви и уцелел «Скорпион», нередко раздираемый внутренними распрями. Поляков умел усмирять эти распри — не начальническим приказом, но постоянным стремлением объединять, собирать людей. В конечном счете, его незаметное, а главное — невольное влияние оказывалось очень сильно, а в более поздние годы даже и заметно. Но оно было приобретено тем, что он к нему не стремился. Уважение и доверие он завоевал уважением и доверием. Впрочем, иным способом ни то, ни другое не приобретается.

Во многом весьма отличался от него, но кое в чем очень важным был на него похож Михаил Васильевич Сабашников. Издательство Полякова было партийное, боевое, с резко очерченной программой и замкнутым кругом сотрудников. Издательство Сабашникова — эклектическое и разностороннее, включавшее в себя столь различные отделы, как памятники мировой литературы и книги по естествознанию. Всем предприятием Сабашников ведал единолично — никакой редакционной коллегии у него не было. Он обладал средствами гораздо большими, чем те, которые были в распоряжении Полякова. Не думаю, чтобы издательство приносило ему доход, но, вероятно, и убытки были невелики. Однако, если Поляков сознательно и несколько даже вызывающе шел на жертвы, Сабашникова такая

перспектива отнюдь не прельщала. Это не потому, что он был скуп, и не потому, что издательство могло расстроить его состояние, но потому, что, в отличие от Полякова, был он хорошим коммерсантом и плохой коммерции просто не любил. К своему делу он относился очень спортивно: прибыль считал победой, убыток — поражением. Но именно как хороший коммерсант он понимал, что в издательском деле, как нигде, убыток, понесенный в одном секторе, способствует получению прибыли в другом. Поэтому, когда было нужно, шел он на верный убыток, зная, что в конечном счете окажется не в накладе.

Кто-то прозвал его «калькулятором», и это прозвище ему нравилось. Однако он помнил, что «калькуляция» ничего не имеет общего с мелочностью. Его замыслы были всегда широки в литературном отношении, так же как в финансовом. Он любил большие серии книг, солидные труды, любил вообще все добротное, дельное, первосортное. Он уважал себя, свое дело, своего читателя, а потому второсортных и третьесортных сотрудников у него не было. Это не значит, что он гнался за «именами». Подсунуть покупателю плохую книгу с громким именем на обложке было не в его правилах. Напротив, целый ряд безвестных авторов именно в его издательстве составил себе имя. Для этого нужно было прежде всего уметь находить людей. Но он еще знал, что найдя — нужно уметь человека использовать. Вот тут-то и сближался он с Поляковым: его отношения с сотрудниками были основаны на уважении к людям, к их труду, знаниям, опыту, дарованию. Это уважение у него было, потому что он сам был человек образованный всесторонне, человек коммерчески одаренный, а еще потому, что в своем издательстве он сам работал много, по-настоящему. Человек, получивший работу у Сабашникова, знал, что даром денег ему не заплатят, но он мог быть уверен и в том, что ему дадут возможность работать спокойно, не торопясь и не на голодный желудок. В конце концов, затрачивая деньги, Сабашников умел их себе возвращать именно потому, что умел затрачивать и умел снискать доброжелательство сотрудников к себе и к своему делу, потому что сам был к ним неизменно доброжелателен. Не знаю, было ли у него доброе сердце: никаких отношений, кроме деловых, у

меня с ним не было. С виду он был сух и замкнут. Но доброе сердце вовсе не требуется в деловых отношениях. Оно в этом случае прекрасно компенсируется умом. Сабашников, во всяком случае, был столько же умен, сколько Поляков добр. Один — своему сердцу, другой — уму своему, обязаны они тем, что в истории русской литературы не забудутся ни их имена, ни издательства, ими созданные.

Умное доверие к трудящемуся человеку не имеет, конечно, ничего общего с неумным доверием к краснобаю и ловкачу. По этой противоположности от Полякова и Сабашникова я перейду к некоему Р., которого несчастье заключалось в том, что он не был на них похож ни умом, ни богатством.

История его жалка. Это был славный, но не талантливый юноша, лет двадцати, совершенно больной, получивший после родителей небольшое наследство и с этим наследством приехавший в Москву из провинции. Писал он стихи в декадентском духе. В Москву его выписал один литературных дел мастер, который, понаслушавшись символистических разговоров о жизни и творчестве, решил новые идеи использовать. В самых замысловатых выражениях он открыл провинциалу, что политический подвиг неотделим от жизненного, что поэт должен не только писать, но и жить, и гореть — и что, словом, надо мальчику, если он не ничтожество и не трус, рискнуть своим капиталом для устройства издательства, тем более, что и риск невелик, возможны даже прибыли, а слава обеспечена.

Издательство устроили. Мальчик получил титул издателя, а соблазнитель — редактора с окладом не больше не меньше, как пятьсот рублей в месяц (7.999 фр. по нынешнему). Издательство начало действовать, изредка выпуская книги среднего качества. Убытки обозначились быстро. Всеобщего восхищения своим подвигом провинциал не вызвал, потому что писал плохие стихи, был неопрятен, золотушлив и вечно пьян, а главное — потому, что редактор от его имени делал сотрудникам неприятности. (Он считал себя демонической натурой, вроде Маккиавелли, и любил «разделять, чтобы повелевать»).

Деньги таяли. Провинциал заикался о том, что ему скоро нечего будет есть, но редактор его стыдил, грозя всеобщим презрением за низость души и измену поэзии. Несчастный

пугался, раскаивался и просил прощения. Издательство продолжалось. Потом меценат уже начинал бунтовать и скандалить, но редактор вновь раздражался филиппикой — и бедный мальчик опять каялся, подчас плача настоящими слезами. Через год деньги иссякли. Р. уехал к тетке в провинцию — с тех пор простыл и след его на долгие годы.

В 1922 году в Петербурге я вдруг получил от него письмо из какого-то городка в юго-западном крае. О себе он писал, что служит на почте и стихи бросил. Спрашивал о некоторых общих знакомых: «что пишет такой-то?» — а такой-то уже лет десять ничего не пишет, «как поживает такой-то?» — а такой-то давно в могиле. Не спросил он ничего только о своем демоническом друге. Вероятно, не мог ему простить. Деятельность Полякова и Сабашникова сложилась удачно и плодотворно. Бедному Р. судьба удачи не принесла. Всему этому были свои причины. Однако, и Поляков, и Сабашников, и Р., при всем различии характеров и обстоятельств, объединяются тем, что все трое были глубоко, органически связаны с той культурной сферой, в которой они действовали.

Сейчас расскажу я о человеке, который свалился в литературу неизвестно откуда и неизвестно зачем. Точнее сказать, о человеке, которого сделала меценатом прихоть, совершенно напрасно использованная другими людьми.

Л-в принадлежал к чрезвычайно богатой купеческой семье, но сам был беднее своих родственников, потому что ничего не делал и не хотел делать. Родные, однако же, снабжали его деньгами в огромном количестве — ради престижа. Он чудачил, переходя от «увлечения» к «увлечению». Тут все было: и путешествия по каким-то экзотическим странам, и постройка фантастических особняков, и лошади, и женщины всех национальностей и цветов, и классическое купание этих женщин в ресторанных аквариумах, и не менее классическое битье посуды, и собирание картин, и все вообще, чему полагается быть в таких случаях. Поражать, изумлять, быть предметом правдивых и неправдивых рассказов — было истинной его манией. На худой конец, когда воображение ослабевало, он готов был поражать окружающих, появляясь в костюме с какими-нибудь столь ослепительными крапинками и полосками, что от них начинало

рябить в глазах. В случаях совсем уже крайних он отпускал бороду неслыханной красоты и шелковистости, и когда борода, завитая и умащенная благовониями, становилась уже одной из достопримечательностей города, когда уже ею гордились, когда ее чуть ли не показывали иностранцам наряду с Кремлем и Третьяковскою галлереей, — он, как истинный Герострат, внезапно сбивал ее к ужасу соотечественников.

Он был неплохой человек, скорей даже добрый и не без некоторой приятности. Быть может, он привлекал к себе какой-то природной одаренностью. Если бы меня спросили: к чему именно? — я не сумел бы ответить в точности. Ко всему вообще и ни к чему в частности — но одаренность чувствовалась. Наконец, он был далеко неглуп, но ум его был до крайности недисциплинирован и искажен вечным желанием Л-ва мыслить «оригинально». Это оригинальничанье, да еще в сочетании с обрывками знаний и полужнаний, Бог весть, когда и откуда заскочивших ему в голову (человеком он был малообразованным), придавало его словам и поступкам совершенную взбалмошность. Слова он не произносил, а как-то выбрасывал из себя, или, лучше сказать, они сами у него выскакивали, порой — к его собственному очевидному удивлению. Никак нельзя было предугадать, что он скажет. Иногда выходило метко, иногда — Бог весть что.

Как раз в ту пору, когда он стал увлекаться живописью, то есть накупил кистей, красок, холстов и оборудовал себе мастерскую, один художественный и критический журнал, тянувшийся за модернизмом, но плохо руководимый, очутился на краю гибели. Уж не знаю, как и через кого, редактор художественного отдела (он же издатель) обратился к Л-ву за помощью. Л-в помог заплатить в типографию за один номер, за другой, потом вздумал перевести все дело на свое имя. Закончив подписной год, первоначальный журнал прекратили и стали выпускать новый, под новым названием, по расширенной программе, включив в нее беллетристику и поэзию. Л-в стал редактором-издателем, а прежние редакторы должны были сохранить за собой фактическое руководство литературным и художественными отделами.

Деньги полились рекой. Журнал был модернистский... модернизм далеко еще не был в силе, круг сотрудников был ограничен, круг будущих читателей и подписчиков — тоже. Тем не менее, Л-в снял для редакции особняк, обставил его шикарно, завел контору и наладил целую бухгалтерию, которую всю нетрудно было уместить в записной книжке. О самом журнале и говорить нечего — это было сплошное великолепие. Формат выбрали самый огромный, типографию — самую дорогую, бумагу — наилучшую. Помимо обильных снимков с картин (черных и трехцветных), рисовальщики не разгибали спин, изготавливая бесчисленные заставки, виньетки, концовки — к стихам и рассказам. Знаменитым художникам заказывались портреты сотрудников. Редактор литературного отдела написал для первого номера вступительный «манифест», донельзя напыщенный и наивный, над которым сотрудники смеялись еще много лет спустя. Л-в приказал отпечатать сей манифест золотом на меловой бумаге. Ему ужасно хотелось «утереть нос» Полякову и «Скорпиону». Литературный редактор, имевший с руководителями «Скорпиона» сложные счеты, поддерживал его в этом.

Чтобы отбить материал у «Весов», Л-в решил самолично отправиться в Петербург к тамошним писателям. Он им стал предлагать такие гонорары, о каких бедные, почти нигде не печатаемые «декаденты» до тех пор не слыхивали. Они удивлялись и переглядывались, но, разумеется, не отказывались. Один писатель, знаменитый уже в ту пору, всучил Л-ву нуднейшую и длиннейшую свою поэму, получил по рублю за строчку, уехал за границу и там вдруг испугался, что недобрал. Прислал телеграмму: «Если журнал хочет сохранить мое идейное сочувствие, прошу дополнительно выслать пятьсот рублей». Л-в, надо ему отдать справедливость, нашелся. В ответ он телеграфировал: «В сочувствии не сомневаемся, денег не посылаем».

Первое время все шло благополучно. Потом стало хуже. Началось, кажется, с того, что Л-в пожелал поместить в журнале рисунок своей работы. Редактор художественного отдела отдал кому-то рисунок подправить — и напечатал. Тогда Л-в, вообразив, что не боги горшки обжигают, решил стать беллетристом. Сказано — сделано: месяца через два был готов роман. Л-в пригласил всех сотрудников, устроил великолепный ужин, а

затем приступил к чтению. Уже в самой этой программе был недостаток: обильная пища, полутемный кабинет с толстыми коврами на полу и отравленными стрелами на стенах, мягкая мебель, голос чтеца — все слишком располагало ко сну. Слушатели зевали в руку. Наконец, один известный художник захрапел вслух. Под утро, едва держась на ногах, разошлись по домам. Редактору литературного отдела пришлось выправлять в романе каждую строчку — он был написан донельзя безграмотно. По содержанию это было нечто ужасно мрачное (одному Богу ведомо, с чего такому благополучному человеку пришли в голову такие макаберные идеи), в общем же — чепуха отчаянная. К счастью для журнала, роман был слишком велик, его издали отдельной книжкой — в черной обложке.

Почувствовав себя художником и писателем, Л-в решил взять общее руководство журналом в свои руки. Тут обнаружилось самое страшное: у Л-ва завелись литературные идеи. В один прекрасный день он объявил, что за свои деньги может заставить писателей писать так, как он хочет, и что он чуть ли не самим небом избран для высшей миссии — «вернуть русскую литературу ко временам Тургенева». Пробовали ему объяснить, что для такой цели, даже если она достижима и разумна, с самого начала надо было обратиться к иному кадру сотрудников, — Л-в знать ничего не хотел. Литературному редактору пришлось подать в отставку.

Повернуть историю вспять Л-ву, разумеется, не удалось, да он, в сущности, этого и не хотел. Журнал просуществовал еще года четыре и оставался вполне модернистским, а что разумел Л-в под «временами Тургенева», так и осталось тайной. Зато и он сам не имел представления о том, что он, собственно, издает. Ладить с ним было трудно. Одни сотрудники уходили, другие вступали на их место. В связи с этим в журнале происходили перемены, в которых Л-в тоже не умел разобраться. Наконец, увлекшись чем-то другим, закрыл он свое издательство совершенно так, как московские купцы порой распродавали свои выезды — «за прекращением охоты». В общем, журнал напечатал ряд хороших вещей — просто потому, что они нашлись у авторов и их где-нибудь надо было печатать. Но в истории русского модернизма не сыграл он той роли, которую мог сыграть, если

бы Л-в предоставил «делать литературу» тем, кто умел ее делать. В этом случае не пропали бы деньги, им затраченные, и у людей оставил бы он о себе добрую память, и сам не испытывал бы той горечи, которую, несомненно, должен был испытывать, вспоминая то время, когда был меценатом.

Некто И. А. Добычин, которым я закончу свои воспоминания, был несравненно серьезнее. Меценатом он стал не по внезапной прихоти, а потому, что, располагая очень крупными средствами, искренне хотел принести пользу. Впрочем, известную роль тут сыграло и то, что он был человек одинокий, слегка ипохондрик. Его капитал, вложенный в верные предприятия, не требовал никакого ухода. Добычину хотелось себя чем-нибудь занять. Он затеял издательство. Но вот что любопытно: от роду не трудившись, он труда не уважал и, конечно, не научился его уважать даже тогда, когда себе предписал его как лекарство от скуки. Книги он любил и ценил, но ему в голову не приходило подумать о том, во что они обходятся авторам. Гонорары, которые он платил писателям, казались ему подарками, которые, в сущности, стыдно и принимать. Когда же дело шло о гонораре за второе или третье издание книги, то это считал он уже полнейшею непристойностью. Подчеркиваю: тут самое любопытное то, что Добычин вовсе не был скуп. Он именно и просто не уважал труда.

Чувствуя себя окруженным людьми, которые без всяких оснований тянут у него деньги, он очень скоро стал относиться к ним с крайним недоверием. Через два-три года его нельзя было узнать. Он сделался неприветлив, нередко груб. Читая самые лестные отзывы об издаваемых книгах, их авторам ни разу он не сказал доброго слова. Напротив, чем больше успеха выпадало на долю писателя, тем более Добычин хмурился, подозревая его в намерении «зазнаться». При этом, по естественной человеческой склонности винить не себя, а других и отталкивая людей своей крайнею неприветливостью, он считал их неблагодарными, а себя обиженным и неоцененным. Это его оскорбляло, и, я уверен, что сам он от этого страдал искренне, глубоко.

Как водится в таких случаях, нашлись два-три подхалима, которые сыграли именно на этой слабой струне его. Они добились его доверия, сплетничая, наущничая, а главное, вслух жа-

лея о том, что бедный Добычин до такой степени страдает от человеческой неблагодарности. Бездарные от природы, они из редакционных комнат смиренно перекочевывали в контору. Незадолго до войны в Крыму, неподалеку от дачи Чехова показывали нарядную дачу, любовно выстроенную на деньги Добычина. Она принадлежала одному из «бескорыстных». Другие тоже не забывали себя.

Добычин не много понимал в литературе, но у него было чутье. Отчасти прислушиваясь к критике, отчасти следя за рынком, отчасти по инстинкту он умел выбирать для издания хорошие книги. Когда же на его выбор стали влиять советчики, уровень издательства быстро стал понижаться. Лучшие авторы постепенно переходили в другие издательства, тем самым давая Добычину лишний повод обвинять их в неблагодарности и измене. Таким образом издательство, еще в начале десятых годов почти не приносившее убытки, все более становилось убыточно, потому что совсем хороших книг уже не издавало, а на откровенно третьесортную литературу Добычин тоже не хотел перейти.

Во время войны, когда были заняты западные губернии, с которыми были связаны капиталы Добычина, его дела несколько пошатнулись. Испугавшись, что книгоиздательство станет ему непосильно, Добычин закрыл его неожиданно, за бесценок продав нераспроданные издания.

Потеряв все состояние после Октябрьской революции, он эмигрировал. В 1928 году, проходя по рю Тронше, я увидел его на террасе маленького кафе. Он был плохо одет, очень постарел, похудел, но был необыкновенно приветлив и, мне показалось, весел. Сказал, что в Париже всего дня на два, живет же в Руане, служит комиссионером по продаже автомобильных принадлежностей. В позапрошлом году он умер.

О Владимире Пясте

I

Ко временам самой ранней моей литературной юности относится странное воспоминание. Время от времени в москов-

ских издательствах символистского толка появлялась рукопись, на заглавном листе которой стояло: «Владимир Пяст. Поэма в нонах». Никто ее не хотел печатать. Мне запомнилась она потому, что к ее грустной судьбе неизменно примешивалась подробность, сама по себе совсем не смешная, но своей необъяснимой повторностью вызывавшая улыбку: перед тем, как вернуться к автору, жившему в Петербурге, рукопись всякий раз подолгу лежала в редакциях — и всегда почему-то на подоконнике. Я видел ее в «Скорпионе», в «Гриффе», в «Золотом Руне», в «Мусагете». От путешествий по почте туда и назад, от лежания на подоконниках она трепалась, пылилась, желтела и выгорала; страницы ее закручивались; она ветшала у меня на глазах. Наконец, если не ошибаюсь, уже незадолго до войны, она была напечатана в Петербурге. Но и тут ей не повезло. То ли автор, внезапно разочаровавшись в своем создании, остановил продажу его, то ли вышла еще какая-то беда — не помню в точности. Как бы то ни было, «Поэма в нонах» почти не дошла до читателей. Впрочем, если бы и дошла — успеха бы не имела. Была она благородно-скупная, бледная, порывалась сказать о чем-то важном, но это важное так и не высказалось.

Это была поэма-неудачница. Ее судьба похожа на судьбу самого автора. После небольшого и незамечательного сборника стихов, изданного Вольфом лет двадцать пять тому назад, Пяст работал всю жизнь, силясь выразить себя в поэтической форме, но это не удалось ему. Между тем, он был человек образованный, умный, с возвышенным строем души и чувств. Вообще во всем его образе было много истинно поэтического, но литературного дарования он был почти лишен. Плохо приспособленный к жизни, он не был приспособлен и к деятельности литературной.

Однако ж это совсем не значит, что он был лишним в литературе. Конечно, его бледное творчество не имело прямого влияния на ход словесности и не заключало в себе обаяния художественного. Но сам он, как личность до конца поэтическая, был не только современником, но и одним из создателей той эпохи и той среды, которой можно дать имя *петербургского символизма*. В центре этой эпохи стоял, разумеется, Блок.

Это имя здесь названо не случайно. Те, кому еще дорога

русская поэзия и дорога память Блока, никогда не забудут Пяста: его любил Блок. И Пяст был достоин этой любви, потому что сам был Блоку верным и бескорыстным другом. Я думаю даже, что будущий исследователь в самой поэзии Блока сумеет найти пястовские веяния: само собой разумеется, не отголоски пястовской поэзии, но отблески того, каким виделся Пясту мир. В прекрасном и страшном блоковском Петербурге есть следы не только того, что увидел Блок, но и того, что в полубезумии порой чудилось Пясту.

Опять же, и это слово — полубезумие — сказано не случайно. Кажется, раза два (еще до революции) Пяста пришлось помещать в лечебницу для нервных больных. Может быть, именно этой болезнью парализовалось литературное дарование Пяста. Но благодаря ей он, кажется, порой играл при Блоке роль полубезумного оруженосца. Так образ Блока дополняется образом Пяста.

Я познакомился с ним очень поздно, уже в 1920 году, когда поселился в Петербурге. Его настоящая фамилия была Пестовский. Не имею понятия об его происхождении. Это был высокий, довольно плотный человек с красивым и породистым лицом. На ходу, тяжело ступая, он откидывал назад горбоносую высоколобую голову в финской ушастой шапке. Нищета его в эту пору была ужасающая. Он жил в полуподвале «Дома Искусств», в сырости и морозе. Зимой он ходил почти босиком, в каких-то остатках обуви, прикрученных веревками. Носил рыжую меховую куртку, из-под которой виднелись серые клетчатые штаны — последний остаток лучших времен. Эти штаны были достопримечательностью советского Петербурга, их называли «пястами». Летом 1921 года покойный «серапионов брат» Лунц по поручению владельца обменял их в Псковской губернии на полпуда ржаной муки.

Пяст получал академический паек, но целиком отдавал его семье, с которой жил раздельно. По средам, когда приносил он из Дома Ученых тяжелый мешок с продовольствием, сынишка уже поджидал его, отбирал все и уносил домой на Васильевский Остров. Однажды присутствовал я при том, как мальчик выпрашивал у отца огрызок карандаша. Пяст в обмен требовал ломоть черного хлеба. Торг длился долго, отец и сын волновались почти

до слез, грозили, упрашивали, совсем было расходились — и вновь начинали торг; так нужны были одному карандаш, а другому — хлеб. Наконец, поладили. Пяст немедленно съел свой ломоть. Этого зрелища ни забыть, ни простить нельзя.

Когда-то Пяст был любителем скачек. В советские годы он написал стихи, восхваляющие «великолепную Мангуст» — скаковую кобылу, которой уже, вероятно, и в живых не было. Стихи славились не менее «пястов», весь Петербург потешался над их бурным пафосом, принявшим столь странное направление. Но мало кто знал их конец — отчаянный и надрывный, не попястовски сильный и говоривший, конечно, совсем не о лошади...

По ночам мороз выгонял Пяста из его конуры. Он шел в комнаты более теплые — к Мандельштаму, ко мне. Говорил мало, но тонко, проникновенно. Потом начинались дикости, сопровождаемые скрипучим смехом. Потом, заметив, что он уже в тягость, Пяст отправлялся в главное здание Дома Искусств. Там, в темной концертной зале, до утра ходил он один взад и вперед меж зеркальных стен и читал стихи — вероятно, импровизировал. От его тяжких шагов звенели подвески на огромных хрустальных канделябрах. Голос его гремел на весь дом, отдаваясь в рояле.

— Это господин Пяст, — говорил служитель Ефим. — Плохо им очень.

Потом залу начали от него запирасть.

В 1923 г. издал он воспоминания о Блоке — лучшее из всего им написанного. С год тому назад вышла книга общих литературных воспоминаний его, ценная по обилию фактов, правдивая, благородная. С появлением этих книг его жизнь была как бы завершена. Телеграфные известия о его смерти содержат намек на самоубийство. Так, вероятно, и было. Так, быть может, и лучше. Лучше быть среди мертвых поэтов, чем среди живой черни. Теперь Пяст с Блоком.

II

Символизм как известная литературная эпоха все дальше отходит в прошлое. Еще не настала пора писать его историю, но

все возрастает число публикуемых материалов для этой будущей истории. Таковы, главным образом, письма, дневники и записные книжки Брюсова и Блока. Таковы же воспоминания Андрея Белого, Бекетовой, З. Н. Гиппиус, Георгия Чулкова. Сюда же относятся и «монтажные» работы: Ашукина о Брюсове, Немеровской и Вольпе о Блоке. Мемуарная часть этой литературы не так давно пополнилась изданными в Москве «Встречами» В. А. Пяста.

От мемуариста нельзя и не надо требовать той объективности, которой мы требуем от историка. В его наблюдениях и оценках некоторая доля субъективности даже полезна, ибо и в ней самой отчасти уже запечатлевается дух эпохи. Объективность же не уйдет: в процессе работы создастся она самой историей, для которой личные мнения мемуариста всегда любопытны, нередко и драгоценны, но никогда не обязательны.

Не суждения, но факты — вот главная ценность воспоминаний. Количеством сообщаемых фактов, подробностей, дат, точностью и правдивостью в их передаче — вот чем, прежде всего, измеряются достоинства мемуариста. Пусть не скрывает он своих чувств и мнений, пусть эти мнения будут даже ошибочны, даже пристрастны — история будет ему признательна, если при этом он правдив в изложении фактов.

Эти простые истины хорошо понял Пяст и, как сам говорит в своем предисловии, постарался быть, прежде всего, правдивым. Со справедливой брезгливостью поспешил он отмежеваться от некоторых фальсифицированных литературных «мемуаров», появляющихся, к стыду нашему, в эмиграции. (Надо заметить, что никаких выпадов вообще против эмиграции нет у Пяста; о некоторых ее заметных деятелях говорит он с большим уважением).

Стихотворец, не сыгравший своими стихами выдающейся роли в символистской литературе, как наблюдатель, Пяст был поставлен в условия действительно благоприятные. Ныне случается, что «мемуарист» повествует об очень интимных и дружеских беседах своих с каким-нибудь, например, замечательным поэтом, но появляются дневники самого этого поэта — и выясняется, что он старался «мемуариста» попросту не пускать в дом свой. Пясту не было надобности сочинять или подделывать свои воспоминания. Он жил в настоящей дружеской короткости

с Вячеславом Ивановым, с Андреем Белым. Известно, что Блок до конца своей жизни очень любил его. Пяст рассказывает о том, чему в самом деле «свидетель в жизни был». Его жизнь прошла в Петербурге. Из москвичей знал он только Андрея Белого и, сравнительно отдаленно, Брюсова.

Правдивый по содержанию рассказ Пяста непринужден, порой даже небрежен по форме. Пожалуй, Пяст не всегда беспристрастен. С его взглядами, мнениями, характеристиками иногда затруднительно согласиться. Но все это лишь иногда, и я бы сказал — нечасто. Но и эти вполне простительные недостатки искупаются именно тем решающим обстоятельством, что Пяст действительно стоял близко к тому, о чем повествует, и действительно добросовестен в изложении событий.

Тому, кто хотел бы узнать, как возникли и протекали знаменитые «среды» на знаменитой «башне» Вячеслава Иванова, как зародился «Кружок молодых», как развился он в «Про-Академию», а затем, уже возле «Аполлона», в «Поэтическую Академию» и т.д., — тому книга Пяста даст много ценнейших сведений. Расскажет она и об отдельных людях: кроме упомянутых выше, умно и любовно говорит Пяст об Анне Ахматовой, об Анненском, об Е. В. Аничкове, любопытно — о Городецком и Гумилеве, о Мандельштаме, о жизни и смерти Леонида Семенова, о Мережковских. Как живой здесь А. М. Ремизов, да и весь литературный и отчасти театральный Петербург 1905-1917 гг.

В числе достоинств книги надо отметить еще одно. Всякая литературная эпоха, как бы она не была значительна, вырабатывает свою как бы накипь, муть. Для пушкинской, например, поры такой накипью был кружок Воейкова. Не умалчивая о такой накипи вовсе (что повело бы к искажению обстановки), Пяст умеет ей отвести надлежащее место.

В предвоенном Петербурге литературная муть отстаивалась преимущественно в подвале так называемой «Бродячей Собаки», где под видом «исканий» разбазаривалась поэзия, где ресторанное дело прикрывалось флагом литературности. Одно время некоторые даже и литературно-чистые люди были «Собакой» засосаны. Кажется, только Блока нельзя было «никак, никогда и ни за что» залучить туда; в своих дневниках говорит он о «Собаке» с гадливостью. Пяст мужественно признается в своем

временном увлечении «собачьим» соблазном. Память оптимистична — он и теперь еще старается защитить «Собаку», найти в ней хорошие стороны. Но он все-таки понимает, что это было учреждение «сомнительной нравственности и, видимо, несколько стыдится своей к нему близости[1931 г.].

Желтый конверт

Есть в «архиве» моем желтый конверт, куда я складываю письма людей умерших. Порядочно в нем накопилось за последнее пятилетие. Лев Лунц — добрый, прямой, веселый мальчик, самый способный из «Серапионовых братьев»; летом 1923 года он окончил университет и вырвался из советской России; хотел здесь учиться, ехать в Испанию, писать, но приехал уже больным, слег и умер. Потом Гершензон — мой старший друг и добрый учитель; потом — Н. В. Чайковский, Андрей Соболев, поэт Потемкин, Семен Юшкевич, М. М. Винавер, Федор Сологуб, Нина Петровская...

Вчера переложил я в желтый конверт письма Юлия Исаевича Айхенвальда.

Двенадцать лет мы с ним печатно, письменно и устно враждовали о Пушкине. Конечно, в основе наших распрей лежала общая любовь. Каждый любил Пушкина по-своему и хотел доказать, что его любовь — единственно истинная. Так до конца каждый и остался верен себе в основном. Но, кажется, кое в чем мы друг друга отчасти сумели переубедить.

Об Айхенвальде как о литературном противнике вспоминаю я ныне с величайшей скорбью. Его полемическая честность (и вообще его честность) была безгранична. Им не руководило ничто, кроме желания отыскать истину. Он с одинаковой доблестью и упорствовал и сдавался — там, где видел, что правда не на его стороне. Вот почему в результате наших разногласий постепенно сложилась во мне прочная любовь к Айхенвальду.

В Берлине в 1923 году мы встречались довольно часто. 11 августа вечером он был у меня, но, помню, разговор на сей раз плохо ладился, вяло тянулся. Я мечтал об отъезде в Италию, Айхенвальд оставался в суровом и жутком Берлине тех дней.

Такие предотъездные беседы редко удаются. Это было наше последнее свидание; потом мы распрощались окончательно, но уже только по телефону.

Юлию Исаевичу нерадостно жилось в Берлине. С самого начала относясь к большевикам совершенно непримиримо, он все же не искал отъезда из Москвы и покинул ее не по доброй воле. Последнее десятилетие его жизни было исключительно тяжело. Он морально и материально страдал в Москве сильнее многих других. К мучениям общего характера прибавились для него и личные горести. В Берлине Юлий Исаевич оказался совсем одинок. С чужбиною умел ладить, в Германии находил много хорошего, но, разумеется, не сживался внутренне. Как всякий человек, пробовал искать утешений, но, кажется, не находил их во внешней жизни. Высылка из России что-то в нем надломила. Кстати, вот несколько подробностей, относящихся к этой высылке. Они не лишены любопытности.

Первый донос на Айхенвальда был напечатан вовсе не Троцким, как принято думать. Незадолго до знаменитой статьи Троцкого «Диктатура, где твой хлыст?» — в «Печати и Революции» была напечатана об Айхенвальде статейка Сергея Боброва, человека умного и совершенно подлого. Это и был первый донос. Статья Троцкого была *следствием* бобровской статьи и, скорее, *приказом*, нежели доносом. И то, и другое появилось летом 1922 года. С этого момента положение Юлия Исаевича стало не только особенно трудно, но и прямо опасно. Нельзя было сомневаться, что какая-нибудь беда над ним стряется. Вскоре в Кремле явилась мысль выслать ряд ученых и писателей. Стали составляться проскрипционные списки. Мелкую сошку, конечно, вроде Боброва, никто не спрашивал. Но почва была подготовлена им и Троцким. Тут принялся за дело и Брюсов.

5 августа 1926 года Юлий Исаевич писал мне из Берлина: «О Брюсове ... Он сделал мне немало дурного и когда сопричислился к сильным мира сего, некрасиво, т.е. — экономически мстил мне за отрицательный отзыв о нем в одной из моих давнишних статей. Самая высылка моя — я это знаю наверное, из источника безукоризненного — произошла при его содействии».

Осторожность и правдивость Айхенвальда всегда безупречны. Уж если он говорит «знаю наверное» и называет источник своего осведомления «безукоризненным» — значит, сомневаться нельзя. Я, кажется, догадываюсь, что это был за источник. Сейчас одно лишь могу сказать: действительно, источник безукоризненный и стоивший бедному Айхенвальду многих страданий. Впрочем, все это еще дело истории. А нам сейчас остается с любовью вспомнить Юлия Исаевича и чтить его память.

Его письма, такие дружеские и ласковые, перечитываю еще раз и прячу в желтый конверт.

К О Н Т И Н Е Н Т

Литературный, религиозный
и общественно-политический журнал

Главный редактор журнала — Владимир Максимов.

«Континент» — ежеквартальный журнал, объемом около 400 стр.

Цена отдельного номера — 12 ДМ (пересылка за счет заказчика).

Стоимость годовой подписки (4 номера) — 40 ДМ (включая пересылку).

Пересылка за счет заказчика.

Требуйте бесплатно наш каталог 1985/86 (объем 380 стр.)
и бюллетени №№ 20, 21 и 22



A. Neimanis • Buchvertrieb ^{Gm}_{bH}
Bauerstr. 28 • 8000 München 40 • Germany

ВСПЛЫВШЕЕ В ПАМЯТИ

Моя научная деятельность началась лет в десять. Началась записыванием частушек. Жила в то время у нас наша родственница, молоденькая хорошенькая девушка, приехавшая в Москву на Высшие Женские курсы. Она писала курсовую работу о частушках, сама собирала и записывала их. Это вдохновило и меня, я стал записывать частушки у нашей горничной Фроси, у всех прислуг наших знакомых. От курсистки Вали, веселой хохотушки и кокетки, я узнал, что народную словесность следует записывать так, как она слышится, и отмечать — от кого, когда и при каких обстоятельствах записана песня, из какой местности и какого звания и какой профессии исполнитель частушки.

Я завел толстую общую тетрадь в черном клеенчатом мягком переплете. В ней появились мои первые фольклорные записи. Таких тетрадей за три, примерно, года, мною было заполнено пять или шесть; записи в них сопровождались примечаниями в лучших традициях академических комментаторов, хотя и не всегда отличались тщательно соблюденной орфографией:

Сидить заяц под бирезой
Нежанатый, холостой...
Маво милава забрали,
Я осталась сиротой.

«Записано 11 декабря 1915 года у горничной зубного врача Л. А. Ф. Фроси, 17 лет, из крестьянок Зарайского уезда, халастая».

* Главы из воспоминаний.

Эдак через год началось мое достаточно длительное увлечение и этнографией. Оно было достаточно серьезным, я отдавался ему всей душой. Это заставило друзей моей матери, хорошо знакомых с Дмитрием Николаевичем Анучиным, повести меня к патриарху русской антропологии и этнографии. Семидесятитрехлетний академик, типичный семидесятник-позитивист, погладил меня по вихрастой голове, осведомился, как я учусь, на что я пробормотал в ответ что-то невнятное (был я в гимназии неисправимым двоечником), посоветовал побольше налегать на естествознание. Затем, кряхтя и поглаживая поясницу, он поднялся с кресла, подошел к книжному шкафу и вынул оттуда свою книгу «Сани, лады и кони как принадлежности похоронного обряда» и даже надписал ее мне: «Юному Боре, моему будущему коллеге на ниве отечественного народоведения».

Книга эта долго сопровождала меня во всех моих странствиях и житейских передрыгах, пока не исчезла во время одного из обысков уже в тридцатые годы — и вынырнула для меня неожиданно в ленинградском магазине антикварной книги. Но эта чуть суховатая, воистину ученая книга не так заинтересовала меня, как случайно попавший мне в руки второй том афанасьевских «Поэтических воззрений древних славян на природу» и, в особенности, тоненькие, в сизой обложке брошюры некоего Пуцыковича, из которых каждая, с портретом типичного представителя данного народа, посвящалась всем народам и племенам мира. Автор этих весьма для отрочества занимательных книжек заинтересовал меня и своей странноватой фамилией; лишь через десять-пятнадцать лет я узнал, что В. Ф. Пуцыкович — преемник Достоевского в редактировании «Гражданина», достаточно рьяный реакционер и мракобес.

Летом семнадцатого года мы с мамой (отец был убит еще в 1914 году под Варшавой) перебрались из начинавшей подголаживать Москвы в Ставрополь Кавказский. В переполненные, главным образом дезертирами с фронта, поезда пришлось влезать через окна вагонов; внутри все было заплевано подсолнухами, сизо от самокруток с махоркой, мат сменялся то марсельской, то заунывной «страдательной», а чаще — частушками:

Не ходите нынче девки
С дымократами гулять —

Дымократы вас научать
Пракламации читать...

Кое-как доплелись до Ставрополя еще по стародавнему, обильному пути: чего только не было на станционных базарах! Только уже ненадолго.

В Ставрополе мое увлечение этнографией еще больше усилилось. В Первой мужской гимназии обучались и армяне, и грузины, и осетины, и эвакуированные поляки и латыши, и, понятно, украинцы, тогда еще не осознавшие, что они — не русские. Учились там и кабардинцы, черкесы, даргинцы, имевшие неписанную привилегию оставаться в каждом классе не на два, а на три-четыре года. Сидевший со мной за партой в третьем классе горский князек Абдул Азизов уже трижды в неделю брился и, возвращаясь в гимназию с каникул, привозил и показывал нам фотографии своих четырех жен. Впрочем, он был хорошим товарищем и на пари съедал в один присест чуть ли не пудовый арбуз с большой французской булкой.

Вместо ветхих брошюр Пуцыковича на моем столе появились тогда увесистые тома «Вселенной и Человечества», увражи Ратцеля и книги по этнографии Кавказа. А главное, я смог теперь наблюдать и записывать свои наблюдения прямо с натуры — гимназия ведь была настоящим интернационалом.

В гимназической и городской библиотеках я стал брать книги путешественника Вамбери, написанные чрезвычайно увлекательно. Какое множество сведений о народах Турции, Персии, Туркестана, во времена Вамбери еще не завоеванного Россией, можно было найти в этих книгах! Бабушка предупреждала мою мать:

- Следи за Борисом, он что-то рано увлекся порнографией.
- Этнографией, мама.
- А это не одно и то же?

И вот тут-то, году на тринадцатом-четырнадцатом моей жизни, Федор Яковлевич Семин, муж старшей сестры моей матери, бывший эсер и бывший эмигрант, заметив мое запойное чтение «серьезной» литературы, решил приохотить меня к еще более серьезным и более отвлеченным знаниям, по интеллигентской старинной традиции — к Спенсеру, Миллю, Михай-

ловскому, а затем к Канту. Вера старого эсера в святость позитивизма и английского натурализма уже начала сменяться обрушным кантианством. Федор Яковлевич стал начинать меня «Логикой» Милля, психологией Джеймса и «Психологией без всякой метафизики» Введенского, толстенными томами Спенсера; Спенсер, считал он, грубоват и элементарен, но дает «хорошую основу». Я до сих пор помню определение жизни у английского скукодея: «Жизнь есть постоянное приспособление внутренних отношений к внешним сосуществованиям и последовательностям».

Зная о моем увлечении этнографией, Семин (Федя, как мы, его племянники и племянницы его звали, безо всякого даже «дяди») принес мне «Социологию по данным этнографии» Шарля Летурно, а потом и другие книги того же Летурно, включая «Эстетическую эволюцию», неуклюже и безграмотно переведенную кем-то как «Литературное развитие народов и племен». Рекомендуя мне работы Летурно, Федор Яковлевич сказал, вздыхая:

— Да, Летурно — настоящий ученый, его следует знать. Между прочим, он явился причиной гибели дочери нашего Герцена: она покончила самоубийством, когда Летурно, ее возлюбленный, ее бросил...

Семин был человек не только самобытнейший и интересный, но и весьма даровитый.

С Летурно началось мое увлечение социологией и историей театра. Дело в том, что в «Эстетической эволюции» Летурно очень много фактов из истории театра, театр же с детства был моей слабостью — меня сизмалу водили в театр, я сам разыгрывал, один или с двоюродными сестрами, сочиненные мною пьесы и отдельные сценки. В Ставрополе в зимнем театре Меснянкина постоянно играла довольно приличная драматическая труппа, а в летнем театре Пасхалова каждый год выступала вполне приличная оперетта.

Вскоре я близко познакомился с разнесчастнейшим помощником классного наставника нашего класса; фамилии и имени-отчества его я уже не помню, ибо мы, гимназисты, звали его весьма непочтительно «Облезлым». Конечно, за глаза. Небольшого роста, чуть кривоватый, с какой-то пятнистой головой, на

которой волосы росли на случайных местах, то и дело чередуясь с красными проплешинами, Облезлый семенил на своих коротких ножках по коридорам и двору гимназии, с каким-то загнанным, испуганным видом делал нам замечания, и тут же сам конфузился и отбегал, опустив свою пятнистую голову. Да и времена уже были другие: революция опрокинула многие прежние устои и строгие гимназические требования. Жил он, видимо, впроголодь, одинокий, всем чужой в этом сонном степном городе, но, как выяснилось, последние деньги (а много ли получал помощник классного наставника) тратил на театр и книги о театре. Случайно узнав о моем увлечении историей театра, он начал давать мне редчайшие книги о русском театре из своей личной библиотеки. Рассказывал о московских театрах — Малом, Корша, о Садовском и Садовской, о Ермоловой, Комиссаржевской, Сумбатове. Не закончив ученья в Московском университете (и именно из-за страсти к театру), он отправился с какой-то странствующей захудалой труппой в скитания по глухим городкам южнорусских губерний. Играл, понятно, резонеров, благородных отцов, а чаще был на выходных ролях — на большее он не мог претендовать хотя бы из-за своей внешности, да и таланта, вероятно, не было. А когда заболел и состарился, с трудом получил место классного наставника (он не хотел сказать: «помощника»).

Тем временем жизнь города и страны сотрясали и карежили гражданская война, грабежи и террор красных, отместка белых, виселицы зеленых, тачанки с пулеметами и черными знаменами анархистов: «Смерть брюкам галифе и юбкам клёш!», обыски и аресты — вся та «романтическая» прелесть жизни, какую воспевали Пильняк и Бабель.

... Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые...

Как бы не так!

Летом 1918 года, почти в полночь, к нам кто-то постучался в окно. Сначала моя мать перепугалась: время было страшное: свирепствовала «героическая» ЧеКа. Выглянула на улицу в маленькое отверстие в ставне. Стучал переодетый в плохо

сидевшее на нем штатское платье двоюродный брат матери, кадровый офицер Петр Ртищев:

— Если можешь, если не боишься, пусти переночевать. До рассвета уйду. А прислуга спит? Никто не должен меня видеть.

Петр Ртищев и его брат Павел — офицер военного времени, глубоко штатский по своему складу, уже не одну неделю скрывались от ЧеКи. Они готовили офицерское восстание в городе. В Ставрополе находилось тогда несколько тысяч офицеров, но на призыв братьев Ртищевых не дать чекистам себя перерезать, как кур, откликнулось немногим более ста — ста двадцати человек. Восстание было подавлено, оставшиеся в живых офицеры спрятались на мельнице миллионера — хлебного экспортера. Как только они уснули, миллионер сообщил о них в ЧК. На следующее утро, как раз в день Петра и Павла, офицеров, выданных мельником, а заодно и еще многих офицеров, никакого участия в восстании не принимавших, захваченных просто так, как потенциальных классовых врагов, повели на расстрел. Казнь была — для острастки — публичная, в самом центре города, на площади перед собором. Офицеров вели босыми, в одном белье. Мать Ртищевых, Федосья Ильинична, почти без слез, в каком-то окаменении, бросилась к месту казни. Напрасно дочери, жены ее сыновей, мы с мамой, ее сестра — моя бабушка, удерживали ее. Все было бесполезно. Она только твердила каким-то неестественным, глухим, деревянным голосом: «Я пойду... Я не могу не идти... Я последний раз хотя бы погляжу на Петю и Павлушу». Отпустить ее одну было нельзя. Я и мой двоюродный брат пошли с нею, едва за ней поспевая.

Весь городской плебс, все хулиганы, все окраинные мальчишки сбежались на площадь перед Соборной горкой. В сторонке жались матери и жены расстреливаемых. Площадь гудела, слышались злобные выкрики озверелого хамья, задирали родных и близких расстреливаемых: и до вас, мол, очередь дойдет. Мальчишки, забравшиеся на крыши и верхушки деревьев, чтобы получше видеть, восторженно орали, свистали, матерились. Пьяные солдаты ЧК стреляли плохо. Павел был убит сразу, Петр Ртищев и еще несколько офицеров только ранены.

Окровавленный, страшный, Петр крикнул расстрельщикам:

— Мерзавцы, даже стрелять не умеете! г.... вы, а не солдаты!

Петра Ртищева и других подстреленных, но не убитых офицеров добивали штыками. Трупы увезли за город, на Холодный родник. Босячье, не разошедшееся сразу после расстрела офицеров, стало угрожающе надвигаться на близких и родных расстрелянных. Слышалось: «Вот этих буржуев еще не доби-ли». Мы тщетно пытались увести Федосью Ильиничну. Она села на землю на том месте, где стояли ее сыновья, сгребала руками пропитанную кровью землю и песок, бережно складывала в два носовых платка: «Вот Петина кровушка... вот Павлуши»

И только когда смерклось, дала увести себя домой.

...Виселица на окраине города. Повешен атаман шайки — не то зеленых, не то анархистов, знаменитый в те годы Шпак. Недавно глумившиеся над расстреливаемыми офицерами городские босяки, сплевывая подсолнухи, хохочут: «Гляди, шлеры (сапоги) с его сняли, а носки оставили. Не снять ли? Не рваные...» Другие грозятся: «Погодите, беляки, офицерье проклятое... Мы все вам припомним, мать вашу!»

А наши гимназические занятия? Какие уж там уроки! Город занимали то белые, то красные; мы копали иной раз окопы, многие подростки и юноши ушли — кто в белую, кто в красную армии. Идешь по улице, а в канаве лежит труп — раздетый до рваного белья офицер или красноармеец, или матрос, или «зеленый» партизан.

Когда в жизни народа и страны происходит столько событий, личные биографии затухают, стираются. Поэтому я буду писать не о себе, а о встречах на перепутьях жизни. Мои воспоминания об участниках трагедии и кровавого фарса русской истории поневоле носят отрывочный характер. Но, может стать-ся, и они помогут что-то понять. Ведь история — это не только деяния, преступления или подвиги исторических деятелей, так сказать, героев исторического спектакля. Это и характерные, второстепенные персонажи, и даже статисты — все участвуют в этой не-божественной комедии.

...Этот ставропольский дом из местного пористого песчаника с такими толстыми стенами, что на подоконниках мы, пят-

надцатилетние дылды, зачастую полеживали, читая или просто мечтая, помнил еще Пушкина и Лермонтова. Подвалы в доме, темные, с узкими щелями окон под потолком и глиняными полами, казались нам таинственными — прямо подземелья то ли Кашея, то ли готического замка с привидениями. В одном из подвалов была и кухня с русской печью и лежанкой на ней; под Рождество на этой кухне была ключом предпраздничная веселая жизнь: пеклась, жарилась, варилась рождественская снедь.

Мы любили кануны Святков больше самих Святков. Благодарный юг еще не вконец оголодал, а новые порядки не вытеснили старых традиций.

Когда разошлись из кухни родители, когда ушли последние колядующие, у неостывшей русской печи собрались мы: мои двоюродные сестры, помоложе меня, Леля и Наталка, наш двоюродный брат — одиннадцатилетний Андрей, и соседская девчонка, пятнадцатилетняя Настька, дочь почтальона из мужиков, заморыш с крысиными косичками, свернутыми у висков в бараныи рога. Как и положено под Рождество, рассказывали друг другу рождественские были и небыли, рассказывали о всем традиционно-рождественском, разумеется, и о кладах.

Так как я в те годы был увлечен этнографией, фольклором, то, конечно, подзадоривал Настьку, у которой был непочатый запас народных преданий, поверий, легенд. К тому же Настька была отчасти и цивилизованной — окончила двухклассную школу, любила читать про таинственное. Ее старая бабка слыла на городской окраине, на Мутнянке, доподлинной ведьмой.

Незадолго до этого я нашел в щели каменной стены сарая хорошие часы, видно спрятанные кем-то от очередного обыска. Так что рассказы о кладах были интересны вдвойне.

— Знаете, — шептала Настька, широко раскрыв выпуклые оловянные глаза, — надобно бы пошукать под вашей печью. Дом-то ваш старый-престарый. А не только сейчас, от обысков, но и в давнее время, когда замиряли Кавказ, много-много чего зарывали. И часто под печами. Вот моя бабка рассказывает: «Под печью, — говорит, — если хорошо прислушаться, то часто, особенно на Святках, услышишь, как из-под земли, враз после полуночи, кто-то стонет: «Душно мне, душно! Тесно мне, тесно!» А значит это, что зарывший клад так и помер, не успел детям

своим его передать... Тут надо сразу же взять рождественскую свечу из церкви, обойти с зажженной свечой вокруг кухни и около печи, и сказать: «Святой старче Агафон, ты пошли мне вещий сон!». Потом лечь и заснуть на печи. Во сне Агафон и укажет, где рыть клад. Не ране двух, ну, трех ночи — это под Рождество или Новый год... Тут ему, скупцу, особенно душно и горячо.

Скептически настроенная, смешливая кузина Лелька оборвала рассказчицу:

— Врешь ты все, Настька! Кто это может стонать под печкой? И какие там клады? Вот у нас тут два раза уже при обысках под печью копались, и под порогом землю разворотили.

— Ну и что? — пожала плечами Настька. — Рыть они могут, да слова такого не знают, и не дается им клад. Они роют, а клад от них все глубже и глубже уходит. Он ведь, клад, заговоренный. А чтоб его найти, надо вызвать и заковать сопатого старика. Он длиннющий, как жердь. И противный-препротивный. Заклянешь его, вытрешь ему нос, он и рассыпется весь золотой да серебряной дорожкой — прямо к тому месту, где рыть. А на том месте опять появится, да только одна его голова. Тут надо ему дать прямо в рот кутьи и узвару, он с кладом и поможет.

Лелька ухмылялась, я старался запомнить все от слова до слова, а Наталка, заинтересованная до предела, расспрашивала Настьку:

— А сколько надо дать сопатому кутьи и взвару?

— А немного совсем. Бабка сказывала — блюдец кутьи и полчашки узвару.

— Это можно, — деловито заключила Наталка. — Это можно совсем незаметно у бабушки взять.

Андрей, вообще соня, сладко спал, посапывая и открыв рот, но тут он очнулся:

— Вы все о кладах... У нас в школе говорили — враки это все...

— Честное комсомольское, это взаправду, — обиделась Настька. — У меня бабка все знает, даром что неграмотная, а к ней все ходят — и кровь, и зубы заговаривает.

— Так что ж она сама не находит кладов-то, раз все о них знает? — спросила Лелька.

— У нее другой талант. Она указать другим может, а клады ей не даются. Не тот талант...

— Так какая же она колдовка, когда сама не может клада взять?

— Тут, — объяснила Настька, — особая сноровка нужна. Ведь кто клады зарывал? Буржуи и помещики. У них и заклęcia свои, капиталистические. А бабка хоть и колдовка, но бедный пролетариат. У каждого класса, значит, свои заклęcia.

Кончался двадцатый год. В школах уже вдалбливали «Азбуку коммунизма» Бухарина и Преображенского. А к Настькиной бабке Иванихе ходили заговаривать зубную боль не только соседи по Мутнянке, но и секретарь райкома, и инспектор губпрофсовета Пересыпкин. Под Рождество по ставропольским улицам еще ходили со звездой, даже иногда и комсомольцы, и пели:

Мать Марся ризу мыла,
Ризу мыла, положила.
Прилетели ангеляти,
Положили на крыляти...

— Господи, помяни Царя Давыда и всю кротость его...

Куриной гузкой сжатый тонкогубый рот, морщинистое с кулачок личико, мышинные бегающие глазки и полуседые жидкие волосы, выпроставшиеся из-под черного с белым горошком платка. Входила она в комнаты мелкими шажками и всегда с какой-нибудь очередной обидой:

— Елена Ильинишна, — слезливо жаловалась она бабушке, — вчерась опять мой зятюшка мене уважил: «Ты, — говорит, — Пелагея Петровна, снова Агашин полушалок бахромчатый, что я ей на именины подарил, к себе, как крыса, в конуру утащила». А ведь он, змей, мне еще на Паску полушалок купить обещался. И не подарил. Так вправе же я, да еще у своей родной дочери, полушалок взять? Вежливо так, без всякого шума: ты, мол, зять мой любезный, позабыл, наверное, что мне полушалок обещался. Пойду-ка я к дьякону нашему на фатеру: пусть он зятюшку моего Сто Восьмым псалмом помянет...

И старуха дробно зачастила: «... Поставь над ним нече-

стивого, и дьявол да станет одесную его. Когда будет судиться, да выйдет виновным, и молитва его да будет во грех! Да будут дни его кратки, и достояние его возьмет другой. Дети его да будут сиротами, и жена его вдовою. Да скитаются дети его, и нищенствуют, и просят хлеба на развалинах своих... Да будет потомство его на погибель...». — Ох, ты, Господи, засиделась я у вас, Ильинишна. А дьякон в церкву уйдет, там он за Сто Восьмой вдвое берет, и то пока отец Федор не пришедши.

Чуть что, старуха обращалась к Сто Восьмому псалму и кляла им через дьякона, Петра Крестовоздвиженского, всех своих неприятелей. Врагов у нее было без числа; они появлялись у старушеницы и исчезали такой же непрерывной чередой, как и ее мелкие старушечьи обиды.

В Ставрополе была Степанчиха притчею во языцах. Усмехаясь, рассказывали:

— А вчера наша тетка Сто Восьмой псалом притащилась к дьякону Крестовоздвиженскому отчитать при ней же, чтоб без обману, Настасью Алексеевну Сто Восьмым. Обидела, видите ли, она ее — у ее курей хвосты повыщипывала, чтоб не лезли к ее, Настасьиному, ретивому петуху. А дьякон, отец Петр, тетке говорит: «Давай за рабу Божию Настасью не четвертак, а цельную полтину. Иначе клясть ее не стану, она, Настасья, мне ведь кума».

И вот пришла в Ставрополь революция. А тетка Сто Восьмой псалом все жила своими мелкими заботами и обидами:

— Сёдни пошла моя дурында, младшенькая (младшей дочери Степанчихи было уже под сорок), искать службишку в этот их большевицкий, как его там, ну, где браки и смерть, и рожденья реглистрируют, там какой-то товарищ Закс заправляет... Так я ей говорю: «Наташа, тебе не службишка надобна — ты женишков себе ищешь!» А чтоб ей о матери своей подумать? Я ж ее родила-воспитала, а ты, говорю, теперь от меня сбежать хочешь? Довольно уж того, что старшие ее повыскакивали замуж. И ты штаны мужицкие ищешь? А с кем же я останусь одна-одинешенька, а?. А она мне: «Заели вы мою жизнь, мамаша!» — Ужо придется мне пойти к отцу дьякону, пушай ее Сто Восьмым псалмом отчитает. Ну, не цельным, а наполовину: всеж-таки дочь она мне, кровная. О, Господи, помяни Царя Давыда и всю кротость его!

Юность, тем более — отрочество, нетерпимы, пожалуй, еще безжалостнее, чем старушина злоба. И мы, тринадцати- и одиннадцатилетние, всячески старались чем-нибудь напакостить тетке Сто Восьмой псалом. Домишко ее под замшелой камышовой крышей-нашлепкой буквально врос в землю. От нашего дома он был в двух шагах, и нас забавляло в сумерки лазать на ее крышу и дико там завывать. Подслеповатая Степанчиха выполняла на двор, на улицу, но нас уже и след простывал.

— Ильинишна, — жаловалась Степанчиха нашей бабушке, — вчера опять на меня кой-то из соседей чертей напустил. Сглазить меня хотят, думаю. Они, черти-то, опять так выли на крыше, ну сил моих не было. Должно, ведьма старая Костюченчиха мне гадит. Ужо пойду к дьякону. Пусть ее отчитает Сто Восьмым. Ох, Ильинишна, все косточки мои изныли. Как посоветуете: ромашку настоять и пить, или лучше липовый чай?

Начало было ничем не примечательным. В двадцатом году учащимися и средней, и высшей школы организовывалось множество самых различных кружков: музыкальных, хоровых, драматических, литературных. Из этих кружков выходили иной раз и неплохие поэты такие, как Иван Приблудный, и способные артисты, как скажем, Вл. Кабатченко и Николай Вальяно, будущие артисты Ленинградской академической драмы. Из подобного же кружка вышел и тогдашний ставропольский прото-дьякон, а затем баритон Большого театра Головин.

До сих пор помню, как он, только что прогудевший в соборе ектенью, мчался или в музыкальный кружок, или петь «Демона» в местном театре. Все эти ставропольские кружки очень напоминали такие же кружки во других городах тогдашней России. Ставрополь до страшной зимы 1921-1922 года был не таким голодным, как города средней России, и в него стеклось немало культурных сил из Петербурга, из Москвы и ряда других городов. В городе был основан сельскохозяйственный институт, местный учительский институт был преобразован в педагогический, среди профессуры появились известный зоопсихолог В. А. Вагнер, геолог С. С. Кузнецов, историк литературы, в будущем автор «Неугасимой лампы» Б. И. Ширяев и ряд других.

Но тот кружок, который организовался сначала как рядовой самообразовательный кружок, ставивший целью как-то попол-

нить наше убогое образование, сыграл совсем особую роль и в нашей жизни, жизни членов кружка, и в культурной жизни города. Организовали кружок учащиеся двух старших классов средних школ города, но уже вскоре в него влились и студенты сельскохозяйственного и педагогического институтов, а затем — и профессура, и местная интеллигенция — врачи и педагоги, юристы и инженеры. Кружок стал местным литературно-философским (главным образом, философским) обществом, хотя и сохранял, по традиции, свое первоначальное название «Ставропольский самообразовательный кружок учащихся». Кружок собирался не реже четырех раз в неделю круглый год, без всяких перерывов на лето, причем, три раза в неделю читались лекции — от полутора до двух часов каждая, а раз в неделю — доклады самих членов кружка и велись семинарские занятия. Такой характер кружок приобрел благодаря счастливой для нас случайности: главным его руководителем сделался даровитейший человек, глубокий оригинальный мыслитель, блестящий лектор и обаятельный человек — Сергей Александрович Цветков.

С. А. Цветков (род. в 1888 г.), сын ревельского протоиерея, окончил Петербургский университет у А. И. Введенского и Н. О. Лосского, в те годы еще приват-доцента, и был оставлен при университете для подготовки к профессорскому званию. Но он успел уже обзавестись семьей, и это заставило его отказаться (как ему казалось, только на время) от ученой карьеры и принять место преподавателя психологии и логики (и русской литературы) в старших классах ревельской гимназии, где он вскоре сделался инспектором. А затем война и революция забросили его на Ставрополье, сначала в гимназию глухого уездного центра, села Благодарного, а с 1920 года — в Ставрополь.

Мне пришлось в моей жизни встречаться и дружить с целым рядом замечательных людей. Очень близко знал я Сергея Алексеевича Алексеева-Аскольдова, хорошо знал и Б. П. Вышеславцева, встречался (и слушал) и с о. Павлом Флоренским, и с А. И. Введенским, и с Г. Г. Шпетом, и с о. Василием Зеньковским, — если говорить хотя бы только о философах, но никогда больше мне не посчастливилось встретить такого origi-

нальнейшего, глубокого мыслителя, такого при этом исключительно талантливого лектора, каким был С. А. Цветков.

Сергей Александрович ненавидел красноречие, и его речь, казалось бы строгая, не позволявшая себе никогда подмены логического доказательства эстетической метафорой, была вместе с тем так красива, так увлекательна, так замечательно вводила нас, слушателей, в самую суть проблемы, ничуть при этом ее не упрощая, не снижая, как это зачастую бывает у «популяризаторов», что все мы, какую бы специальность ни получили в последующие годы, считали нашим подлинным университетом именно этот наш кружок. Что касается меня, то я всем, что знаю, обязан исключительно кружку, и только ему. С. А. заражал своих слушателей не только истинами, открываемыми нам; он заражал нас устремлением к самостоятельному поиску истины.

Мы собирались голодные, в нетопленных помещениях, чаще всего без электричества (электричество гасло иногда часов в семь вечера, а собирались мы по вечерам), при свете коптилки — пузырька с репейным маслом и домодельным ватным фитилем. Одеты мы и наши девушки были в мешковину или, в лучшем случае, в рубахи и штаны, платья и жакеты из дверных гардин. На наших ногах были грохочущие «танки» — деревянные подошвы, прикрепленные к ступне тесемками. Но тогда как-то не думалось об этом. Все это отходило куда-то далеко, когда мы слушали Сергея Александровича. А записывать его лекции мы не могли: он так увлекал нас, мы так вслушивались в его речь, что записывание просто не могло состояться. Жена Сергея Александровича горько укоряла нас за это: сам ведь он не имел тогда ни времени, ни сил — не мог писать книг, а записи помогли бы ему в дальнейшем. Впрочем, едва ли: время было такое, что лишь полнейшая безграмотность ставропольских партийных руководителей помогла кружку просуществовать с 9 декабря 1920 года и до весны 1924 года, когда местное ГПУ схватило за ум и начало тягать организаторов кружка на допросы. Кружку пришлось самораспуститься, а ряду его основных членов срочным образом бежать из города.

С. А. Цветков был близок больше всего к неолейбницанцам, к Лотце (особенно к его «Большой метафизике»), к

Бергсону. Выше всего из русских мыслителей он ценил С. Л. Франка и — в части философской антропологии — Несмелова. Конечно, был почитателем и Федорова.

Был С. А. обаятельным человеком, необычайно отзывчивым, бескорыстнейшим и на редкость терпимым. Чрезвычайно религиозный, он никак не навязывал никому своих религиозных воззрений. Главным образом интересовавшийся вопросами онтологии (он сам говаривал мне, что жалеет о времени, какое он посвятил глубокому изучению теории познания, а не сразу же сосредоточился на проблемах онтологии), но, вместе с тем, хорошо зная, как необходима подготовка к этим вопросам, главное внимание в занятиях с нами уделял психологии, логике, теории познания.

Был он человеком и обаятельным внешне. Красивый, стройный, худощавый, он напоминал обликом своим иконописное изображение отца церкви древнерусского или византийского письма.

Чтобы наш кружок мог существовать на полуправильном основании, мы даже устраивали в нем курсы лекций по политической экономии и основам марксизма, поручая их чтение то начальнику политотдела армии, то доценту истмата сельскохозяйственного института. Как я уже сказал, местные партийные воротилы были классически невежественны, что и позволило нам так долго существовать. Даже самые фамилии некоторых из руководителей партии и правительства губернского масштаба были примечательны: народным образованием в Ставрополе долго руководил Гасилин, финансами — Разоренов, профсоюзами — Головенченко, Пересыпкин, а партийным главою был одно время некий Храпченко (не будущий ли академик?).

С. А. читал и систематические курсы, и циклы лекций, и отдельные лекции. Курсы иногда длились долго — например, истории древней и истории новой философии (от Николая Кузанского и до Гегеля включительно) посвящалось 40-45 лекций; истории средневековой философии, психологии, логике — от 20 до 25 лекций. Читались и циклы лекций, посвященные русским мыслителям, Анри Бергсону, Фрейдю и основным вопросам современной психологии. Наконец, и философским воззрениям самого С. А. Цветкова. Читал С. А. и отдельные

лекции о Достоевском, Шпенглере, Гуссерле. Так, увы, и не состоялся уже подготовленный им для нас курс по философии от Гегеля до наших дней. Кружок пришлось закрыться.

Другим руководителем кружка был Ф. Я. Семин, о котором я уже немного рассказывал. Он читал циклы лекций, посвященные биосоциологии искусства и собственно социологии. Отдельные лекции читали: по зоопсихологии — Вл. А. Вагнер, по неопозитивизму — местный биолог, не вспомню его фамилию, по вопросам антропософии две-три лекции прочитал бывший профессор Варшавского университета, офтальмолог Ник. Саф. Павлов. Прочитан был Ф. Я. Семиным и цикл лекций о теории права и государства; при этом наибольшее внимание было отдано взглядам Л. И. Петражицкого.

По иронии судьбы, когда материально жизнь наша несколько облегчилась, когда голод и холод эпохи военного коммунизма были уже позади, кружок пришлось распустить. Но мы еще долго, приезжая на каникулы в Ставрополь, не прерывали связи с нашим учителем.

Организатором и председателем кружка (с самого его начала и до закрытия) был я. Уже учась в Питере, я смог в 1925 году опять организовать философский кружок. Руководить нашими занятиями согласился Сергей Алексеевич Алексеев-Аскольдов. Он был давно лишен права читать лекции по философии в университете, преподавал технологическое товароведение в Политехническом институте и взялся руководить нашим поневоле очень маленьким и строго законспирированным кружком: время было свирепое — не только преследовали «идеалистов», но уже готовился разгром такого ортодоксального общества, как «Ленинградское научное общество марксистов». Характер этого кружка, просуществовавшего, увы, очень недолго (были основания бояться ареста и С. А. Аскольдова, и всех членов кружка), определился уже с первых слов его руководителя:

«Я, друзья мои, хотел бы заняться с вами, по преимуществу, метафизикой и философией религии. Прошло то время, когда построялись целые гносеологические небоскребы. Постарел я, состарился и мир. В одной хорошей книге дух говорит схимнику: «Некогда строить монастыри»... Да, некогда сейчас строить системы типа Канта или даже Гуссерля. Пришло время гово-

рить прямо, с кем ты — с Ним или с ними? И я последние годы занимаюсь почти исключительно вопросами онтологии и религии. Все мои молодые увлечения вопросами «Мысли и действительности» отошли далеко-далеко...».

Гораздо более длительное время — почти год! — просуществовал другой ленинградский кружок, организованный в 1926 году. Но он уже не имел руководителя: мы сами читали доклады. В феврале 1927 года все мы были арестованы ленинградским ГПУ.

В двадцатых годах существовали в Ленинграде и кружок «Воскресение», возглавляемый А. А. Мейером (в числе его членов был и Георгий Петрович Федотов), и кружок имени св. Серафима Саровского (одним из организаторов которого был недавно умерший в Нью-Йорке Иван Михайлович Андреевский). Но о существовании этих кружков я узнал лишь тогда, когда они были закрыты, а большая часть их членов посажена в лагерь.

Когда вспоминают годы гимназической юности, обычно вспоминают не школу, а свою юность, и эта юность окрашивает в золотисто-розовые тона чаще всего весьма неприглядную действительность как старой дореволюционной, так, особенно, советской средней школы. Думаю, что и вообще-то перво-родный грех средней школы последних полутора веков — это ее расчет на некую, хотя бы относительную, массовость, а тем самым — на средний уровень учащихся.

А отсюда как-то получился и весьма средний уровень педагогов, неких чиновников от просвещения, человеков в футляре, сологубовских Передоновых, отбывающих с грехом пополам действительно тяжкую учительскую повинность. За все годы моей средней школы я с любовью и глубокой благодарностью вспоминаю лишь нескольких талантливых и любящих свое дело учителей.

Но одну среднюю школу, впрочем, и просуществовавшую всего восемь месяцев, я никогда не забуду.

Поздним летом 1921 года у трех учеников предпоследнего класса школы второй ступени, как называлась тогда средняя школа, и у нескольких профессоров и педагогов Ставрополя

возникла мысль провести опыт: создать школу по образцу средневековых школ, где весьма немногие и отобранные по способностям и любви к знаниям ученики занимались бы под индивидуальным, примененным к каждому ученику, его знаниям, склонностям и дарованиям руководством «мастеров»-преподавателей. В те годы, еще не так зажатые в тиски бюрократического формализма, особенно в провинции, вдалеке от центра, было легко уговорить местные органы просвещения, играя на том, что производится-де опыт, что подобная школа революционизирует старую буржуазно-помещичью школу, — и добиться утверждения проекта, особенно если назвать такую школу «Опытно-ударной советской средней школой при Гос. Педагогическом Институте». Уговорить вождя местного просвещения с мрачной фамилией Гасилов талантливому зоопсихологу, профессору и ректору местного Педагогического института, сбежавшему из Москвы от голода на до того более сытый юг, Владимиру Александровичу Вагнеру, было вовсе нетрудно. Помог и большой умник, и весьма образованный и порядочный человек — начальник Губполитпросвета Петров, из офицеров военного времени, бывший питерский студент-юрист. Школа была открыта.

Все учащиеся «Опытно-ударной советской школы» были отобраны, с большим и тщательным их испытанием из состава полуподпольного литературно-философского кружка. Кстати, на некоторые лекции нашей «опытно-ударной школы» приходили не только мы, но и учителя, врачи и даже профессора Ставрополя.

Всего учащихся в двух классах школы было семь, в классе выпускном и восемь или девять в предпоследнем. А руководителей-лекторов, включая и директора школы, проф. В. А. Вагнера, читавшего курсы зоопсихологии и физиологии, было не менее двадцати. И каких только курсов и семинаров не читалось! При этом даже курсы политической экономии (начальник Политпросвета Петров), исторического материализма (не помню сейчас — кто), читались хотя и с чисто марксистских позиций, но еще все-таки на известном пристойном уровне. Ну, а неолейбнищанин С. А. Цветков, кантианец Ф. Я. Семин и позитивист В. А. Вагнер отнюдь не скрывали своих взглядов и

своего отношения к материализму и марксизму. Читались лекции и велись семинары: история древней философии (и семинар по «Федону» и «Пиру» Платона) — С. А. Цветков; он же — история средневековой философии; он же — история новой философии (и семинар по Декарту, «Этике» Спинозы, по Лейбницу и «Критике чистого разума» Канта); он же — история русской философии (и семинар по Вл. Соловьеву и М. Каринскому); он же — семинар по «Классификации выводов» М. Каринского; он же — курс психоанализа и новых течений в психологии; биосоциологический метод в искусствоведении — Ф. Я. Семин; индийская религиозная философия — Н. С. Павлов; русская литература от Достоевского до Чехова — В. А. Кудрявцев; исторические курсы вел, помнится, Базилевич, математические (высшая математика) проф. Автономов, геологию и петрографию — проф. Кузнецов, и т.д.

Выбор курсов и семинаров был совершенно свободным, и выбранной группой разделены на физико-математическую группу (четыре ученика) и литературно-философскую. Но лекции Цветкова слушали все, включая и предпоследний класс.

Увы, школа просуществовала лишь до весны 1922 года. Власти быстро опомнились и прикрыли школу, так что предпоследнему классу пришлось вернуться в обычного типа среднюю школу. Ну, а некоторых преподавателей и учащихся вызывали на допросы в ГПУ...

Остановился он в Ставрополе случайно, проездом в Закавказье. Остановился потому, что где-то под Тихорецкой, в поезде, натолкнувшись на сельди в бочке, мешочниками и безнадёжно мечущимися по всей Руси голодающими, его обворовали до нитки. У него остались случайно затерявшиеся в кармане несколько пачек сахара. А так как в том же поезде-дикобразе, где даже крыши и буфера были облеплены народом, он услышал, что сахарин можно продать с наибольшей выгодой в Ставрополе, он решил остановиться на недельку-другую в нашем неведомом ему дотопе городке.

Он не был спекулянтом. Поэт и незаурядный мыслитель, он хотел только как-то жить, чтобы читать древних и современников, писать ученые стихи и поэтические философские статьи и книги.

Толкучка на городском базаре в начале 1922 года являла собою целую галерею осколков разбитого вдребезги. Вдова министра с обвисшими складками когда-то тучного тела, кое-как замотанного в старый облезший салоп без подкладки, силным басом расхваливала свой товар — поштучно продававшиеся песочные печенья; они издавали острый запах несвежего бараньего жира. Прихрамывал недобитый судейский генерал, тщетно умолявший приезжих мужиков и местных нэпманов купить у него за фунт муки мраморную стутуетку Гебы и старую керосиновую лампу с бронзовой египетской рабыней у малахитовой колонки. Нэпманы с свиными глазками щелкали маленькую Гебу по нагим мраморным грудям, хохотали, матершинничали, но покупать не покупали.

В этом-то кавардаке появился и он с лвиной гривой седых волос, падавших на бархатный воротник когда-то дорогого драпового английского пальто, в непривычной миланской шляпе и с золотым пенсне на тонком горбатом носу. Не знаю, хорошо ли пошла его торговля или нет. Изредка он совершенно забывал о ней, о покупателях, обо всем на свете и, вынув из кармана маленький томик Феокрита или Тибулла, тут же, на морозе, погружал в изящную книжечку свой характерный, оседланный пенсне нос. А когда встречал на базаре Сергея Александровича Цветкова, пускался с ним в бесконечные разговоры о предопределении и свободе выбора и о религиозном смысле революционных потрясений. Тут же на базаре они и познакомились, и Сергей Александрович пригласил старого поэта в наш кружок — прочитать, по его собственному выбору, какой-нибудь доклад. Поэт-мыслитель, обрадованный возможностью оторваться от суеты толкучего рынка, выбрал тему — «Балет как высшая форма искусства».

Мы сидели в нетопленном зале, тускло освещенном коптилкой-пузырьком из-под одеколона, наполненным репейным маслом и с домодельным ватным фитилем. Мы были голодны. Поэт красивым, выделанным языком вещал нам о том, что искусство тем выше, чем больше преодолена в нем внешность, чем более оно окрыленно, чем меньше в нем рассудочности, даже утонченной — вещности.

— И дух человеческий во все времена представлялся окры-

ленным. И люди всегда любили искусство, приближающее человека к бестелесности, к преодолению злой силы тяжести, косности, материальности, вещной скованности — прекрасное искусство танца.

Блистательна, полувоздушна,
Смычку волшебному послушна,
Толпою нимф окружена
Стоит Истомина, она
Одной ногой касаясь пола,
Другую медленно кружит,
И вдруг прыжок, и вдруг летит,
Летит, как пух от уст Эола;
То стан совет, то разовьет.
И быстрой ножкой ножку бьет.

— Искусство танца всегда было священным, может статься, даже более музыки приближающим человека к совершенной Красоте и Всецелой Полноте — к Богу. Вспомните крики «эвоз» и вакханалии, сатурналии, пляски жриц Астарты и Беллоны у древних. Какими-то концентрическими кругами, в вихревом танце, мы суживаем область тайны, сжимаем Непостижимое. Прыжок — и мы у Престола. «Давид скакал изо всей силы пред Господом... Когда же входил Ковчег Господень в град Давидов, Мелхола, дочь Саула, смотрела в окно и, увидев царя Давида, скачущего и пляшущего пред Господом, унижила его в сердце своем», — за что, прибавлю от себя, и осуждена Библией.

Отказаться от бренной суеты и ярма телесности, вечно-сти — в этом смысл балета: просветить, преобразить тело, сделать его почти духовным, почти бестелесным, убить косность его.

Может быть, и смысл переживаемых нами революционных потрясений и испытаний отчасти в том же: мы слишком привязаны к телу нашему, к внешней культуре, к вещам. Нужна была грандиозная встряска, чтобы мы, многократно терявшие в эти годы все, привыкшие терять, перестали так ценить тело, культуру, вещи: освободились от рабства телесного, от рабства вещей...

И тут что-то случилось: закончив эту тираду величественным жестом правой руки, лектор как-то скривился и начал спокойно шарить близорукими глазами по полу.

— Что с вами? — подошел к поэту Сергей Александрович.

— Запонка. Хорошая запонка польского золота. Она, должно быть, соскочила в последнюю минуту. Не поможете ли, молодые люди, поискать ее? Или нет, я сам... Сергей Александрович, посветите, пожалуйста.

И поэт на коленях пополз вокруг кафедры, пока не нашел, наконец, запонку. Сергей Александрович светил ему, и блики жидкого света перебегали по заплеванному полу.

Б. Филиппов

ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН Е. А. НАГРОДСКОЙ «РЕКА ВРЕМЕН»

Литературная судьба Евдокии Аполлоновны Нагродской (1866-1930) сложилась так, что ее имя теперь почти совсем забыто. Оно упоминается лишь в некоторых обзорах и воспоминаниях литературы начала XX века, но неизменно с отрицательным знаком. Так, например, Глеб Струве в своей книге «Русская литература в изгнании», говоря о литературе 20-х годов, упоминает Нагродскую только вскользь: «Дамская — более или менее бульварная — литература была обильно представлена романами Е. А. Нагродской, Н. А. Лаппо-Данилевской и В. И. Крыжановской-Рочестер. Вся эта более низкосортная литература выходила почему-то главным образом в Риге. Возможно, что на нее был тайный спрос и в Советском Союзе».

Георгий Иванов в своих воспоминаниях критически относится к влиянию Нагродской на Михаила Кузмина, бывшего с нею в дружеских отношениях, и называет ее «салонной писательницей». Александр Бахрах, упоминая о ней, также в связи с Кузминым, называет ее «бульварной литераторшей». Успех первого романа Нагродской «Гнев Диониса», разошедшегося «по всей России в большем количестве экземпляров, чем все остальные романы того времени», он приписывает его «неприхотливой смелости», поражавшей «тогдашних провинциальных «передовых» читателей».

Между тем при более тщательном и непредвзятом подходе к ее творчеству, Нагродскую никак нельзя отнести к представителям «дешевой» литературы, бьющей на сенсацию. Широкая

образованность, литературный вкус и умение писать, до сих пор неоцененные по заслугам, резко отделяют Нагродскую от тех писательниц, к которым ее почему-то причисляют. Струве также не вполне прав, приписывая Нагродской популярность в 20-е годы. Двадцатые годы были лишь завершением, концом ее литературной деятельности. Нагродская была известна до революции, во втором десятилетии нашего века, когда она была одной из наиболее широко известных русских писательниц. Ее на шумевший (но отнюдь не лучший) роман «Гнев Диониса» был переиздан десять раз между 1910 и 1916 годами. Другие ее дореволюционные романы — «Бронзовая дверь» (1911), «Борьба микробов» (1913), «Белая колоннада» (1914), «Злые духи» (1915), как и сборники рассказов «Аня» (2 изд., 1911 г.), «День и ночь» (1913) и «Сны» (1916 г.) многократно переиздавались и пользовались огромным успехом.

Попав в эмиграцию после революции 1917 года, Нагродская лишилась прежнего широкого круга читателей. Но она тем не менее продолжала писать и издавать свои книги. За границей вышли романы «Правда о семье моей жены» (1922 г.), «Записки Романа Васильева» (1922 г.), «Тайна сонетов» (1927 г.). Одно из ее лучших произведений, исторический роман-трилогия «Река времен» (1924-26 гг.) вышел в количестве только 3 000 экземпляров и стал теперь библиографической редкостью.

Говорить о творческом облике Нагродской в рамках небольшой статьи можно лишь в самых общих чертах. Уроженка и долголетняя жительница Петербурга, она была связана с его литературным и художественным миром с самого детства. Дед ее по матери, Яков Григорьевич Григорьев (Брянский, 1791-1853 гг.), как и бабушка, Анна Матвеевна Степанова (1798-1878 гг.) были актерами Александринского театра. Как известно, Брянский и известный трагик В. И. Каратыгин некоторое время выступали в одних и тех же ролях. Мать Нагродской, Авдотья Яковлевна Панаева, была известна как хозяйка одного из самых блестящих литературных салонов Петербурга, эмансипированная женщина, долголетняя любовница Некрасова. Отец, Аполлон Филиппович Головачев, был «передовым» журналистом, секретарем журнала «Современник», близким другом поэта В. А. Слепцова, с которым он участвовал в создании в

Петербурге одной из многих «коммун» 60-х годов. Есть указания на то, что сама Нагродская была связана с Малым Театром в Петербурге в конце 80-х годов. Поэтому неудивительно, что художественный мир, мир певцов, музыкантов и художников играет в произведениях Нагродской важную роль. В то же время «прогрессивные» идеологические увлечения матери и отца (последний умер в 1877 г., когда Нагродской было 11 лет) не нашли отклика в творчестве Нагродской, за исключением одной темы — «женского вопроса». Но этот «вопрос» не доводится у нее до истерической интенсивности большинства поборников женской эмансипации 60-х годов (включая и саму Панаеву), которая вызвала жестокую пародию Достоевского в «Преступлении и Наказании» (ч. 5, гл. 1, разговор Лебезятникова с Лужиным).

В целом Нагродская почти аполитична, лишь с легким налетом либеральных воззрений, свойственных русской интеллигенции начала XX века. Во время Первой мировой войны у нее появляются патриотические ноты (см. конец романа «Злые духи»). В эмиграции Нагродская заметно правее, печатаясь в берлинском издательстве «Медный Всадник». Вот платформа издательства, как она дана в его рекламном листке: «Общая цель, которую ставит себе издательство «Медный Всадник», есть объединение русских писателей национального настроения, принявших достижения мировой культуры, но рядом с этим не угасивших в себе пламень русского духа и верящих в его неистребимость и преемственное торжество в веках. Отрицая и осуждая кровавый коммунистический режим, поработивший нашу родину, «Медный Всадник» служит русскому делу, стремясь живым художественным словом укрепить в душах бодрый национальный дух и веру в конечную победу *русской* России». Если сменовеховское настроение увлекло в начале 20-х годов более либерально настроенную часть эмиграции, то «Медный Всадник» отражал лишь более последовательную позицию эмиграции в целом.

Александр Бахрах удивлялся, почему Нагродская «усиленно скрывала, что была дочерью Панаевой», и видел в этом «что-то не совсем понятное» (его письмо ко мне от 22.XI.1983 г.). Но это отнюдь не так странно, если принять во внимание идеологические расхождения Нагродской с матерью, не говоря уже об

отношениях личных. «Обличительный» характер и тематическая узость беллетристических произведений Панаевой, крайняя неточность, соединяемая со «сведением счетов» в ее воспоминаниях, вряд ли могли найти одобрение у более объективно настроенной Нагродской. Что касается *ménage à trois* Панаева, Панаевой и Некрасова, длившейся около 15 лет, то даже симпатизировавший Панаевой Корней Чуковский ощущает некую жалость к Панаеву: «Ему выпала трудная роль: жить при собственной жене холостяком». И дальше: «Еще так недавно Некрасов занимал в его (Панаева) квартире одну комнату, а теперь он сам (Панаев) занимает одну комнату в квартире Некрасова, и его карета стала каретой Некрасова, и его жена стала женой Некрасова, и его журнал стал журналом Некрасова».*

Еще более неприглядна в моральном отношении роль, сыгранная Панаевой в «Огаревском деле». Марья Львовна Огарева поручила Панаевой ведение иска против мужа. Процесс был выигран, но деньги (и большие деньги) пропали; Марья Львовна умерла в нищете. Что касается интеллектуального уровня Панаевой, то он не был особенно высок. Хотя она писала повести и романы (совместно с Некрасовым), она была, в общем, малообразованной женщиной. Тот же Чуковский признает, что она была «несомненно . . . самой безграмотной из русских писательниц». Некоторые сохранившиеся ее письма можно назвать полуграмотными. Неудивительно, что Нагродская не желала быть известной, как дочь «той» Панаевой.

В отличие от матери, Нагродская была широко образованна, хорошо знала русскую и европейскую литературу, ценила искусство и музыку, интересовалась философией. Как в Петербурге, так и позже, в эмиграции, у нее был «салон», где встречались литераторы, поэты, художники и артисты. О разнообразии ее поэтического вкуса свидетельствует длинное стихотворение «Шкаф грез», своего рода каталог, из которого приводится лишь часть:

... С Никитиным Шекспир стоит на полке рядом,
Дант, Брюсов, Лермонтов, Апухтин и Верлэн.

* К. Чуковский. *Жена поэта*. Пб., «Эпоха», 1922 г., стр. 15, 19-20.

Владимир Соловьев меж книжек Ламартина.
Вот Пушкин — где моя святыня каждый лист.
Жуковский и Кузмин, и Гейне, и Щербина,
Причудливый Рэмбо — ребенок анархист ...

Будучи современницей старших символистов, Нагродская восприняла и некоторые аспекты их мироощущения — чувство разочарования, предчувствие грядущей, неизбежной катастрофы, разлад между разумом и эмоциями, уход от реальности в фантазию, сны, магию. Роман «Бронзовая дверь», задуманный как первая часть трилогии (так и ненаписанной) под общим знаменательным заглавием «Усталый мир», начинается эпиграфом из Федора Сологуба:

Обманули мечты, обманули труды,
А уму не поверю я сам ...

Двое из трех героев романа терпят поражение в жизни, не допускающей осуществления мечты: один кончает самоубийством, другой — сумасшествием, и только третий спасается — с трудом — полным уходом в искусство, в музыку.

Недоверие к разуму, вера в мистические прозрения — один из главных лейтмотивов романа «Белая колоннада», который Нагродская впоследствии называла своим «кредо». Видение красоты — белой колоннады, реально не существующей в Петербурге, — приводит героиню к пересмотру своих духовных ценностей, к душевному обновлению. В романе ощущается мистическая стихия, проявившаяся у младших символистов, Блока, Белого, у Кузмина.

Во многих рассказах Нагродской фантазии отдается предпочтение перед реальностью, которая бывает и уродлива и мучительна. В рассказе «Сны» (сборник с тем же заглавием посвящен Кузмину) провинциальная купеческая вдова находит отдушину в вымысленных снах, рассказами о которых она обменивается со своим племянником Ваней. Окружающая их грубая среда не понимает и осуждает их отношения. Ваня принимает большую дозу опиума и умирает. В рассказе «Волшебный сад» «идеальная» любовь молоденькой девушки к недостижимому, прекрасно-

му молодому аристократу, умирающему от чахотки, противопоставляется «реальной» любви к ней здорового, уравновешенного управляющего именем Петра Ромуальдовича, за которого героиня, в конце концов, решает выйти замуж. Волшебный сад и волшебный принц погибают, не выдержав грубой действительности.

Магические чары, которыми обладает и злоупотребляет герой романа «Злые духи», парализует волю и разрушает жизнь близких ему людей. Близость такой тематики к прозе Сологуба и Брюсова очевидна, как и интерес к проблематике Достоевского, которая привлекала к себе внимание и символистов. У Нагордской есть и «инфернальные» женщины («Кошмар»), и воплотившийся черт («Он»), и даже пародия на душевную драму Сони Мармеладовой («Аня»). Но несмотря на свою близость к символистским идеям, Нагордская не поддается безысходному пессимизму. Для нее выход — христианская вера в любовь и добро, масонская вера в духовное самоусовершенствование человека, помогающая преодолеть все трудности и мучения. Известно, что Нагордская и ее муж, Владимир Нагордский, были активными членами масонских лож во Франции. Была ли Нагордская масонкой еще в России — неизвестно.

Любовь — одна из вечных тем литературы вообще, важная тема в творчестве символистов с их идеей «освобождения» плоти и свободы сексуальных отношений. Это — едва ли не «ключевая» тема у Нагордской. Начиная с «Гнева Диониса» и кончая «Рекой времен», любовь, будь то романтическая влюбленность, материнская или супружеская любовь, или «зов пола» является одним из главных движущих моментов романов Нагордской. В нашумевшем романе «Гнев Диониса» критики осудили и «начало лжи», и половые извращения, но проглядели интересный «моральный» факт: героиня жертвует своей художественной карьерой, своей совестью и покоем во имя любви к единственному ребенку. В предисловии к своему сборнику рассказов и драматических сцен «Ночи и дни» (1913 г.) Валерий Брюсов писал: «Кроме времени и места действия (наши дни, современное русское общество) эти повествования объединены еще и общей задачей: всмотреться в особенности психологии женской души».

Это замечание Брюсова можно с легкостью отнести и к большинству рассказов и романов Нагродской.

Популярность Нагродской в дореволюционной России была вызвана не только особенностями ее мироощущения и любовной тематикой. В большой мере этому способствовали стиль и язык ее рассказов и романов. М. Кузмин в своей рецензии на «Гнев Диониса» указывал на ощутимую «манеру французского романа»; В. П. Кранихфельд отметил «тонкое, почти нерусское искусство... рисунка». И действительно, проза Нагродской, сжатая, элегантная, и в тоже время насыщенная, напоминает классическую французскую прозу XIX в. У Нагродской много диалогов, много драматизма, мало отступлений, описаний. Если описание есть, то оно необходимо. И еще один важный фактор: проза Нагродской всегда занимательна, ее развязки неожиданны, но они не идут вразрез с реальностью.

Нагродская не писала в России исторических романов. «Река времен» — единственный образец такого жанра в ее творчестве. Вообще исторический роман представлен в эмиграции относительно редко, за исключением замечательных романов М. А. Алданова, опубликовавшего первый из них, «Святая Елена, маленький остров», в 1923 г. Как и Алданов, Нагродская исходит из традиции исторического романа XIX в. и, главным образом, «Войны и мира» Толстого. «Река времен» — семейный роман с большим количеством действующих лиц как вымышленных, так и исторических, судьбы которых переплетаются на фоне определенных исторических событий. Нагродская пользуется также толстовским методом физических «лейтмотивов» в описании некоторых персонажей: «тонкие брови» графа Забужского, «опущенные веки» графини Александры Ильинишны, и т.д. характеризуют не только внешний, но и внутренний облик. Роман имеет определенную философскую подоплеку. Если Толстой верит в законы истории, а Алданов в «его величество случай», то Нагродская видит историю, скорее, в свете моральной борьбы добра и зла, в которой только любовь, как высшее духовное начало, может спасти человека и, может быть, человечество. В этом романе масонские убеждения Нагродской выступают особенно ярко.

Исторический фон романа — период между 1762 и 1825 года-

ми, изобилующий происшествиями исключительной важности как во внутренних, так и во внешних делах России: убийство Петра Третьего, восшествие на престол Екатерины Второй, царствование Павла Первого, его убийство, воцарение Александра Первого, наполеоновская война, Петербургское наводнение 1824 года, смерть Александра Первого, восстание декабристов, коронация Николая Первого. Но история — только фон, на котором разыгрываются судьбы персонажей романа. Конечно, некоторые выведенные в «Реке времен» исторические личности более важны, чем другие, как, например, Екатерина Вторая, которая временно связана близкими узами с одним из главных персонажей. Екатерина пользуется явным расположением писательницы за ее ум, образованность и благотворную для России деятельность, что искупает ее человеческие слабости. Как говорит Марианна Забужская, одна из героинь романа: «Она никого не обманывает. Мужа у нее нет». Нагродская рассматривает Екатерину как продолжательницу дела Петра Великого, создательницу «новой России». Масон Ялышев в разговоре со своей дочерью, выросшей за границей, сравнивает Россию времен Екатерины с малым ребенком, который только «на ножки становится». При наличии в России «мира и умных правителей» лет через двести страна будет «краше других государств». Но он допускает и противное: «А ежели этого ей Бог не даст, то, конечно, дитя может и упасть, и до смерти зашибиться».

Вопреки мнению большинства историков, Нагродская оценивает Павла Первого вполне положительно. Его намерение уравнивать сословия, его предполагаемый союз с Наполеоном против Англии, этой «страны торгашей», рассматриваются автором как попытка дальнейшего укрепления страны. Цитируются слова, якобы произнесенные Павлом: «Мне нужна любовь всего народа, а не одного сословия, которое будирует и ставит мне палки в колеса». Масонские симпатии Павла, наверное, играют немалую роль в этой позитивной обрисовке. Убийство Павла представлено в романе как прямой результат заговора, руководимого Англией. В разговоре с русским предателем, принесшим копию личного послания Наполеона Павлу, неназванный представитель Англии требует немедленных действий. Союз Павла и

Наполеона, по его мнению, грозит разделением мира на две части, в результате чего Англия превратится в провинцию Франции. «Если он (Павел) останется царствовать, Россия будет владеть полмиром, это будет второй Рим, владеющий не силой оружия, а счастьем своих подданных. Богатство, плодородие... Золотой век! Вы понимаете, что этого нельзя допустить!» — говорит английский дипломат.

Наследник Павла, Александр, не представляет собой опасности для Англии. «Ему хочется играть роль, и такую, чтобы она была красива и эффектна, быть тем, чем была его бабка, окружать себя роскошью и поклонением. Он любит говорить звучные слова, он хочет попасть в историю с ореолом Цезаря», — отзывается о царе все тот же английский дипломат. Нагродская с иронией комментирует восторг высших классов русского общества по поводу смерти (вернее, убийства) Павла: «Этот восторг был отпразднован тем, что через полчаса после этого известия все надели запрещенные круглые шляпы. Воцарился пленительный, мягкий, изящный император, рыцарски готовый сделать все для восстановления трона французских королей и для изгнания узурпатора. Торговля Англии была спасена».

«Bête noir» Нагродской — Англия и английская политика, а не презираемый Толстым Наполеон. Хотя Наполеон не появляется на страницах романа, мнение о нем графа Забужского, одного из главных героев, безусловно отражает авторское: «Бонапарт хотя и авантюрист, но уже и теперь видно, что он человек гениальный. Извлечь Францию из того хаоса и анархии, в коих она находилась, мог только, действительно, человек вроде Цезаря». Александр I приобретает симпатии автора лишь к концу своего правления. После разговора с другом детства (масоном!) Александр, окончательно поняв ложность своей жизни, решает уйти от власти, и становится «старцем Федором Кузьмичем».

Несмотря на хронологическую выдержанность повествования в целом, первая часть трилогии неожиданно заканчивается эпилогом, датированным 1912 годом. Этот эпилог как бы подчеркивает заглавие трилогии, заимствованное из стихотворения Державина «Река времен». Рассматривая историческую карту

«Река времен», эмблематическое изображение всемирной истории, Державин решил написать стихотворение «на тленность», но успел закончить только первый куплет. Первая часть трилогии начинается четырьмя державинскими строками:

Река времен в своем стремленьи
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.

В эпилоге романа последняя представительница рода графов Забужских, Варвара Алексеевна, стоя в картинной галерее роскошного дома на Фонтанке, думает о древности своего рода, о сохранении фамильных портретов, генеалогических таблиц, книг: «Со стен длинный ряд ее предков глядел на нее, на эту последнюю хрупкую ветку умирающего дерева... Где-то вдали уже шумел новый страшный вал реки времен, готовый смыть даже самую память о роде Забужских». Для Нагордской, только что пережившей крушение русской монархии и империи, строки Державина должны были иметь особенно глубокий смысл.

Роман Нагордской — не roman à thèse, это, главным образом, семейный роман, в котором на историческом отрезке времени в шестьдесят с лишним лет обрисовываются судьбы нескольких поколений русских аристократических и дворянских семей: графов Забужских, князей Курчагиных, Сухановых, Брашиных. Детские радости и огорчения (детям в романе отведено большое место), вечеринки, балы, сватовства, браки, как счастливые так и неудачные. Если же говорить о философской подоплеке романа, то здесь можно выделить два противоположных подхода к жизни, определяющих судьбы персонажей. Один — это непонимание истинных духовных ценностей, поиски славы, богатства, почета; другой — сознание того, что самое главное в жизни — духовные искания и любовь. Это детская любовь к родителям, любовь супружеская и материнская и, наконец, любовь к человеку и человечеству в рамках масонского служения.

Здесь невольно напрашивается аналогия с постановкой тех же моральных проблем в «Войне и Мире», хотя Толстой разрешает их по-своему. И у Толстого есть персонажи, скользящие по

поверхности жизни, ищущие только успеха и богатства — петербургский «свет», все Курагины — князь Василий, Элен, Ипполит, Анатолий. Им противопоставлены Пьер и князь Андрей, на протяжении всего романа пребывающие в духовных поисках. Пьер даже попадает к масонам, но, в конце концов, находит правду не у них, а у Платона Каратаева — воплощения мужицкой мудрости и простоты. Зато князь Андрей, не сумевший достичь полного отречения от интеллекта, должен умереть. Толстовский вывод — отказ от разума, от культуры и просвещения — шел вразрез с убеждениями Нагродской.

В центре первой, самой длинной части трилогии Нагродской, впоследствии озаглавленной «Утро», стоит фигура графа Алексея Петровича Забужского. Хотя точное значение заглавия неясно, можно предположить, что «утро» жизни Забужского было связано с «утром» России под эгидой Екатерины II. Личность и судьба графа Алексея Петровича, как впоследствии и его внука, Петра Михайловича, определяется желанием славы, почестей и богатства. В момент начала действия романа граф Алексей Петрович, образованный, блестящий красавец при дворе Петра Третьего, любовник императрицы Екатерины, весь отдается своей любовной страсти. Ради сохранения репутации и безопасности Екатерины, он фиктивно женится на бедной провинциальной дворянке, Елене Никитишне Лапшиной. Граф толкает ее на неверность и заставляет выдавать его дочь от Екатерины за свою. Убийство Петра Третьего, связанное с появлением нового фаворита императрицы, графа Орлова, ведет к отставке Забужского.

Судьба в лице близкого друга графа, Ивана Ялышева (как потом выясняется, масона), удерживает Забужского от планируемой мести — убийства императрицы и самоубийства. Но этот момент крушения всех его надежд и желаний ведет к полному опустошению его личности. Он уже никогда больше не полюбит ни одну женщину, он безразличен к своей семье и людям, он находит утешение в путешествиях и в занятиях науками. Когда после шестнадцатилетней добровольной ссылки в Европе он возвращается в Россию по зову самой Екатерины (которая предлагает ему работу в сенате) и у него рождается единственный сын Михаил, забота о продолжении рода графов Забуж-

ских становится его единственным *raison d'être*. Он не вспоминает о жене, страстно его любившей и умершей родами, он не понимает интересов взрослого сына.

Старый граф заставляет сына жениться на нелюбимой девушке только ради продления рода Забужских и, умирая, дает ему следующее наставление: «Воспитавай сыновей твоих в сознании, что они Забужские. Не забудь этого!... Было время, я сам забыл это. Я поддался личным чувствам. Я... я чуть не дал прекратиться нашему роду. Но когда родился ты... совершенно случайно, то я понял, что сама судьба хранила этот род и не дала мне совершить этот грех».

Из двух внуков графа Алексея Петровича старший, Петр, также думает, главным образом, о славе рода. Приехав к матери, живущей в уединении в деревне, Петр объявляет ей о главной цели своей жизни: «Я хочу, чтобы род Забужских опять занял то положение в свете, которое мой отец не хотел как следует поддерживать... Наш родовой дом стоит с его смерти запертый и заколоченный, а я хочу, чтобы он был первым домом в Петербурге. Я желаю, чтобы в нем давались лучшие балы, лучшие обеды... Я считаю своей обязанностью поддерживать честь нашего рода Забужских». У Петра Забужского нет даже тех страстей, какие были у деда. Свое чувство к небогатой родственнице, Елене Сухановой, он подавляет соображениями разумности.

Последняя страница третьей части трилогии («Вечерняя заря») описывает возрождение дома Забужских при Николае Первом: «Старый дом графов Забужских снова сиял огнями и к его подъезду длинной вереницей подкатывали бесчисленные кареты. Молодой граф Петр Забужский, по случаю коронации императора Николая недавно пожалованный флигель-адъютантом, праздновал свою свадьбу с графиней Еленой Гоген-фон-Гогенлое, связанной близким родством с одной из царствующих германских королевских династий». Но меньше, чем через столетие род Забужских вырождается и будет сметен постигшей Россию исторической катастрофой в пропасть забвения. Две дочери графа Алексея Петровича Забужского не близнецы и даже не родные сестры. Варвара — незаконная дочь графа от Екатерины Второй, а Марианна — дочь жены графа, Елены Никитишны, и

Ивана Васильевича Ялышева, на связь с которым граф сам толкнул нелюбимую жену. Эти женщины, различные по характеру и темпераменту, играют большую роль в развитии как повествования, так и основной идеи трилогии.

Прекрасная, но своевольная Варвара унаследовала от своей великой матери страстность, но не ум. Ее любовные увлечения беспокоят отца, который видит в ней миниатюру «с картины великого мастера». Против воли отца Варвара выходит замуж за престарелого князя Василия Курчагина в надежде приобрести свободу и независимость. Но скоро она убеждается в том, что старый и ревнивый муж намного хуже старого отца. Тем не менее, Варвара ухитряется неоднократно обманывать мужа и изменять ему. Только ее первый ребенок, дочь Зинаида — настоящая Курчагина. Ее сын Никита, который чванится княжеским происхождением, на самом деле, — сын гусара Баланина, с которым у Варвары была мимолетная связь (уже будучи взрослым и женатым, Никита узнает подлинную правду, а затем, при довольно драматических обстоятельствах, встречается со своим настоящим отцом).

После смерти мужа (старого князя разбивает паралич, а затем наперсница Варвары его отравляет) Варвара настолько компрометирует себя, что сама императрица просит графа Забужского повлиять на дочь. Варвара уезжает за границу, предварительно подбросив незаконную дочь Ольгу (от крепостного музыканта Савелия Пилкина) своей сестре Марианне. Последний ребенок Варвары от второго брака с итальянским оперным певцом Иосифом Чатари, Паоло, впоследствии играет большую роль в судьбах различных членов семьи Забужских. Сама же Варвара кончает жизнь самоубийством в итальянской тюрьме, куда она попадает за убийство своего последнего любовника.

Ирония судьбы, которую Нагродская любит подчеркнуть, сказывается в судьбе внучки княгини Варвары (в третьей части трилогии «Вечерняя заря»). Княжна Варвара Курчагина — тоже красавица, тоже страстная натура. Родители хотят, чтобы она сделала блестящую партию, и она согласна на брак по расчету. Но случайное посещение балета меняет все; княжна влюбляется в молодого танцовщика Константина Пилкина и, несмотря на жестокое сопротивление отца, который в конце концов выго-

няет ее из дома, выходит за танцовщика замуж. Константин Пилкин — сын того самого крепостного музыканта, с которым была в любовной связи ее бабушка.

Другая дочь графа Алексея Петровича Забужского, Марианна, второй важный персонаж трилогии, проходит через все части романа и морально противопоставляется как графу с его страстью к родовой славе, так и Варваре с ее неумейной страстностью. Марианна не так хороша, как Варвара, но зато она умна, добра, чутка. Несмотря на то, что семейная жизнь Забужских не особенно гармонична и Марианна видит мало любви со стороны матери (которая отдает предпочтение дочери мужа, Варваре, считая свою собственную дочь от Ялышева чуть ли не «чужой»), Марианна не ропщет, и не озлобляется. «Варенька — красавица» — вот ее постоянное извинение для блудной сестры. Марианна любит сестру, помогает ей, берет на себя кое-какие из ее мелких грешков. Когда Варвара выходит замуж, она старается удержать и остепенить ее. Считая графа Алексея Петровича своим отцом, Марианна после смерти матери посвящает свою жизнь его удобству, ведет хозяйство, выхаживает слабого, маленького брата Михаила. Эгоизм графа настолько велик, что он запрещает Марианне выйти замуж, когда та влюбляется в гвардейского офицера Игнатия Суханова. Иван Ялышев (настоящий отец Марианны), предлагает компромисс: пусть Марианна выходит замуж, но молодые должны жить в доме Забужского. После замужества жизнь Марианны посвящена мужу, старому графу, брату Михаилу, своим детям и детям Варвары, а затем внукам и другим членам многочисленных семей Сухановых, Брашиных, Курчагиных и Забужских.

Дух добра и любви, исходящий от Марианны и ее мужа, Игнатия Савелича Суханова, создает то семейное счастье, которое Нагродская считает примерным. При этом она отнюдь не живописует идиллию: на долю Сухановых выпадает достаточно горя и испытаний. Так, старший сын Марианны, Алексей, будучи женатым и отцом четырех детей, связывается с авантюристкой, тратит на нее свое состояние, подделывает подпись отца на векселе и в конце концов становится дезертиром из армии. Марианна, стоящая за «разумную», а не «утробную» любовь к детям, отходит от сына и становится на сторону незаслу-

женно обиженной и больной жены Алексея. Сухановы не доби-ваются почестей и богатства, они живут духовной и душевной жизнью. Под их радушным кровом находят приют и незаконная дочь Варвары Ольга, и сын Варвары Паоло, и злая карлица Мотя (бывшая крепостная графини Забужской), наперсница Варвары Пелагея, отравившая князя Курчагина, и другие приживалки.

Как мы уже отметили, в иерархии нравственных ценностей у Нагродской главное место занимает любовь к человеку и человечеству в духе масонского служения. В романе обрисованы три важных представителя масонства. Это, во-первых, Иван Ялышев, отец Марианны, затем Михаил Забужский, сын графа Алексея Петровича, и, наконец, Паоло Чатари, сын Варвары Забужской. Иван Ялышев, потомок древнего, но обедневшего дворянского рода после крушения своей любви к Елене Никитишне Лапшиной-Забужской становится масоном. Как уже упоминалось, это он удерживает графа Алексея Петровича от покушения на императрицу Екатерину и от самоубийства, и становится его единственным близким другом. Марианна очень его любит, но так никогда и не узнает, что он — ее отец. Ялышев живет в бедности, освободив своих крестьян, и умирает, спасая неизвестных ему людей на пожаре. Он единственный человек, который имеет благотворное влияние на графа, и он, по-видимому, тот, кто передает свои масонские тайны сыну графа Михаилу.

Единственный сын графа Забужского, Михаил, лишь внешне похож на отца. Любовь к знаниям у него соединяется с любовью к людям. Получив блестящее образование (между прочим, он друг детства цесаревича Александра), Михаил, вернувшись из заграницы, продолжает изыскания в самых разнообразных областях — философии, математике, химии, астрономии, архитектуре. «Наука едина, люди раздробили ее», — говорит он, веря, что человечество в конце концов придет к закону любви. Некоторые свои открытия он уничтожает, так как боится, что они могут быть использованы во вред людям. В своей частной жизни он правдив, нетребователен и скромен. Он не держит крепостных, дав своим личным слугам вольную; он помогает всем, кто нуждается в его помощи. Благодаря большим

познаниям в медицине Михаил лечит опасно заболевшего Паоло, своего отца, Наташу Курчагину. Проникнув в масонские тайны, он обладает способностью передавать мысли, направлять и даже отнимать волю (последним он пользуется только в самых крайних случаях, сознавая, что такое вмешательство означает отнятие свободы человеческого действия). Но прежде, чем достичь высшей степени духовности, Михаилу приходится пройти через два тяжелых испытания: женитьбу на нелюбимой женщине, и затем отречение от другой, любимой женщины, во имя ее покоя и счастья.

Брак Михаила с княжной Александрой Ильиничной — тяжелое испытание. Александра Ильинична ревнует мужа ко всем женским членам семьи и даже покушается на убийство соперницы. Властная и грубая со слугами, она создает в семье ад, и вскоре выживает Сухановых из дома Забужских. Михаил, с трудом переносящий свою жену, находит утешение в общении с несчастной женой своего племянника Никиты Курчагина.

Появление на свет двух сыновей освобождает Михаила от обязанности продолжать жизнь с женой: к концу наполеоновской войны он поступает добровольцем в армию. После тяжелого ранения под Лейпцигом масонское братство помогает Михаилу освободиться от тяготившей его постылой жизни. Официально сообщается, что граф Михаил Забужский погиб под Лейпцигом; гроб с его телом (на самом деле, в гробу — тело неизвестного русского офицера) погребается в усыпальнице графов Забужских. В действительности же Михаил возвращается в Петербург к брату масону под именем австрийского ремесленника Франца Дрешера. Он пристально следит за жизнью многочисленных членов семей Забужских, Сухановых, Курчагиных, незаметно помогая тем из них, кто нуждается в совете или помощи.

Одна из самых важных задач «Дрешера» — встреча с бывшим товарищем детства и юности императором Александром. Так и остается неясным, насколько реальна эта встреча: после разговора с Михаилом Александр убеждается в том, что дверь его кабинета заперта изнутри. Но Михаил Забужский — или его астральное тело — напоминает Александру, удрученному только что происшедшим несчастьем — страшным наводне-

нием Петербурга осенью 1824 года — об идеалах молодости, о соучастии Александра в убийстве отца и указывает на возможность духовного возрождения: ухода от власти. Смерть Александра трактуется Нагродской (как и Толстым) как инсценировка и сознательный уход. В самом конце трилогии два странника, «Федор Кузьмич» и Михаил Забужский расстаются где-то в безлюдных русских пространствах, чтобы идти дальше, каждый избранной им дорогой.

Главный представитель масонских идей в романе — Паоло Чатари, сын Варвары (и внук императрицы Екатерины). Своей необычайно красивой наружностью он похож на мать, но насколько она тяготела к земному, настолько он духовен. Когда молоденькая дочь Марианны Катя впервые видит его, больного, в полузабытьи, она в восторге говорит матери: «Да ведь он, как в картинах ангелов рисуют». Катя безнадежно влюбляется в Паоло, и он остается для нее идеалом и своего рода ангелом-хранителем. Паоло прибывает в Петербург из Италии с запечатанным письмом покойной матери к Марианне. В письме Варвара просит не говорить Паоло, что он внук графа Забужского, и что Сухановы его родня, если граф не захочет его признать. Варвара не ошиблась. Старый граф не только отказывается признать «итальянца», но не хочет даже дать ему приют. Только после настоятельных просьб Михаила и Марианны он соглашается оставить Паоло в доме.

Михаил с момента появления Паоло ощущает духовную близость к племяннику, он становится его наставником, делясь с ним своими научными и масонскими знаниями. Паоло замечательно рисует. Портреты его кисти, поражающие современников смелостью художественной техники, сохраняются в семейной галерее последних Забужских в начале XX века. Но Паоло скоро превосходит Михаила и из ученика становится его учителем. В отличие от дяди, Паоло не прикреплен к земле никакими страстями, он не знает иной земной любви, кроме братской. Чтобы не поддаться соблазну славы, Паоло уничтожает одну особенно удавшуюся картину.

Хотя внешне отношения между Паоло и старым графом Забужским остаются холодными, после смерти графа выясняется, что они тайно встречались, вели длинные беседы, причем

граф выслушивал от Паоло критику, которую он не перенес бы ни от кого, кроме своего покойного друга-масона Ялышева. В своем завещании граф признает Паоло внуком и оставляет на его попечение большой заграничный капитал, предназначенный для нужд Забужских. Последняя представительница рода, графиня Варвара, вспоминает, как к ее разорившемуся отцу пришел молодой человек, чрезвычайно похожий на автопортрет Паоло Чатари. Он передал ему все деньги, оставленные в свое время графом Алексеем Петровичем, и скрылся. Никто из слуг его не видел, и его поиски в Италии оказались безуспешными. Именно Паоло находит раненого Михаила после битвы под Лейпцигом и помогает ему начать новую жизнь под видом «Дрешера». Даже после того, как Паоло уезжает обратно в Италию, воспоминания о нем, а иногда его призрак удерживают членов семьи Забужских от несчастья.

Духовный облик Паоло схож с «ангелами-хранителями» Кузмина, такими, как, например, Андрей Фонвизин в «Нежном Иосифе», Андрей Толстой в «Мечтателях», Павел Павлов в «Тихом страже». Если вспомнить, что роман «Тихий страж» был посвящен Нагродской, то взаимовлияние здесь проглядывает довольно отчетливо, пусть даже кузминские герои тяготеют к старообрядчеству, тогда как у Нагродской они — масоны. Для тех и других характерно служение людям, добру, полное отречение от своего «я», мистические прозрения.

Самая длинная часть трилогии, «Утро», рисует, с некоторыми перерывами, жизнь трех поколений. Это «утро» России при Екатерине, и «утро» молодого графа Алексея Петровича Забужского; затем это «утро» его детей, Варвары, Марианны, Михаила; и их детей. В первом издании Нагродская опубликовала первую часть под общим заглавием «Река времен», но впоследствии переименовала его. Конец первой части повторяет лейтмотив всего романа: «И мы опустим занавес над этой мирной жизнью, где действующие лица еще не предчувствовали той грозы, которая через несколько лет в раскатах Наполеонова имени должна была пролететь над Европой, сметая государства и создавая новые, чтобы в будущем новый вал *реки времен* (курсив мой — М.Д.) снова смыл их и потопил в забвении». Этому философскому размышлению предшествует краткое (и

редкое у Нагродской) описание осеннего вечера, имеющее до некоторой степени символическое значение: «Заходящее солнце исчезало за начинающей желтеть рощей и словно тихий, прозрачный занавес опускались сумерки».

«Сумерки» — заглавие второй части трилогии, охватывающей период с 1813 года и примерно до 1820-х годов. Это «сумерки» Европы и России, переживших наполеоновские войны. Третье поколение Забужских, Сухановых, Курчагиных, Брашиных тоже переживает своего рода моральные «сумерки». Дочь Марианны, Катя Брашина, увлекается, в отсутствие мужа на фронте, молодым офицером Жадриным. Сын Марианны, Алексей Суханов, в походе за границей встречает румынскую авантюристку Сусанну Королеску, которая связывает его по ногам и рукам, следует за ним в Россию, разоряет его и разбивает его семейную жизнь. Овдовевшая графиня Александра Ильинична Забужская заводит связь с кучером Анисимом, который убивает брата графини в надежде на «вольную», а затем пытается убить саму графиню. Внешнее величие дома графов Забужских, возрожденное благодаря упорным стараниям Петра Михайловича, внука старого графа Забужского, с точки зрения Нагродской, — только *vanitas vanitatis*.

Третья часть, «Вечерняя заря», охватывает хронологически самый краткий период; действие заканчивается в 1825 году с восшествием на престол Николая Первого. Смысл этого заглавия труднее расшифровать, чем предыдущие, но, зная масонские убеждения Нагродской, можно предположить, что это заглавие перекликается с названием журнала масона-просветителя Н. И. Новикова. Его журнал, мистико-дидактического направления, «Вечерняя заря» включал в себе «лучшие места из древних и новейших писателей, открывающие человеку путь к познанию Бога, самого себя и своих должностей». Герои романа познают себя в духовном смысле и отходят от мирской суеты. Тут император Александр Первый, который становится «Федором Кузмичем»; и графиня Александра Ильинична Забужская, которая находит цель жизни в служении и помощи людям; и князь Никита Курчагин, который после пустой, безответственной жизни примыкает к декабристам; и внучка Марианны, Лена Суханова, вступающая в масонское «сестричество». Искания

этих людей противопоставляются тщетности и ложному блеску дома Забужских, где граф Петр Михайлович празднует великосветскую свадьбу.

Как мы уже отмечали, Нагродской особенно удаются драматические сцены. Вот некоторые из них: ночная поездка юной Марианны в Царское Село, чтобы предупредить Варвару, ночующую у любовника, о неожиданном приезде мужа («Утро», гл. 28); неожиданная смерть князя Курчагина, предотвращающая самоубийство Варвары («Утро», гл. 38); встреча князя Никиты Курчагина со своим настоящим отцом, Балановым, который вызывает его на дуэль из-за авантюристски Сусанны Королеску («Сумерки», гл. 23); неудавшееся покушение на жизнь графини Александры Ильиничны ее кучером-любовником («Сумерки», гл. 30); дезертирство из русской армии и бегство в Финляндию Алексея Суханова («Сумерки», гл. 45).

Нагродская замечательно передает язык разных эпох, разных сословий. К концу трилогии большинство персонажей уже говорит на модном «пушкинском» языке. (Между прочим, молодой Пушкин мимолетно появляется в нескольких описаниях великосветских петербургских вечеров). Но граф Алексей Петрович, его жена, Ялышев, Марианна и Варвара говорят на языке XVIII века — смеси французского с книжным и разговорным русским языком. Так, граф Алексей Михайлович начинает предложение своей будущей жене следующим образом: «Прошу покорно, государыня моя, снова сесть в кресло и выслушать вашего покорного слугу. А ежели государыня моя дозволит говорить мне по-французскому, то это весьма облегчит мне разговор наш. Ибо высоким штилем выражаться долго и невразумительно, а простым серьезных мыслей выразить невозможно». Пример того же «штиля» — выдержка из дневника Марианны во время ее пребывания в Веймаре: «... вчера, как мы у герцогини сидели, увидела я, что батюшка с одним кавалером разговаривают, и на того кавалера я загляделась, до того он красив был, и удивлялась, что батюшка так долго беседу с ним ведут, с таким молодым человеком... Я знаю, что девице не приличествует так на кавалеров заглядываться, а только не могла я глаз отвести». Узнав, что это был господин Гёте, и начав читать его стихи, Марианна записывает: «... Сегодня вечером мы выезжаем. Je ne

le verrai plus! Господи, что за стихи прекрасные! Читаю их и о нем думаю. Oh, а présent je comprends ce sentiment douloureux et doux, qu'on appelle l'amour, et je suis sûre, que mon coeur restera vièrge pour recevoir cet image sublime d'un demi-dieu».

Примером простонародного говора служит речь Пелагеи, бывшей наперсницы Варвары: «Пришла посмотреть, что за патрет такой тут тальянец рисует. Людишки говорят, схоже». Ей подстать речь отставного солдата Силыча, помощника Паоло, чудаковатого сторонника женского правления: «Кабы матушке царице Елисавет Бог дни продлил, мы бы немцу показали! А как начал царствовать энтот немецкий потеряшка, все назад Фридриху ихнему отдал. И всю Рассею бы отдал. Хорошо, что матушка Екатерина воцарилась. А теперь опять цари пошли, и опять толку никакого не будет».

В некрологе, появившемся в парижском «Возрождении» 21-го мая 1930 года, среди других произведений Нагродской выделена трилогия «Река времен», которая «пользуется успехом огромным, прежним». Литературные достоинства этого забытого романа, безусловно, настолько значительны, что заслуживают внимания как литературного историка, так и читателя.

Маргарита Дальтон

НИКОЛАЙ МОРШЕН И МЫ

или

РИТМ И СМЕХ

(о книге «Эхо и Зеркало»)

Стихом пронзает человеческий

Зигзагогололомный ум

Земли явления и вещи,

Молчанье звезд и моря шум

Н. Моршен

Где трагедия, а где фарс и комедия, где гениальность, а где образованность, организованность ума; где высота надрывных чувств, а где — игра чувствами? Где белорозовый мир тающего зефира, где бело-черный, черно-белый, клеточный, четко разграниченный, предельно ясный? И откуда этот приглушенный, серый, такой мягкий и благородный — не из смеси ли черного и белого? Здесь начинается мир пастелей, замешанный на контрастах, мир линий, изогнутых поверхностей, выпуклостей, вогнутостей, заострений, мир особенностей, уводящий в бесконечность эфира. Импрессионизм и модернизм, порожденные этими мирами, связующими мир и время, землю и небо, глаз и чувство, выразившими словом, линией, цветом всю безграничность, всю замкнутость, всю полноту жизни, принявшими их за основу бытия и сотворившими усилием воли, мысли, таланта особое обобщающее искусство, возвысившееся над отдельными эпизодами повторяющейся трагикомедии и поглощающее их.

Мы чеканим слова, мы заглушаем боль, мы смеемся, когда

упираемся в стенку. Слезы высохли, их источник истощился. Остались ритм и смех. Исчезла надежда перестроить мир. Глаз стал острым, а сердце сверхчутким. Мир не переделать, не изменить его ритма и пульса. Остается только жить в нем со своими ритмом и пульсом, подчиняясь ему и подчиняя его. Жить своей кропотливой, незамечаемой никем, муравьиной жизнью, до тех пор, пока кто-нибудь не воскликнет: «Глядите, так это он *создал, придумал, сотворил*». А потом приглушенное, недоуменное, растерянное: «А хорошо ли?», «А полезно ли?», «К добру иль ко злу?»

И общество отстраняется, предоставляя будущему поколению роль арбитра, очищает свою память, загруженную вчерашними эмоциями, и, легкое, просветленное, увлекается новым днем. Общество, в целом, боится сильного искусства, отстраняется от него, инстинктивно избегая сверхнапряжений...

Но только млечный свет с небес
Упав на голое страданье
Ведет не в под-, не в над-, не в без-,
Но в область вне и сверхсознания

— откуда обостренные мысль, чувство, глаз выхватывают откровения мира, где зарождаются гениальные прозрения.

Так открывается для меня Моршен в книге стихов «Эхо и Зеркало». Ритм и смех, разложение сил на составляющие, молекул на атомы, слов на слоги; и виртуозная, остроумная, доведенная до совершенства игра этими составляющими. Не жарко и не холодно, не жалко и не боязно, голый факт, не разодетый в эмоции, жесткий факт классического, математического решения. И обобщающее следствие:

Из девицы, красавицы,
Душеньки, девушки, певшей в церковном хоре,
Получается вскоре
Прекрасная пиковая дама с собачкой,
Приятная во всех отношениях

(«Норма брака»)

«Из каждой ли?» — «И из меня тоже?» — мелькает в мозгу.

Автор метко целит в читателя, задерживая его внимание, заставляя его если не отвечать, то хотя бы задуматься над затронутыми проблемами. «Кто ты такой?» — спрашивает тебя Моршен в прямолинейном, беспощадно-издевательском остроумии.

И есть холсты совсем загадочного класса:

Полу-пи-пи, полу-ка-ка, полу-Пикассо

(«На выставке»)

Беспощадный взгляд ценителя искусства беспощаднее взгляда Бога в полноте требований. «Все или ничего», не выносящее жалкого подражательства, холуйской услужливости, всякого псевдоискусства, псевдокрасок, псевдоформ. «Всё или ничего» — если ступил на этот путь —:

Поэзия кончается не там,
Где изощряют подражання
И звуки льют с водою пополам
В припадке стихонедержанья.

Кончается она, где свет поблек,
Где слов не слышно человеческих,
Где пожелтел последний стебелек,
Последний отзвенел кузнечик.

Поэзия кончается лишь там,
Где вновь она, по сути, начинается.
(«В начале, в середине, в конце»)

Эти попытки определить истоки поэзии, отыскать начала и концы, отделить зерна от плевел, найти настоящее основываются на глубокой гражданственности и морали. В этом плане очень показательно стихотворение Моршена «Сбившемуся с тропы», в котором поэт поднимает аналогичные вопросы в сфере морали.

Когда на выжженной скале
Ты встретишь ночь в упор,
И холод спустится — во мгле
Раскладывай костер.

Клади в него весь мох сперва,
Которым ты оброс,
Все палки, что из озорства
Совал промеж колес;

Все щепки, что летели врозь,
Когда ты лес рубил,
И сучья все, что на авось
Ты под собой пилил;

Сор из избы (хоть и давно
Ты выносил его),
Труху из сердца и бревно
Из глаза своего.

Деловое, спокойное, совет-не совет, указание-не указание, а что-то такое властно-высокое, которое невозможно обойти, не заметить, не услышать; в том бесстрастном тоне, которого невозможно послушаться. Прочитал и остановился, и тайно оглянулся, и подсознательно заработала память, и закипел адский котел самоочищения. Пришел час расплаты за все тайные подлости, неувязки, неприятия, неблагоприятности, которым только ты сам и был свидетель; за все непристойности, за всю свою нетерпимость и недоброжелательность, глупость и поспешность, за равнодушие, за умение не замечать, за душу, обросшую жиром. Хватит ли у тебя мужества шагнуть в этот костер самоочищения? Как удастся Моршену проникнуть сквозь этот слой жира?

Деловитое спокойствие, спокойствие все познавшего, спокойствие принявшего решение и избравшего путь. Смех — тонкий, иронический, остроумный, хлесткий. Ирония — изощренная, в обхват. Ты в ироническом мире зеркал, и бежать некуда, глаза широко раскрыты, и хочется зажмуриться перед взо-

ром автора, спокойным и мужественным. Как выдержать этот направленный вовнутрь твоей души взгляд; ты ведь такой миленький, славненький, хорошенький, такой сусальный и так стремился всегда к совершенству, такой причесанный со всех сторон, в самом лучшем галстуке и всем остальном. А погляди на себя в зеркало. Да это уже не просто так, это опасно, это уже оружие, не какая-нибудь пуля да винтовка, а целый арсенал. Это уже опасно для трусливого, низкого, плаксиво-нервного, истерического общества, хищного и злого, тонущего в ханжестве, лицемерии, фарисействе, стремящегося сочетать несочитаемое в своей слепоте, наивности, недоумии.

«Оглянись! — скандируют глаза стихов. — Ты уже докатился. Куда дальше?» — «Нам зябко, господин Моршен, в вашем мире зеркал. Нам уже не смешно».

Ваши книги, господин Моршен, надо раздавать бесплатно, как средство поддержания нравственного уровня общества. Мир катится неизвестно куда в своем истощении духа, нравов, и поэт возвращает этому миру все то, что уловил его пронзительный глаз, отразил цепкий ум, вывернул острый язык. Нет, поэт не судья этому миру, он — философ, раскалывающий горький орех бытия, разжевывающий розовый бочок яблока познания.

Но вот — другая ипостась поэта. Идиллия альпийской весны, где «небо тучками изукрашено», где расстелены непорочной голубизны холсты, где соревнуются в райском воздухе птичий род и род пчелиный. Но «дело к ночи». Постепенно надвигается усталость, и вечером овладевает грусть, и хочется покоя, нежности, тишины:

Краски гаснут, и дело к ночи,
Свет короче и тень длинней,
Лишь поток еще все бормочет,
Все знакомей и все нежней
Сквозь пороги
И повороты
О дороге...

Как бы между прочим, поэт замечает:

Зелень селится по расселинам,
А вершины обнажены.

(«Альпийская весна»)

Вершины всегда обнажены: в жизни, в природе, в науке, в искусстве. Чем выше, тем мысль обнаженнее. Та высота, где лишённые растительности скалы увязают в облаках, доступна только вершинам — отважным и мужественным. Тема лирической высоты как бы перекликается с темой другой вершины — вершины поэта, особенно русского поэта, в его стоицизме, гордости и мученичестве:

Вольных пасынков рабской земли
Мы травили — борзыми, цианом,
Оплетали — обманом, арканом,
Ущемляли — презреньем, капканом,
Только вот приручить не могли

(«Волчья верность»)

Если голос есть, он прорежется. Наши гены работают на нас или против нас:

Чтоб, в согласии с предначертаньем
И эпохе глухой вопреки,
Волчьим пеньем и лунным сияньем —
Волчьим Солнцем своим! — одурманен,
В волчью яму свалиться с сознанием
Обреченности, тайны, тоски...

Иль за обледеленою кочкой
Затеряться в российских снегах,
Околев с недоглоданной строчкой,
Словно с костью в цынготных зубах

Стихи Николая Моршена, написанные как бы на кончике пера, обладают реальным, изумительно точно рассчитанным центром тяжести, чувством такта, меры. На остром ребре веселости-серьезности, многозначительности, чепухи, игры, па-

родии, парадоксов, виртуозности построен этот удивительный замок поэзии. Кажется, что Паганини снова играет на одной струне, а холст восхитительной работы написан без кисти. Прочтите «Поиски счастья» и «Часть и целое». Когда «я» — последняя буква в алфавите, всем вроде бы живется лучше. С другой стороны, «я» — часть природы, ее «частный случай», притом тот частный случай, на котором все держится, центральная часть, опора строения. «Я», конечно, скромное, маленькое «я», но —

И стану строить, сознавая,
Что срочка для строфы — кривая,
Взлетающая в небеса,

Что мною — словом петушиным! —
Природа ищет путь к вершинам,
Ей не дававшимся досель

(«Часть и целое»)

— мы хорошо знаем себе цену и осознаем свое предназначение.

Разлетелись колокольчики звуков, калейдоскоп звуко-слога, звуко-ряда, звуко-мыслей, сбегаящиеся и разбегающиеся в плену зеркал все к новым и новым отображениям, сочетаниям, создавая вереницу игровых картинок, перемежающихся солнечных зайчиков цвето-света, звуко-формы, света-мысли. Фейерверк, веселая абракадабра, ярмарка смеха, отображения вертящихся зеркал, мимолетных, едва коснувшихся сознания, запавших в мозг, как оброненное слово, как пригвоздивший закат, как актер, случайно сыгравший перед зрителем его жизнь, как заезжий скоморох, выпевший скороговоркой сразу все на свете и исчезнувший так же внезапно, как появился.

Его, скомороха, уже нет, да и где его найдешь, а песня бунтует, растет, зреет. Уже снова по дорогам трясутся актеры, сыгравшие перед Гамлетом во дворце маленькую пьеску, а настоящая трагедия только разворачивается. Главное — заронить зерно в благодатную почву.

Событие и последствие, события и последствия, и события и последствие-обобщение — беспощадно зоркое. Игра-то она игра, забавно-весело-развлекательная, а все-таки не по себе. Как

будто посмеялся над шутом-горбуном в цирке, из кожи лезущим вон, чтобы угодить публике. Но после этого смеха становится жутковато. Смех с горечью. Улыбка, когда высохли слезы, беспомощная, бессильная, стоическая. Вроде бы жить надо, а как жить во всем этом. Собрать себя и жить, собрать себя и любить, найти в себе, сотворить в себе силу любить и жить — или око-леть — «с недоглоданной строчкой, словно с костью в цынготных зубах».

Не угодно ли вам теперь, господа и товарищи, сочинившие этот мир, остановиться перед зеркалом Моршена и просмотреть комедию своей жизни, выдохнуть и прослушать серенаду своего эха. Не угодно ли вам взглянуть на себя в обратном, отраженном мире, существующем по законам оптики, акустики и всемирного тяготения, точным, строгим, конструктивным законам, не знающим коррупции.

О, зеркало глупостей, нелепостей, преступлений, как ты изобразишь этих господ? На суперпозиции каких образов построишь ты портрет благородной серости и тупоумия этой армии без вины виноватых? Нет, не надо этого зеркала! Занавесить его! Спрятать его! А еще надежней — разбить его. Тогда с чистой совестью можно заново приступить к сочинению новой истории, истории века, истории дерзаний и созиданий, истории побед человеческого разума, возвышенной и гордой истории, забыв о геноциде и разбое, как о мелких ошибках, и утопив мозг в джезе.

О, Минерва, богиня мудрости! С какого Нового Олимпа созерцаешь ты это прелюбодеяние истории — науки, слегка перепутавшей даты и героев. О, веселитесь, радуйтесь шуткам балаганного лицедея, вам уже все равно. Такие шуточки, поэт Моршен, непростительны; вы, наверняка, слышали о своем французском коллеге Беранже и о других тоже, и вы не можете не знать об этом. Зачем вы смущаете самовлюбленную публику, героически решившуюся на прочтение вашей книги? Зачем вы помещаете ее в мир эха и зеркал? Разве вы не знаете, что поэты милы после смерти, что общество, увернувшись по воле рока от прицела, только после смерти поэта чувствует себя в безопасности и может теперь с легким сердцем обливаться, обросшего легендами и пикантными подробностями, своей любовью.

Какие боги Парнаса помогли вам, поэт Моршен, замкнуть нас в зале зеркал, где все двоится и умножается, где все движется и пересекается в мире геометрии и оптики, симметрии и антисимметрии. Доброта, как и талант, асимметрична, неповторима. Природа асимметрична. Наше отражение в воде слегка асимметрично, потому что поверхность воды не может находиться в состоянии абсолютного покоя. Движение, как и развитие, асимметрично. Мышление по своей природе симметрично. Человека тянет к симметрии. Этим объясняется способность людей к обучению, повторению, типизации методов познания, этим объясняется и технический прогресс.

Только индивидуумы, способные психологически оторваться от уже имеющегося, создают что-то новое. Остальное — эхо и зеркало, или отражение в воде.

Обществу поэты нужны, как зеркало, в которое оно тайно глядится, но тщательно старается это скрыть, как первая красавица — свои заботы о внешности. Общество гордится поэтами, особенно умершими — так спокойнее. Обществу приятен процесс возрождения поэта: какое событие, да если еще с памятником и юбилеем! И сколько работы всем — издателям, литературоведам, художникам, скульпторам, оформителям, фразерам — всем говорунам. Уже готов перечень написанного, уже разыскиваются родственники, друзья, знакомые, рукописи, заметки, записки, обрывки, клочки, счета. Все прощено, объяснено, принято, готовится к печати первое посмертное издание, но самое важное — это то, что сам поэт уже никогда не помешает кипучей деятельности, не прервет ее, не изменит, не напомнит о прошлом, ничего больше не напишет, не крикнет «стоп».

Высшая гражданственность, не размахивающая кулаками и не бьющая в экстазе истерии себя в грудь, сочетается в стихах Николая Моршена с утонченным лиризмом. Восхитительный мир играющего зимнего леса воссоздается часто используемым приемом Моршена — словотворчеством слогов, их поворотов в различных комбинациях, создающих свето-звуковую комбинацию. И, как у всех больших поэтов, у Моршена техника отходит на задний план; остается ощущение красоты, обаяния, снежности, как будто слышишь, затаив дыхание, на опушке леса. вслу-

шиваешься в его музыку, вдыхая голубеющий морозный воздух. Сказка зимнего леса раскрывается перед вами со «снегвоздниками», снеголочками», «снеграфикой», «снегоотикой» — с гаммой снежных неологизмов с горным перевалом в «г».

Изумительно тонкое, задышающееся в любви стихотворение «Муза»:

Эту жаркую грудь,
Эти руки, и плечи, и крылья
Приголубить, замкнуть
В обладанье, в усилье, в насилье.

Чтоб из губ ее стиснутых
Рвались жалобы строчек
Соловьиными свистами
В воробьиные ночи

Как высока жизнь в ее естественной простоте — развитии, завершении, цельности:

Смотри, как радостно и просто
К закату ласточка ведет

Налитый колос склоняется к земле:

Задетый приближеньем ночи
Багряный падает листок

Лирико-философский настрой охватывает нас. Осень-Ночь-Закат-Конец-Итог-Рождение-Зрелость-Полнота-Итог. Каждому свое предназначение:

И осень видится воочью
Как завершенье, как итог,
Как строк и ритмов средоточье:
Китс, Баратынский, Рильке, Блок.

Но что у нас в наш час осенний
 Единый вызывает вздох?
 Лирического тяготенья
 Где высший центр для всех эпох,
 Омега всех пересечений?
 Жизнь? Смерть? Любовь? Быть может, Бог?

Какая высокая, всеобъемлющая философия бытия! Конец — величественный, приподнятый, с сознанием выполненного долга, с последней попыткой определить «центр», цель, главное, то, для чего каждый был рожден.

Но вот в стихотворении «На ущербе» проскальзывают грустные интонации мимолетности, безвозвратности: «Опадаем...», «Отлетаем...», «Остываем...». И все замолкает.

Прошла зима.

Хлынула жизнь — весна, обновление, праздник:

Так и льется в жилы им
 Зелено вино,
 Зельем хлорофилловым
 Все пьяным-пьяно.

Щебет и чирикание,
 Фьють и тюр-люр-лю,
 Щелканье и кликанье
 До чего люблю
 («Зеленый Ренессанс»)

Познание эволюции во всем разнообразии форм как итога накопившегося фактического материала, — как природных явлений, так и событий в жизни, искусстве, науке, определяющих процессы развития, — находится в центре зрения аналитического ума Николая Моршенина.

Было облако яблоком,
 Стало облако зябликом,

Пока настигнешь эти облака,
 Они стократ успеют измениться,
 И вечно будет форма далека
 От той, что коченеет на странице
(«Пуще неволи»)

Схваченное врасплох мгновение искажается прикосновением, умирает, испаряется. Живая форма заменяется застывшей, коченеющей. И крик Фауста: «Остановись, мгновенье!» затухает.

Откуда ж мне, к чему мне это страсть —
 Уж не охотничья ль? — как выстрелом — оленя,
 Стихом заставить
 на колени пасть
Мгновенье

И в результате всех этих сложных взаимоотношений с жизнью

Приходим по путям исхоженным
 Как раз к тому, с чего и начали.
(«Поэтический мутант»)

Только приходим несколько другими. Путь замкнут. Остается один вопрос: правильно ли была выбрана отправная точка? Но это риторический вопрос, и никто не ждет на него ответа. Отправная точка Николая Моршена — «служенье слову», в нем заключается смысл творчества поэта:

Я, как нищий, здесь уныло
 Шел с протянутой душой —
 И осина уронила
 Прямо в душу — золотой

Или за служенье слову
 Новосела окружил
 Верноподанной любовью
 Бессловесный старожил
(«Лесная опека»)

Кто такой поэт? Что такое творчество? Эти вопросы не перестают занимать Н. Моршена. Веселое озорство, забавный лесной эксперимент (тристих «Недоумь-Слово-Заумь») как бы приоткрывают завесу:

По березе прыгал дятел,
Красной шапочкой качал,
Словно лодку конопатил,
Во все щелочки стучал.
Мы с ним спелись для дуэта.

Дальше идет переключка «так»-ов и «ток»-ов.

Недоумь рождала слово
Через наше озорство.

Но птичка улетела, оборвала дуэт.

Птичка Божия узнала,
Что она полу-ПОЭТ.

«ПОЭТ» заглавными буквами. Птичка — полу-большой ПОЭТ.

Свое кредо поэта и человека Николай Моршен формулирует в стихотворении «На привале»:

Как говорится, будь мужчиной!
Стихи не носовой платок
Для слез над собственной кончиной.

Грусть хороша для ширпотреба,
Но самобытен и кремнист
Веселый путь, ведущий в небо

Тема «Поэт и его место в обществе» красной нитью пронизывает книгу стихов Моршена. В разной инструментровке этот мотив повторяется снова и снова, переходит из стихотворения в

стихотворение, формулируя, оттеняя, находя какой-нибудь новый поворот. В стихотворении «Поэт, художник и читатель» вы сразу попадаете на дискуссию. Нет, не в начальные словопрения, не в эпицентр, где, обгоняя друг друга, вас захлестывают волны полемики. Вы, дорогой читатель, приглашены к финалу. Все готово. Займите, пожалуйста, ваше место арбитра.

Перечитайте заголовок и обратите внимание на распределение ролей в тексте. Здесь есть поэт со своим пониманием эволюции. Есть художник со своим пониманием:

У нас подвижно лишь искусство —
Материал у нас инертен.

И дальше — опять художник со своим заключением:

Не знают смены поколений
Оттенки, линии, объемы,
А слову угрожает тленье.

А поэт в ответ:

Конечно: Как всему живому.

Где же ты, читатель из заголовка?

А, ты здесь, ты пришел. Поэт Моршен не глаголет твоими устами. Ты — любой, и тебе предоставлена полная свобода. Ты можешь говорить все, что тебе угодно, ты вправе сам себя представлять. И ты можешь думать все, что угодно, но ты достаточно умен, чтобы понять, что тебе тоже «угрожает тленье», «как всему живому». Главное, не огорчайся. Пойми, здесь нет никакого противопоставления. Поэт, художник и читатель, по сути, — одно лицо. И так же, как бессмертно искусство, бессмертен обыватель, толкнувший художника на создание шедевра; он только слегка отодвинут временем в тень. Но это ничего не меняет. Он был и остается невидимым двигателем искусства. На его долю опять выпало тащить муравьиную ношу — роль тяжелая, ответственная и неблагодарная. А лавры стяжает художник, незаметно ведомый обывателем,

кроящим и сшивающим свой век, выделяющим муравьиную кислоту. Художник, подбирающий багет под свой век, начисто забыл, что он тоже обыватель, такой же обыватель, как и поэт...

Так что, читатель, пожалуйста, не огорчайся. Все мы встретимся там, а грядущие поколения разберутся, кто есть кто, издали виднее, да и легенды, как дикий виноград своими гирляндами, защитят нас от бьющего в упор Солнца.

А пока надо найти *«слово»*, свое *«слово»*, потому что *«слово»* для поэта это *все*.

И Слово означало — Бог:

Начало, замысел и метод.

Но по законам естества
тяжелой плотью стало Слово.

И ты явился в мир, чтоб снова
Перековать его в слова!

На человеческий язык
Речь духа переводит лира,
На недоумь — звериный рык,
На заумь сотворенье мира

В начале было *Слово*, и оно породило заумь и недоумь. Природа — недоумь со своими тайнами-сокровищами, с хоронящимися в породе золотыми жилами, с таящимися русалками и хороводами. Природа — несознающая себя целина:

Птичка божия не знала,
Что она полу-ПОЭТ

Наука — заумь, великая заумь, младшая сестра недоуми, разложившая ее творения на составляющие, записавшая вселенскую музыку языком нот, поэзию — языком букв, мировую гармонию — символическим языком формул.

А потом был Сезам... Сезам и заумь — вместе. Откройся, Сезам! Откройся со всеми своими тайнами естества, божества, лада.

Крутой замес бродил в Сезаме,
Змеясь, жило в нем словопламя,
Формировался звукоряд,
И проявлялись буквосвойства:

Сезам — эпицентр творения. Сезам — концентрация всей энергии. В Сезаме веками скрывалась энергия покоя частицы $E = mc^2$. Искать надо в Сезаме. Что искать? Что надо, то и искать... Благословен *мир*, знающий что искать! *Слова* надо искать в Сезаме. И не в Сезаме ли добыт этот по силе концентрации и точности образец мировой поэзии:

Проба пера — это проба беды
Проба судьбы от гнезда до звезды
(«Проба пера»)

Не Сезам ли открыл поэту законы мастерства, одарил его ювелирной точностью и изяществом:

А я точнее точу свои:
Точь-в-точь как точки над «і»
(«Кусты над рекой»)

Поэт, слово, истоки, история — ключевые слова скоморошного, буйно наигранного стихотворения «Иванушка» со скрытой в глубине тройкой, с плясом, с присвистом, с бьющими истоками русской поэзии.

Колико российские пииты
В дни оны жили на земли,
Толико гласно, сановито
Они высокий штиль блюли.
А коль с гудком заместо лиры
И нисходили с облаков,
То, чаю, токмо для сатиры
Иль для любовных, мню, стишков.

Суперархаичные строфы старославянского вливаются в сов-

ременный язык, как бы сплющивая время и сближая пространства. «Незапно, аки луч из тучи» является буйный, самобытный, блестящий, скабрезный И. Барков, «родоначальник Самиздата, плебей без юбилейной даты»,

Лет за сто до «Гаврилиады»
Владевший пушкинским стихом.

и создает яркий, буйный, красочный поэтический язык.

Он вздыбил стих неукротенный,
Еще не обращенный в штамп,
Дабы заржал весь мир крещеный
И жеребцом дымился ямб.

И так на ржани жеребьячем
Вознесся выше пирамид,
Что сколько мы его ни прячем,
А он главою вверх стоит.

С тех пор, хотите ль, не хотите ль,
Царем поэтов русских стал
Наш незаконный прародитель,
Наш полу-Пан, полу-пропал.

Поэта невозможно замолчать. Поэта невозможно убить.

Убит!.. Но в ното-букво-слове
Живет не клетка, а строфа:
...Что день грядущий мне готовит...

Поэт. Слово. Истоки. История.

Как Апокалипсис звучит стихотворение «Приметы» — легко наигранное по тону, глубоко-психологическое по содержанию.

Ты по долине или по лесу
Шагаешь весело и вольно,
Не ожидая, что наколешься...

А лес и дол видений полны!
Смотри, как норки в корни прячутся,
Тая зверье от посторонних!
Ты должен в чтении насобачиться:
Все звери здесь — не проворонь их!
Увидишь ласковые челюсти,
Услуг медвежьих вереницу,
Увидишь, пасть какая щерится,
Кто там рысит, а тут змеится,
Кто пресмыкался и возвысился,
Кто волком выл, кто — козлетоном,
Кто съежился, а кто окрысился,
Кто осовел в дупле бессонном.

Будь осторожен. Гляди.

А вот «Гигантская секвойя»

Убегу от беглых взглядов
В пристальную тишину,
У корней твоих прилягу,
К родникам твоим прильну

Нам мало того отдохновения, которое дарит нам гигантское дерево, нам хочется проникнуть в его тайны, узнать, как оно росло, как оно возвысилось «над юдолью», «над долиной, где слезу точит ручей».

Как ушла ты в небо просто,
Не познав добра и зла?

Гиганты отбрасывают слишком большую тень. Благодарение небу за них в дождь и жару.

Но с величием секвойным
Устремляясь в синеву,
Ты внизу настилом хвойным
Душишь малую траву.

Опять эти гиганты. Что делать с ними, с этими обнаженными вершинами?

Несколько обособленно по звучанию, полное скрытых намеков и упреков в адрес И. Эренбурга, но идеологически выдержанное в рамках общей тональности книги стихотворение «Азор и Роза».

Последние десятилетия стало чуть ли не правилом хорошего тона ругать И. Эренбурга. И. Эренбург — продукт общества XX века. Вернее, обществ русского и европейского, жарившихся на жаровнях двух мировых войн и революции, переживших «гениальность» Ленина, Сталина и Гитлера, потерявших в концлагерях и в войнах миллионы людей. Это общество и сделало И. Эренбурга писателем. Оно его толкало, бросало и защищало. Оно всегда находило для него запасной выход. И он был своим в этом обществе — и в России, и в Европе. «У меня есть стены и потолок; я не обольщаюсь своими возможностями», — писал он в «Автобиографии» в 67 лет, и это не было кокетством «избранного». Икар такого бы не написал. Он разворотил бы стены и пробил потолок, чтобы мир вошел в комнату и засияли звезды. Но Эренбург не был Икаром, он был Азором. За это не осуждают, как не осуждают за то, что остался жив, или за то, что не стал гениальным писателем. Поэтому празден и бестактен вопрос: «Как вы уцелели?» Бабель ждал ареста и позволил себя убить. Он ничего не смог противопоставить государству-убийце, кроме саркастической недоумевающей улыбки, несмотря на всю яркость своего таланта. Марина Цветаева жила звуком. Осип Мандельштам был неотделим от стихов. Слово для них было ближе людей, они умели обращаться со Словом, у них было кровное родство со Словом. Они оба были чужды обществу, в котором так нуждались, и общество не менее было чуждо им. Общество, уловив их инородность, уничтожило их.

Бабель — Икар, Мандельштам — Икар, Цветаева — Икар, Эренбург — Азор. Ему — Роза, потому что он умен, потому что он умел, потому что его дарование не довело его до предела, не обнажило его, более того, — усилило его защитные рефлексy. Он был умен и умел защищаться, общество развило в нем инстинкт самосохранения. За качество таланта не осуждают: его принимают или не принимают. Осуждал ли кто-нибудь когда-

нибудь Икара? А кто мы все? Азоры? Икары? Ведь каждый из нас по-своему и по-разному умел.

Судьба Эренбурга определялась его генами — легкая оппозиция ко всему на свете. Он не был, по сути, никому опасен, это все чувствовали. Он был обществу интересен, так как, слегка переходя границу дозволенного, он его возбуждал. Эренбург безраздельно принадлежал этому обществу, и оно сделало его Азором. Зеркала-перевертни способны на все, с ними можно потеть не только последнее-первое мягкое, глубокое, бархатное «Э», но и свое, родное, последнее-главное «Я».

Свое-волье? Скажите-ка,
 Это чье же свое?
 Растолкуйте, политики,
 Наше? Ваше? Мое?

(«Своеволье?»)

Каждый сам выбирает свою судьбу и идет за ней. «Я» и «судьба» — самосогласованный процесс. «Я» идет, «судьба» ведет. «Я» идет зигзагами, «судьба» ведет спиралями, и в результате этого самосогласования, взаимовлияния складывается неповторимый, единственный жизненный путь.

Николай Моршен — поэт своего времени, остро чувствующий его биоритмы, сжатые, напряженные, ускоренные. Эта тема нашей ответственности, причастности убедительно развивается в стихотворении «Послание к А. С.». Разновременные факты автор объединяет общностью исторической перспективы, из которой вытекает основная тема — тема исторического возмездия.

Александр Сергеевич Пушкин, по всем канонам, великий русский поэт и национальная гордость. Но он был тоже человек. По взглядам — великорусский шовинист, и это ни для кого не новость. Приветствовал подавление восстания в Польше, и всем это известно. Любил женщин, а кто их не любил. Был, без сомнения, вспыльчив, капризен, реактивен: это выдают беспокойные глаза и пухлые чувственные губы, но это мало для кого интересно, да и неважно теперь. Писал восхитительные стихи, но, случалось, и не совсем, — и те и другие по велению Музы.

Наполовину случайно его убили, все вело к этой случайности.

Общество опять позаботилось, и Пушкин стал общенациональной гордостью и знаменем. Поняли, кого потеряли, но не понимали, кто рядом жил. Его биографию и творчество подробно изучают в школе, дети пишут о Пушкине сочинения, а взрослые — книги; литературоведы скрупулезно восстанавливают образ поэта, обросший крепкими лианами легенд, спекулянты, как водится, зашибают немалые деньги на имени Пушкина, а члены общества любителей Пушкина с трепетом собирают каждое слово о нем и обогащают спекулянтов. Общество умирает от любви к Пушкину и равнодушно-самоуверенно убивает других Пушкиных. Потом спохватывается, осознает, обливает слезами новую потерю, пытается восстановить архив, строчку, слово, трепет, дыхание. Все это вытекает из диалектики развития литературы и общества. И вот тут-то на помощь приходят мемуары. Они обстоятельно знакомят читателя со всеми подробностями жизни поэта и тщательно все объясняют. И, к радости общества, начинает процветать история литературы вместо литературы, оживает любимая всеми мемуаристика — тиражи нарастают; все счастливы — издатели, читатели, писатели. На кладбище зеленеют свежие побеги или же вянут принесенные пионерами цветы, страсти смолкают, арена тускнеет, и драма превращается в бестелесную повесть, а порой в комедийный фарс.

Пушкин в этом не виноват. Он был, как и большинство поэтов, жертвой общества: рвался к нему, не мыслил существования без него и не мог с ним примириться. Лишенный его, он тосковал и писал-писал. Его тяготило бесправие в России, его собственное бесправие. Ему ничего другого не оставалось, как залить свою боль вином тайного торжества, ощущением «тайной свободы».

Именно тяга к «тайной свободе» толкала поколение за поколением к эмиграции из России, и не одно поколение внутри страны сносило террор под эгидой пушкинской «тайной свободы». Но Пушкин и здесь не виноват. Он не виноват в неспособности общества думать и в его стремлении повторять. Главное — найти главного виноватого — как тесно судьбы выдающихся людей связаны с восхитительной склонностью общества к недо-

мыслию! Но все, что произнес Пушкин — значительно, и «тайная свобода» волнительнее и сладостнее явной, как все тайное, как тайная любовь.

В «Послании к А. С.» Николай Моршен прослеживает тропочку, по которой катилась «тайная свобода» —

Открылся новый смысл и вид
У слов старинных «Кремль и Прага»
От них кровоточит бумага,
И пламя Палаха горит,
И ощущает боль и стыд
Родство припомнивший бродяга.

— и которая довела до чешских событий 1968 года, до процессов над поэтами и писателями, до политических концлагерей, до того, что сопротивление реакции стало возможным разве что на уровне тайного свободомыслия.

Внутренняя эмиграция, символ тайной свободы, расчленяет общество, лишает его единства, лишает способности сопротивляться. Эти плоды «тайной свободы» не вызывают восторга у Моршена, привыкшего к свободе абсолютной. Поэт с болью ощущает всю несостоятельность «тайной свободы» и не принимает ее «героического» пафоса — свободомыслия про себя:

Какой глагол в нас говорит?
Откуда страсть к свободе тайной?
Талант ли это наш случайный
Что от распада уберег?
Закономерный ли порок
В котором лишь тиранам прок?
Вы ей отдали предпочтенье,
И находило в нем спасенье
Мое тюленье поколение,
И к ней воззвал с тоскою Блок...

Вот так привел нас Николай Моршен к положению об ответственности поэта перед обществом.

Отхлебнув из чаш разных континентов, разных культур,

Н. Моршен создал свой, третий мир, отраженно-переливающийся, новый мир своих высших ценностей, свою систему отсчетов, в высшей степени человеческую, свои единицы измерения, свой над-мир духа, способный вместить разнородные начала в замке высокой требовательности. Нет, не в башню из слоновой кости приглашает нас Моршен. Он не призывает с помощью многословной морализации хранить верность себе и своим идеалам. Он доказывает от противного. Он презирует любое предательство, любую измену, любую сдачу позиций. Если говорить об идеалах, то его идеал — выстоять и «тут», и «там». Поэт как бы обходит свою идею со всех сторон, она сквозит в ритме, в паузе, во времени и в пространстве. Это достигается высокой организованностью стихов Моршена. Интонационный рисунок его стиха предельно четок и ясен. Идеи обнажены, заострены. Не окутанные туникой туманностей, красотей, расплывчатого романтизма, облаченные в сдержанную строгую форму, ограничивающую эмоциональность, они бьют не в бровь, а в глаз. В стихах Моршена несет большую нагрузку, в силу конструктивной жесткости, обратная связь. Так форма логической посылки ответственна за точность логического, математического доказательства. Отдельные, якобы тематически разрозненные стихи, на самом деле крепко связаны, и эта связь пронизывает книгу. Мы поворачиваем зеркальный многогранник, и каждая грань отражает что-то свое, непохожее. Но в своем многообразии отражений, фокусировки, сконцентрированности многогранник един.

Моршену чуждо многословие и морализация, упрощенность, искусственность, инфантилизм, украшательство. Поэт живет вровень со временем, он не уходит ни в застывшую красоту античности, ни в счастливое будущее. Он — не судья, вещающий приговор, и не отстранившийся от грязи и хлопот века эстет, он — наш современник. Излагая голые факты, лишенные субъективно-эмоциональной окраски, Моршен выводит свои формулы жизни, закономерности, следствия.

Богатая звуковая гамма стиха, построенная на повторах и диссонансах, плотная упаковка смысло-слово-слогов мастерят моршенковский стихоинструмент «многоголосого пересмешника». Смысловые акценты, неологизмы, метафоры обычно за-

гружают текст, но у Моршена слово, нагруженное до предела, каким-то чудом остается невесомым; напряженность и многозначность разряжаются выводом. Легкая и стремительная конструкция уносит мысль ввысь, и на наших глазах возникает новая готика, новая архитектура стиха. Смысл генетически закодирован в стихах Моршена, он изначален.

В своей лаборатории словотворчества Н. Моршен пользуется всеми методами всех наук, известных ему. Легко и естественно оперирует он своим материалом, оставляя его всегда подвижным. Стремясь объединить философию природы, познания, бытия, прогресса в наивысшей точке их пересечения, он как бы пытается расширить устоявшиеся математические понятия. Тяга Моршена к максимальной точности и ясности выражений в сочетании с употреблением автором научных терминов как бы подводят научный базис под все здание книги, демонстрируя весомый научный потенциал.

В ряде стихов Моршена, особенно в трилистниках, чувствуется глубокая связь автора с лирикой И. Анненского (со стихами «Поэты», «Трилистник шуточный», «Человек», «Сонет»). Обладая великолепным поэтическим здоровьем, тончайшим вкусом и крепкой рукой, Моршен, вскормленный богатейшей русской поэзией, вносит *свое* Слово в русскую поэзию.

Поэт требует от художника — искусства, от поэта — поэзии, от мыслящего — мысли, от жизни — жизнь, от Бога — божественного, и никакого примирения с действительностью, никакого всепрощения, никаких поблажек.

Требуя от читателя не только полноты восприятия, но и высокой моральной чистоты, обостренного чувства ответственности перед современностью, Николай Моршен отдает ему весь мир, возвышает его своей требовательностью, очищает, ставит его во главе Вселенной.

Не был он, в сущности, правдоискателем —
Был он природы восторженным зрителем,
Вот и не сделался бытописателем,
Сердцещипателем, нравоучителем.

В толще безликой был меченым атомом,
В стане наземном — межзвездным лазутчиком,
И подбирал он к замочку залятому
Слово за словом, как ключик за ключиком.

Ирина Вайль

«СТАРЫЕ ГОДЫ»

РУССКИЕ ГОРОДА ДО РЕВОЛЮЦИИ

Воспоминания бывшего городского секретаря

Мои друзья, которым я много рассказывал о давно минувшем, говорили и говорят мне: «Вы должны написать о прошлом, теперь к этому очень большой интерес». Я думаю, что они правы. Как ни интересно настоящее, как оно нас ни захватывает и ни волнует, желание знать прошлое непреодолимо и, мне кажется, за последние годы оно усилилось.

В прошлом мне пришлось ряд лет работать городским секретарем в нескольких русских городах. Моя память со всею ясностью сохранила мои знания и впечатления о быте этих городов и вообще о русских дореволюционных городах, в которых мне приходилось бывать и изучать их хозяйство.

Мне кажется, что эта очень важная сторона общественной дореволюционной жизни малоизвестна.

Мой приезд в Царицын

По окончании университета я решил поселиться в Царицыне. Этот город я выбрал главным образом по той причине, что

* Рукопись получена из СССР. Отрывки из воспоминаний А. П. Маркова (1886-1973) печатаются впервые.

он стоит на Волге, а Волгу я полюбил еще в мои студенческие годы. В Царицын я приехал в 1912 г. и вскоре был приглашен занять должность городского секретаря. Это вполне соответствовало моим намерениям изучать городское хозяйство.

Тогда Царицын был уездным городом Саратовской губернии, но в нем было уже около 100 тыс. жителей и их число быстро увеличивалось. Люди тянулись к Волге, и Царицын все более и более превращался в торговый центр такой примыкавшей к нему огромной территории, как Заволжье; от него шли пути на Кавказ, на Дон.

Работая городским секретарем, я имел возможность хорошо ознакомиться с жизнью этого интересного города и решил написать о нем свои воспоминания, воспоминания о старом Царицыне, каким он был более 50 лет тому назад.

Я приехал в Царицын зимой. Какая грустная картина! Дул ледяной ветер, по улицам носился снег с песком, улицы были пусты. Вышел на Волгу. Мертвая тишина. Широкая белая равнина. Ничего не говорило о летней шумной жизни города.

Поселился я в деревянном домике царицынской мещанки Пелагеи Ивановны, толстой, но очень поворотливой и веселой женщины. Эта природная обительница Царицына была первым моим и достаточно богатым источником ознакомления с городом. Всю жизнь она провела в Царицыне, знала всех сколько-либо известных в городе людей, знала историю миллионеров, пароходовладельцев, лесников, рыбников, мукомолов, купцов.

Свои рассказы о них она неизменно начинала с самообличения: «Господи, прости ты меня, окаянную, а только не люблю я этих наших миллионщиков, сволочи они, разбойники...»

Из вечера в вечер мы долго просиживали за чаем; под шум вьюги я слушал рассказы Пелагеи Ивановны. Что было в них правдой, что выдумкой — сказать трудно. Но важно было мнение рядового царицынского жителя — о царицынских воротах, об истории их обогащения.

По глубокому убеждению Пелагеи Ивановны, чтобы разбогатеть, необходимо первым делом потерять совесть. Она говорила:

— Разве у них есть совесть? И на три копейки ее не найдешь, они все бессовестные. Ох, Господи, хуже всяких раков, что болтаются по пристаням.

Пелагея Ивановна категорически отрицала возможность обогащения от честного труда. Ее суждения о царицынских богачах были весьма суровыми. В качестве доказательства правильности своих оценок она ссылалась на биографии наиболее крупных царицынских богачей.

В первую очередь, она поведала мне о самом богатом человеке в городе, миллионере Репникове, в мануфактурном магазине которого служил приказчиком ее тихий, скромный супруг. Защищая своего хозяина от яростных нападков супруги, он неизменно поучал ее, указывая, что каждый живет так, как ему предназначено. «Теория предназначения» возбуждала глубокое негодование Пелагеи Ивановны.

— Это кто же предназначает? — возмущалась она. — Небось, по-твоему, все от Господа Бога, через отца Михаила идет богатство? Слушать тебя тошно, сил нет. А хотя бы и твой хозяин — толстый дьявол. Церкви все строит. По-твоему выходит, что от усердия колокольни воздвигал, а по-моему, при его-то капиталах церковь построить, прости Господи, раз плюнуть. Ты думаешь, он зря получил награду, крест святого Владимира? За какие такие заслуги? А я скажу: купил он этот крест. Ты думаешь, внес деньги и получай крест? Эх ты, простота. Хозяин твой церковь выстроил, за это ему и Владимира. Выходит, через церковь за орден заплатил. Соображать надо. А теперь ему уважение. Сам губернатор должен ему уважение и честь оказывать. Должен купца сажать в креслы, если он крест повесит... А за что уважать? За миллионы. А они откуда? От папашки. А как папаша наживал капиталы? Потому — бессовестный был. Поедет, бывало, в Москву или в Нижний на ярмарку товар закупать, все склады товаром завалит. А кто цены указывает? Ты, что ли? Хозяин указывает, по своим фантазиям.

Пелагея Ивановна с полным знанием дела говорила о коммерческих махинациях в магазине Репникова: о подсовывании недоброкачественных товаров, о ценах с нарочитым большим запросом и соблазняющих покупателя скидках, об отсутствии

конкуренции между торговцами, зависимыми от монополиста Репникова и т. д.

После Репникова Пелагея Ивановна переходила к другому миллионеру, Серебрякову:

— Хотя бы взять этого, курного дьявола, Гришку Серебрякова. Ой, Господи, да я же помню его сопливым мальчишкой; без порток по пристаням околачивался, арбузы, сукин сын, воровал. А теперь миллионщик, проволоочный завод выстроил, лопатами деньги гребет. А откуда капиталы? Как это так вышло, что был Гришка без порток, а теперь миллионщик? Не от папаши богатого, не от мамыши, не от тетеньки... Откуда? Не иначе, как от воровства. Глазенки у него так и бегают. Как, бывало, пассажирский придет, Гришка уж тут. Зазевался который, Гришка хап чемодан — лови, свисти... Сызмальства воряга. Да такой за деньги человека задушит. Народ не зря болтает — от убийства разбогател, и все шито-крыто. Суда не было. Теперь почетный человек, медальку какую-то ему на ленточке повесили. Только ему обидно: Репников при Владимире, а у Гришки — медалька. Ненавидит он Репникова. Судиться затеяли. Уж который год сутяжничают. У Репникова дом с архитектурой выстроен, может быть, видели, недалеко от вокзала, вроде как дворец? Гришка возьми, да выстрой рядом завод на своих владениях. И началось. Репников на Гришку в суд: так, мол, и так, не могу эксплотировать свое недвижимое имущество, так как рядом первой гильдии купец Серебряков выстроил проволоочный завод с машинами, которые трясут землю, отчего дом может дать трещину и развалиться и жить в нем невозможно. Кроме того, завод оскверняет воздух. Прошу, мол, суд принять во внимание и постановить завод снести и уплатить убытки, так как от дома получаются одни убытки благодаря заводу. Ну, а Гришка свое: не признаю, завод построил на законном основании и на собственные капиталы, а сотрясение земли дому купца Репникова не вредит. И до настоящего времени дом никакой трещины не дал, прошу осмотра дома экспертами. А ежели Репников желает, чтоб завод я снес, нехай одолжит мне капитал для постройки завода на новом месте тогда и будем разговаривать, а теперь прошу в иске отказать.

Теперь до сената дошли, сколько адвокаты денег гребанули с этих очумелых купцов, страсть! Прямо-таки обозлились; в городской думе оба же гласные, как кобели друг на друга насакивают. А домов у этого Репникова... Все большие дома в городе, почитай, его. А тот, что около завода, так и пустует.

В один из вечеров Пелагея Ивановна рассказала мне про купца Ваську Егоркина:

— Ну, скажем, много у нас всяких разбойников, но такой, как Васька Егоркин, — прямо на редкость! Господи, прости мою душу грешную, сняла бы я штаны с этого сукина сына, спустила и порола бы, порола бы... Ведь такой паршивец! С Богом не расстается, церковным старостой состоит, свечи ставит, лампадки зажигает, лампадным маслом мажется, весь елеем провожнял, поклоны бьет перед каждой иконой, в рай лезет, а сам — первейший жулик, каких свет не видел. Иконная у него лавка в торговых рядах. «Я, — говорит, — божьему делу служу, для православных церковную утварь и священные иконы поставляю. От их преосвященства благословением удостоился, заметили мои старания для православной церкви».

— Ах ты жулик! Благословение? А знает ли его пресвященство, архиерей, кому Васька иконы продает и какие иконы? Ну, а мы знаем. Дураков-то нынче не перевелось, хоть пруд ими пруди. Раскольники из разных мест в лавку к Ваське так и ныряют, которые тоже жулики, а которые — по дурости. Слух про Ваську такой, что имеет он иконы древнего письма. А этим бородачам-старообрядцам только и давай иконы такого письма, ничего не пожалеют. Снюхался Васька и с беглыми попами, с разными там начетчиками; они с ним заодно, пускают слух про эти древние иконы. И все вроде как по секрету, из-под полы, а от этого тоже доход.

А откуда иконы древнего письма? Васька брешет, всякие сказки рассказывает. В керженских местах будто бы у него дружки, на Урале, в сибирских лесах, оттуда и идут секретно иконы для надобностей раскольников; которые верят, ну а жулики пользуются простачками. Всегда у него в лавке тайные покупатели, все шопотком. А пошли бы в мастерскую, где у Васьки делаются иконы, поняли бы это древнее письмо! И нашел же мастера этот богомолец, уже как там он мастерит, не знаю,

только подделывает под древнее письмо прямо на удивление, сама видела. На всех святых образа есть, и все с двуперстием. И вроде как старинные. Увидит дурак двуперстие и рад, тут с него и снимай шкуру. Вот оно откуда, богатство! Теперь Васька — почтенный человек, гласный городской думы, а настоящее ему место в тюрьме. Ой, Господи, прости, да ежели по совести разобраться, то в тюрьму надо посадить не одного Ваську.

Пелагея Ивановна обладала самыми обширными сведениями о своем родном городе. Но главное ее внимание привлекали царицынские воротилы, которых она неизменно характеризовала самыми мрачными красками. Эти купцы, лесники, рыбники, пароходовладельцы, как общее правило, были хозяевами и в городском управлении, состояли членами Городской думы, царицынскими «отцами» города. Я их ближе узнал по моей работе городским секретарем.

Царицын того времени был золотым дном. Богатства там создавались быстро, лишь бы было умение, ловкость и отсутствие, как говорила Пелагея Ивановна, совесть.

Надо было мне присмотреться к городу.

В то время в Царицыне почти не было промышленных предприятий. Проволочный завод, несколько мукомольных мельниц, лесопилки в лесном городе. Вот, кажется, и все. Слабое промышленное развитие города было понятным. Царицын был городом преимущественно купцов, рыбников, лесников, скупщиков зерна. Торговля была наиболее простым делом, не требовавшим больших капитальных затрат. В торговле капитал быстро оборачивался, оставляя крупные барыши в купеческих карманах. Кредит в банках легче было получить купцу, чем промышленнику. На южной окраине города был своеобразный лесной город. Улицы пролегали не между домами, а между штабелями досок, бревен и всякого другого лесного богатства. Лес, шедший по Волге с далеких берегов Камы, в большом количестве выгружался на царицынских лесных пристанях, перевозимых в лесной город и отсюда по железной дороге шел на Дон, на Кубань. Тут проходили крупные сделки, наживались большие деньги лесоторговцами. Тут находили труд жители зацарицынской части города.

На севере от Царицына дымил металлургический завод. Но это было особое предприятие, к которому царицынское купечество никакого отношения не имело. Там хозяевами были иностранцы. Завод жил своей особой жизнью.

«Отцы» города, городские управители понимали выгоду для царицынского купечества от развития промышленности. Это давало новых покупателей. Поэтому когда появились предприниматели для сооружения пушечного завода, городская дума охотно пошла на отвод городской земли для строительства.

В первое время моего пребывания в Царицыне я часто бродил по его улицам, заходя на далекие окраины. Какое унылое зрелище! Правда, Царицын не был исключением, так как скука и однообразие были почти общим явлением не только для уездных, но и для губернских городов. Я не увидел в Царицыне ни одного здания, которое привлекало бы взор своей архитектурой. Понятие городской этики было совершенно чуждым строителям домов в городе. Здесь строили доходные дома без заботы об их внешнем виде. Царицын был городом по преимуществу скучных деревянных домишек, неширокой полосой тянувшихся вдоль Волги. Лишь в центральной части были кирпичные здания. Помню, что около недостроенного собора торчало несколько жалких деревьев, о которых никто не заботился. Был еще маленький замызганный скверик. За городом на западе, севере и юге была степь. По улицам гуляли ветры, поднимая пыль. И зима не спасала от этой пыли — но уже со снегом. А зимы были суровые, холодные.

Каков был социальный облик города? Чем занималось его население? На этот вопрос ответить довольно трудно. В период навигации все как-то прояснялось, люди жили около Волги, а зимой население как будто бы пряталось в этих небольших, серых деревянных домишках. Можно сказать, что преобладающая часть обитателей могла быть отнесена к так называемому мещанству, этой наиболее темной категории населения дореволюционных русских городов. Этим, между прочим, объясняется необычайная популярность в Царицыне «батюшки Иллиодора».

Была ли в Царицыне интеллигенция? Были врачи, адвокаты, преподаватели мужской и женской гимназий, торговой школы, музыкального училища. Но культурной жизни в городе не было. Не было ни театра, ни концертных зал. Открылся какой-то маленький кинематограф, тогда дело новое, где показывали, как Чаплин катается на коньках; публика умирала от хохота.

В Царицын не заглядывали артисты, ни певцы, ни музыканты. Выходило две газеты: «Царицынский Вестник» и «Царицынская Мысль». Первую издавал какой-то мрачный злой старик, а помогал ему какой-то вечный студент. Говорили, что эти два лица и умудрялись «делать» газету. Какого направления была газета? Пожалуй, никакого направления у нее не было. Упомянутый старик выпускал газету, чтобы иметь какой-то доходишко.

Издателем второй газеты был адвокат Федоров. Весь город знал этого адвоката. Часто его можно было видеть пролетающим по улицам в легком, блестящем лаком экипаже на резиновых шинах. Карим рысаком правил толстый кучер, одетый, и как полагалось кучерам, а сам адвокат, сытый, самоуверенный, гордо восседал в экипаже. Чувствовал он себя в городе как бы хозяином. Он вел дела банков, купцов, был городским юрисконсультom, и каждый день можно было видеть около городской управы двух рысаков Федорова и городского головы, которому полагался собственный выезд. Но он был более скромный, чем у городского юрисконсульта.

Федоров кадетствовал, и «Царицынская Мысль» претендовала на орган либерального склада. Но, в сущности, газета не была ни правой, ни левой, а, скорее, серой; она больше занималась городскими делами. В тот период, когда Федоров был городским юрисконсультom, деятельность управы одобрялась; когда же он разругался с городским головой и ушел с городской службы, газета стала ругать управу и издеваться над городскими гласными.

«Вестник» и «Мысль» яростно враждовали между собой.

Полемика была пустяковой, но редакторам казалось, что они ведут принципиальную идейную борьбу во имя различных политических принципов. «Мысль» причиняла прежнему адво-

кату большие убытки, но Федоров их покрывал. Газету он издавал для поднятия и сохранения своего престижа.

Читателей занимала грызня между собою двух газет. Они хихикали:

— Читали, как адвоката поддел старикашка из «Вестника»?

— Вы смотрите завтра, что отмочит адвокат. Потеха...

Единственной общественной организацией в городе был профессиональный союз приказчиков.[...]

В описываемое время (1912 год.) городским головою в Царицыне был доктор, барон Остен-Сакен, местный домовладелец. Как вышло, что царицынские гласные, купцы, выбрали головой прибалтийского барона?

Появление барона на должности царицынского городского головы объяснялось довольно просто: гласные не могли между собою договориться, кого из своей среды посадить головой. Долго шумели, ссорились и решили вопрос так: пусть будет не по-вашему и не по-нашему, выберем барона, нехай орудует, а там поглядим. Ну и выбрали.

Остен-Сакен хотя и был гласным и весьма аккуратно посещал собрания Городской думы, но ничем, кроме этого, не проявил интереса к городским делам. Сделавшись головой, он прежде всего выказал чисто немецкую аккуратность: ровно в девять часов утра его экипаж останавливался у неприветливого дома, где помещалась городская управа. Он не уезжал из управы ранее двух часов. Другой его чертой была боязнь губернатора и городских гласных. Он боялся принимать решения даже по самым незначительным городским делам, предпочитая передавать их на решение думы.

Некоторые гласные были этим недовольны:

— И чего он все боится? Всякую мелочь сует на решение думы. Копаемся мы тут в пустяках, время проводим. А он все свое — что ни доклад, то с одним концом: управа передает на решение думы...

Мирно и тихо шла жизнь в городской управе. Собирались

часам к девяти утра, в одиннадцать-двенадцать пили чай и закусывали, а там еще два часа — и по домам. В летние дни, когда начинался лов рыбы, в комнате секретаря управы Николая Прокофьевича было постоянное оживление. Оно возрастало при приближении субботы, когда, во главе с секретарем, сбивалась группа для поездки за Волгу, к озерам, на рыбалку.

В субботу вообще не занимались и от посетителей отбивались, как от назойливых мух; не до них было. Обсуждали, куда ехать, что взять, кто на каких местах сядет с удочками...

Ждали с нетерпением, когда пробьет два часа и стремительно неслись со всеми уже принесенными с собою в управу припасами к пристани на баржу. На левый берег Волги ее тянул маленький пароходик. На баржу набивалось много народа. Все торопились на озера, за Волгу. Лес из удилищ сплошь покрывал палубу. В понедельник рыболовы прямо с пристани возвращались в управу. И опять было не до работы — шли разговоры о том, как прошла рыбная ловля, какие были удачи и неудачи. Шли разговоры в понедельник, продолжались во вторник, а там, глядишь, и неделя кончается, опять разговоры и подготовка к субботе.

Секретарь управы, Николай Прокофьевич, был главным организатором рыбных походов, наиболее компетентным советником по рыбной части. Он был изобретателем особой шляпы с сеткой от комаров, мучивших рыболовов. Эту шляпу он демонстрировал в управе, постоянно ее модернизируя. Конструкция шляпы была довольно сложной, но рыболовы утверждали, что противокомариная шляпа все-таки не была вполне надежным сооружением против нападения злых заволжских комаров.

Главным занятием Николая Прокофьевича в управе было составление систематического перечня постановлений Городской думы.

— Николай Прокофьевич! — спрашивали секретаря. — На кой черт вы трудитесь над этим перечнем? Кому это нужно? Можно подумать, что дума — это какой-то парламент...

— Как кому? А вот встретится надобность в справке — было ли, мол, такое постановление или не было? Сейчас в справочник. Вот и польза. И для истории города. Опять тоже поучительно.

И Николай Прокофьевич трудился, сидел над перечнем думских постановлений, составлял алфавит.

Дума заседала довольно часто. Но редко на повестке стояли большие вопросы. Заполняли повестку все мелкие городские делишки: об утверждении торгов на торговые помещения, о продаже строительных участков, о прекращении судебных дел против захватчиков городских земель, о покупке новой лошади для пожарного обоза, о ремонте школы... Шли в управу горожане — шли захватчики с просьбами оставить их на захваченных землях, шли торговцы с жалобами на то, что текут крыши в городских торговых помещениях. Редко поднимались в думе и в управе большие дела. Жили постаринке, по-заведенному, занимались маленькими городскими делишками.

Городские дела и делишки

Обсуждение городского бюджета было важнейшей и наиболее длительной работой Городской думы. Оно было своего рода критическим обзором городского хозяйства, политикой и нередко вызывало большие споры между гласными.

Сумма городских расходов была невелика. Налю принять во внимание, что в это время в Царицыне было до 100 000 населения. На все народное образование тратилось 74 тысячи, т.е. меньше рубля на единицу населения, а из них на начальное образование — 29 тысяч. Расходы на полицию namного превышали городские расходы на начальное образование.

На медицину тратилось всего 15 000 руб., т.е. приблизительно 15-20 коп. на единицу населения.

В то время Царицын был местом, где всегда была опасность появления холеры. Волжские пристани в летнее время были полны людем, работающим на берегу и передвигающимся по Волге вверх и вниз. На пристанях не было ни одного лечебного учреждения. Питание рабочего люда было самым примитивным: волжская селедка, летом — арбуз, хлеб и волжская мутная, загрязненная нефтью вода. Городским врачам с великим трудом удавалось добиваться сооружения необходимейших лечебных учреждений. Я вспоминаю их борьбу за открытие в городе родильного дома.

— Это для какой же надобности родильный дом? — поставил вопрос гласный Васька Егоркин после прочтения по этому вопросу доклада управы. — Обходились без него и обойдемся. Бог милостив, рожают наши бабы, не умирают, а отечество наше, слава тебе Господи, народом богато. Все это выдумки, а, кроме того, акушерки и доктора есть; иной раз бабки любому доктору укажут, как и что... Я возражаю. Дело это ненужное.

Никакие доводы не могли убедить гласного Егоркина в целесообразности и необходимости постройки родильного дома. Он долбил свое:

— Народ произрастает, все в руках Божьих... Так изначала заведено — «в болезнях родити чада».

Даже гласный трактирщик Ефимов не выдержал:

— Да буде тебе все от писания, задолбил свое: «в болезнях». Не про это разговор. Уймись!

Кое-как все же провели смету на постройку родильного дома, единственного в городе с небольшим числом кроватей.

Расходы на полицию обсуждению не подлежали. Тут «по закону», что положено, то и давай. Втихомолку гласные ворчали:

— На нашей шее дармоеды висят. А какой толк? Нам-то никакой пользы от околодочных и приставов. Только давай, на новый год давай, на Пасху давай. А разве мы хозяева над полицией? Нас не спрашивают!

В некоторых городских делах гласные разбирались слабо. Как, например, было разобраться в медицинском деле, где фигурировали всякие там медикаменты?

А вот пожарное дело — близкое и понятное. Царицынская пожарная команда во главе с бравым брандмайором блистала до отказа начищенными касками, лошади были сытые, и пожарный обоз держался в полной исправности. С грохотом, полным карьером неслись пожарные по улицам города и, казалось, налетит эта сила на горящий дом и сразу победит стихию огня. Но, увы, все это происходило далеко не так. Зацарицынская часть, за немногими исключениями, была деревянной, и не успевала пожарная команда прибыть на место, как костер охватывал домишки, и огонь при царицынских ветрах быстро перебрасывался на соседние постройки.

Особо опасным в этом отношении местом был лесной город.

Но улучшением противопожарных средств дума не занималась. Рассуждали: «Все равно будем гореть».

— Загорелся Илья Панкратьевич, все дочиста подобрало, — говорили горожане по поводу пожара на лесных складах одного из лесников. — Ну, ему самое время. Закрутился человек, в прошлом годе у него баржа с лесом занялась, все дотла. А была не застрахована. Нынче тоже опять с поставками вышла у него канитель, купцы с Дона шубу вывернули. А банки жмут, вот и...

— А Бог его знает. Может, и в самом деле само загорелось или там кто из рабочих огня подсунул.

— Что говорить, нынче народ пошел. А то и по пьянке. Ему што, хозяйское, кабы его, тогда глядел бы.

— Но, однако же, страховку-то Илья Панкратьевич схапал и сухоньким из воды выбрался.

— Ну, с кем беды не бывает. Иной раз и пожар во спасение. Теперь, может, человек и на ноги станет, а то ведь хоть в петлю.

— Что и говорить.

— Это правильно. Через пожар опять в благополучие войдет. Дай ему, Господи, мужик-то, прямо сказать, делец, только рисковат, иной раз сломя шею лезет.

— То-то, что рисковат. Жаден. В миллионщики больно охота выйти. Вот и загорелся.

В Городской думе такие разговоры не велись. Там больше докапывались насчет... овса. В этом деле гласные были специалистами. Брались за карандаши, высчитывали: столько-то лошадей, каждой по столько-то гарнцев овса, выходит...

— Что-то много овса, Николай Иванович, у тебя выходит, — говорили гласные члену управы, заведующему пожарной командой. — Лошади уж больно прожорливы.

— Да, не я же овес ем! — отшучивался член управы.

— Овес можно жевать по-разному, Николай Иванович. При охоте один человек может съесть овса больше, чем весь обоз. Надо бы расходы на овес приуменьшить.

Надо или не надо было сокращать расходы на овес, но гласные были убеждены, что член управы и брандмайор крадут. Впрочем, члену управы это в особую вину не ставилось.

— Ну, кое-где и перехватит. Капиталов-то у него — вошь на

аркане, а жить хочется. Опять-таки обоз у нас, хоть прямо в столицу — звери-лошади.

— Это что и говорить, умеет товар подать, молодчага.

— Любитель по лошадиной части!

И смета на пожарный обоз проходила.

Царицынский Илиодоровский монастырь

В жизни Царицына в годы моего там пребывания большую роль играл местный монастырь и его игумен иеромонах Илиодор. Илиодора знали не только в Царицыне. Известность иеромонаха была значительно шире. Поговаривали, что он конкурент Гришке Распутину у царского престола.

Мне пришлось достаточно хорошо знать этого неистового иеромонаха. Из Новочеркасской семинарии, где я учился, за два года до моего окончания был направлен в Духовную академию сын станичного дьячка Сережка Труфанов. Этот самый Сережка Труфанов впоследствии и превратился в иеромонаха Илиодора. В семинарии его ненавидели товарищи, а ректор подчеркивал к нему свое особое расположение. Сережка избрал для себя роль обличителя несчастных семинаристов.

Он нередко влетал в гардеробную, где семинаристы, устроившись на сундучках и чемоданах, бились в карты, а случалось и выпивали. Он обличал:

— Вы, будущие иереи, вы предаетесь блуду, порокам, вы служители не перед престолом Божиим, а маммоны! На него кричали:

— Уходи, Сережка! Уходи от греха. Запомни: следуем мы по стопам праотца нашего Ноя, следуем по стопам отцов наших иереев, диаконов и дьячков... Иди и предавайся зубрежке, дабы кончить первым и с благословения его высокопреподобия, отца-ректора Донской духовной семинарии, протоиерея Митрофана Васильевича Симашкевича очутиться на берегах Невы, в Александро-Невской лавре, в Духовной академии. А нас оставь, брат Сергей, гордость богословской науки, послушания и прилежания!

Ребята потешались, а Сережка плевал в сторону игроков и с криком: «богохульники!» — исчезал.

Семинаристов последнего класса посылали по церквям произносить проповеди, текст которых просматривался ректором. Самые лучшие из проповедников произносили проповеди в семинарской церкви. Делалось это по указанию самого ректора. Сергей Труфанов одним из первых удостоился такой чести. Семинаристам было известно, что Сережка ухитрился в свою проповедь на евангельский текст включить и политику с ругательствами по адресу революционеров. Однако, ректор счел нужным эту часть исключить. Но он запомнил рвение своего любимого ученика. Сережка начинал проповедь, осенив себя широким крестным знамением.

— Ох, и сволочь же, — шептал стоявший рядом со мною семинарист, — черт его знает, может быть, и в Бога не верит этот прохвост.

Начав проповедь, Сережка быстро переходил в истерику, которая потом, в Царицынском монастыре, доводила до иступления и припадков поклонниц молодого игумена.

Сережка кончил семинарию первым и был послан в академию. Уже на первом курсе он принял монашество. Ему очень шла черная ряса монаха. Он стал играть под аскета и подвижника. Уже одно то, что студент тотчас же облачился в монашескую рясу, привлекало к нему внимание и возбуждало интерес.

Иеромонах Иллиодор далеко не случайно выбрал именно Царицын для выполнения обдуманного им на студенческой скамье плана постройки своего собственного монастыря. Он знал, что в городе есть богатые купцы, что население Царицына — это по преимуществу темное мещанство и пришлый люд, и что население города быстро растет. Купеческая Городская дума отвела место для постройки. Для купцов-городских гласных воздвижение монастыря в городе было делом выгодным. Монастырь привлечет богомольцев, богомольцы будут и покупателями. Средства на постройку монастыря были собраны. Их жертвовали молодому монаху богатые купчихи. Надо думать, что помогли и из Петербурга.

Иллиодор выступил на политическую арену не только как обличитель революции, но и как покровитель и защитник страждущих и обремененных. Самодержавие, православие, народность были лозунгами монаха. Им он обещал райское бла-

женство за верное служение престолу, «Богом помазанному императору».

В монастырь потянулся темный люд. Шло царицынское мещанство, шли царицынские купчихи. Заглядывали к Иллиодору и купцы, побаивавшиеся монаха. Нередко он обличал купечество в «нерадении» к престолу, в служении «маммоне». Купцы откупались деньгами. Иной раз Иллиодор не стеснялся называть «нерадивых» по именам. Неровен час — попадешь в неприятность — так что откупались.

Истерические проповеди Иллиодора докатывались и до Петербурга. Оттуда все чаще и чаще стали наезжать высокопоставленные дамы, искавшие у батюшки «духовной пищи» и поверившие в силу новоявленного проповедника, обличавшего революцию. В Царицыне говорили о приездах каких-то княгинь, каких-то важных особ, близких к царю. Толпы поклонников Иллиодора росли. В одно из воскресений я зашел в церковь царицынского монастыря. Несмотря на ясный день, в церкви был полумрак. Иллиодор произносил проповедь. Он стоял на высокой кафедре, воздвигнутой около одной из стен. Свет от ярко горевшей свечи падал на его лицо, подчеркивая острые черты, большие глаза. С кафедры неслись проклятия революционерам. В исступлении проповедник почти визжал. Молящиеся, среди которых преобладали женщины, истово крестились, шептали «прокляты, прокляты». Толпа была в каком-то исступлении, страшная.

В летнее время Иллиодор устраивал со своим «духовным стадом» религиозные прогулки по Волге. Он нанимал пароход с баржой. В воскресные дни после службы и очередной истерической проповеди толпа, где преобладали женщины, выходила из монастыря с хоругвями и иконами под предводительством Иллиодора и направлялась к Волге.

Улицы, по которым проходила иллиодоровская толпа, пустели. Иллиодор вел себя, как полный хозяин в городе. Если на пути шествия попадались какие-либо интеллигенты, Иллиодор плевал в их сторону, чему следовали и многие из его «стада»

Наконец, толпа погружалась на баржу, пароход отваливал от пристани и с Волги доносилось пение: «Спаси, Господи, люди твоя»

Все чаще и чаще Иллиодор ездил в Петербург; эти его путешествия, организуемые с шумом, с торжественными проходами, с хоругвями и иконами, возбуждали толпу, увеличивали слухи о таинственной миссии Иллиодора, которого вызывает к себе «сам батюшка царь»: «Опять поехал наш батюшка в столицу, государь с государыней вызывают. Вот он какой, наш батюшка, к самому царскому престолу приближен. В гору идет батюшка».

Царицынское духовенство не любило Иллиодора, но боялось. Жаловались в Саратов, саратовскому архиепископу, которому Иллиодор был подчинен. Иллиодор, однако, «возгордился», «не подчинился увещаниям» своего начальства и в лице саратовского архиепископа, влиятельного в Петербурге, приобрел себе врага.

Приближались выборы в Четвертую Государственную Думу. Иллиодор решил туда пробраться. По своему положению он зачислялся во Второй съезд городских избирателей города Царицына.

Надеясь на покровителей из Петербурга, Иллиодор не испросил благословения своего владыки, саратовского архиепископа.

Царицынские батюшки, которые пакостили Иллиодору и посылали на него в Саратов донос за доносом, испросили у архиепископа благословения выставить кандидатом в Думу благочинного, служившего в одной из царицынских церквей и приобретшего популярность в качестве видного деятеля Союза Русского Народа. Благословление от владыки было получено.

Побуйствовав в стенах своего монастыря, Иллиодор не рискнул, однако, устроить собрание избирателей в самом городе, струсил. Не решился он показаться и на находившемся вблизи Царицына металлургическом заводе.

Батюшка на выборах в Царицыне провалился. Провалился, впрочем, и отец благочинный. Избиратели голосовали в своем большинстве за кандидата, выставленного царицынским обществом приказчиков, единственного, кажется, в городе профсоюза того времени.[...]

Появление А. Ф. Керенского

Рассказывая об Иллиодоре, я упомянул о выборах в Царицыне в Государственную Думу.

Перед тем, как рассказать о выборах депутатов в Саратове, следует напомнить об одном крупнейшем событии, происшедшем в 1912 г. Я имею в виду расстрел 4 апреля мирной рабочей демонстрации в Бодайбо на золотых Ленских приисках, принадлежавших английским предпринимателям. Тогда было убито 270 человек и ранено 250. Это событие взволновало всю страну и, в первую очередь, разумеется, рабочих.

В Царицыне Ленский расстрел не вызвал какой-либо видимой реакции. Ни митингов, ни забастовок, ни демонстраций не было. Но он нашел отражение во время выборов думских депутатов в Саратове. Каким же образом?

На этом процессе в качестве защитника интересов рабочих выступил молодой петербургский адвокат А. Ф. Керенский. О процессе писали во всех газетах, и имя А. Ф. Керенского приобрело известность, которую тот решил использовать для своей политической карьеры.

Выборщики, собравшиеся в Саратове для выбора депутатов в Думу, за немногими исключениями друг друга не знали и еще меньше знали, к каким партиям кто склоняется или принадлежит. Но как-то вышло, что выборщики поделились на две группы: правую и левую. Это было очень условным делением. Кто были левые? Сюда входили люди разных взглядов — от кадетствующих до некоторого количества социалистов разных толков. Но об этом можно было судить лишь в частных беседах, так как на собраниях групп не обсуждались и не излагались какие-либо партийные программы.

Правильнее было бы назвать эти две группы — прогрессивная и правая. Правых было больше, чем прогрессистов, но определить заранее число голосов тех и других было невозможно.

По закону один депутат от губернии обязательно должен был быть от второго съезда городских избирателей. У правых

таких кандидатов не было. Они были только у прогрессистов, к которым примыкал и А. Ф. Керенский. Молодой петербургский адвокат, он прошел выборщиком от Второго съезда городских избирателей в небольшом волжском городке Вольске, где он квартировал. Прогрессисты сошлись на его кандидатуре. Говорили, что он принадлежит к очень небольшой партии умеренных социалистов, именовавшихся народными социалистами. Социалистом-революционером он себя тогда не называл. Однако, решающим было то обстоятельство, что А. Ф. Керенский в качестве адвоката участвовал в судебном разбирательстве событий на Ленских приисках.

От саратовских встреч с А. Ф. Керенским у меня остались не особо приятные впечатления. В памяти сохранилась фигура человека с ежиком на голове, который все время суетился, проявляя большое волнение. По правде говоря, глядя на эту беготню А. Ф. Керенского; мне было противно, противна была его несдержанность, нескрываемый аппетит обязательно стать депутатом. Керенский добегался и досуетился до того, что при баллотировании своей персоны проголосовал против себя, т.е. положил шар налево, о чем громогласно и заявил выборщикам: «Господа, позвольте вас заверить моим честным словом, что по ошибке я положил шар налево, поэтому кого-либо из выборщиков, еще не голосовавших и имеющих намерение голосовать против меня, я прошу опустить шар за мое избрание».

До сих пор я отлично помню эту сцену, героем которой был будущий Председатель Совета Министров.

А. П. Марков

(продолжение следует)

РОМАН ГУЛЬ

ЛЕДЯНОЙ ПОХОД

КОРЕНОВСКАЯ

Тихое ясное утро. Мы вышли из Малеванного. Усталые от боев и переходов, все хотят только одного — отдыха. Идем степями. Скоро Кореновская. Где-то протрещали одинокие выстрелы.

К командиру полка подъехали какие-то конные, что-то докладывают. И сразу облетело всех: Кореновская занята большевиками. Вместо отдыха — опять бой.

Мы уже цепью идем по степи. Рвутся их снаряды, уходят наши. Они пристрелялись — шрапнель рвется на уровне человеческого тела и немного впереди цепей. Лопнет белое облачко и как придавит цепь — все падают. Сзади стон, кто-то ранен. Сестра повела его под руку. Еще кто-то упал. Чаще со злым визгом рвутся шрапнели, чаще падают идущие люди. Уже свистят пули, захлопали пулеметы. Мы залегли, наскоро окапываясь руками, а над нами низко, на аршин от земли, с треском, визгом лопаются шрапнели, и маленькое густое белое облачко расходится в большое, легкое и подымается вверх.

Вот захлопал вдали пулемет. Вот снопом долетают пули, визжат, визжат, визжат, ложатся впереди: ближе, ближе поднимается от них пыль, как будто кто-то страшный с воем дотягивается длинными щупальцами. Цепь прижимается, вжимается в землю: «в голову, в голову, сейчас, сейчас...». Пулемет не

дотянулся, перестал. Его сменил треск двух шрапнелей и вслед за ним из второй цепи донеслось жалобное «ой, ой, ой...»

Все осторожно поворачивают головы. Раненого видно сразу: он уже не вжимается в землю и лежит не так, как все. Кто-то ранен там, где лежит брат. Неужели он?

— Кравченко, — кричу я шопотом моему соседу, — узнай, ради Бога, кто ранен и куда!

Кравченко не оборачивается. Мне кажется, что он умышленно не слышит. «Кравченко!» — кричу я громче. Он мотает головой, спрашивает следующего:

— В живот, — отвечает мне Кравченко.

— Кто, спроси, кто!

Доносятся жалобные стоны. Я оборачиваюсь. Да, конечно, брат лежал именно там. Я уверен. В живот, стало быть, смертельно. Чувствую, как кровь отливает от головы. Путаюсь, летят мысли, громоздятся одна на другую картины: вот я дома, вернулся один, брата нет, встречается мать. «Та-та-та-та» — строчит пулемет, около меня тыкаются пули. Оглушительно рвется шрапнель, застилая облаком.

— Лойко ранен! — кричит Кравченко.

Лойко. Слава Богу, стало легко. И тут же проносится: какая сволочь человек, рад, что Лойко, а не брат, а Лойко ведь сейчас умирает, а у него тоже и мать, и семья.

— Тринадцать! Часто! — кричит взводный Григорьев. Я не понимаю. В чем дело? А он часто щелкает затвором, стреляет, стреляет.

— Что же вы не стреляете? Наступают же! — кричит Григорьев, и лицо у него возбужденное, глаза большие. Я смотрю вперед: далеко, колыхаясь, на нас движутся густые цепи, идут и стреляют. «Как же я не заметил, — проносится у меня. — Надо стрелять, затвор плохо действует, опять не почистил». Кругом трещат винтовки.

— Отходить! — кричит кто-то по цепи. Что такое? Почему?

Все встают, отступают, некоторые побежали.

Отступление! Проиграли!

Но куда же отступать? Некуда ведь! Я иду, оборачиваюсь, стреляю в черненькие фигурки, иду быстро, меня обгоняют.

Смешались! Как неприятно...

— Кучей не идите! — кричит кто-то. Сзади роем визжам, несутся пули, падают кругом, шлепая по земле. Неужели ни одна не попадет в меня? Как странно, ведь я такой большой, а их так много. Смотрю вправо, влево — все отступают. «Куда же вы, господа! — раздаются крики. — Стойте, стойте!» Раненого Лойко бросили, он полз, но перестал... вот уже скоро наша артиллерия...

Сзади черненькие фигурки что-то кричат, интересно, какие у них лица, ведь тоже — наши, русские... наверное, звери...

— Стойте же, господа! Стойте, вашу мать! — кричат чаще. Кое-где останавливаются отдельные люди, около них другие, третьи.

Цепь неуверенно замедляет шаг. Все равно — ведь отступать некуда, лучше вперед, будь что будет.

— Вперед, братцы! — раздаются голоса. Двинулись вперед одиночки, группами. Крики ширятся: «Вперед, вперед!» Вся цепь пошла. Даже далеко убежавшие медленно возвращаются.

Что-то мгновенно переломилось. Так же свистят пули, так же густо наступают черненькие фигурки, но мы уже идем на них, прямо на них. Ура!.. ура! И вправо и влево, вся цепь идет вперед, выстрелы чаще, крики сильней: «Ура! Бей их... мать! Вперед!»

Пошли, все пошли — быстро. Лица другие — веселозверские, радостные, раскрасневшиеся глаза блестят. Сходимся. В штыки. Все равно... вперед! Ура! Ура!..

Почему же они не близятся? Остановились? Черненькие фигурки уже не кричат, встали, толпятся, дрогнули. «Отступают! отступают!» — громово катится по цепи. И все бросились бегом, стреляют, бегут, штыки наперевес, лица радостные: «Ура! Ура!»

Вот пробежали наши окопчики. Бежим вперед. Ничто не страшно. Вон лежит их раненый в синей куртке, наверное, матрос. Кто-то стреляет ему в голову, он дернулся и замер. Впереди черненькие фигурки бегут, бегут, бросают винтовки. Вот уже их окопы. Валяются винтовки, патронташи, хлеб. Какая стрельба! Ничего не слышно. Кричат: «Прицелы! Десять! Восемь! На мост! На мост!»

Мы бежим влево, на железнодорожный мост. Мост обстреливается пулеметом, но мы с братом уже пробежали его, сбежа-

ли с насыпи. Под ней, вытянувшись, лежит, весь в крови, черный бледный солдат, широко открывает рот, как птица.

«А, сдыхаешь, сволочь! — проносится у меня. И тут же: «Господи, что со мной?» Но это мгновенье. Все забылось. Мы бежим вперед. Ттрах! Что такое? С поезда бьют на картечь. Кто-то упал и страшно закричал. Но это ничего. Надо только вперед.

Вперед — некуда, уткнулись в реку. Черт возьми! Зачем мы пошли на мост! Надо назад! Ттрах! Взрыв! Удар! Все кругом трещит. С поезда бьют на картечь! Опять упали раненые. «Господа, назад! Идти некуда!» Бежим назад. Взрывы! Триск! С поезда бьют часто, оглушительно.

На полотне наш пулемет, за ним прижалась прапорщик-женщина Мерсье, стреляет по поезду и звонко кричит: «Куда же вы?! Зачем назад!»

Страшный удар. Убило бегущих пулеметчиков. Стонут лежащие раненые: «Возьмите, возьмите, ради Бога, господа, куда же вы?» Одни быстро проходят мимо, как будто не замечая. Другие уговаривают: «Ну, куда же мы возьмем, мы идем на новые позиции». «Христиане, что ль вы?!» — надтреснуто кричит большой раненый корниловец.

— И правда, возьмем, господа?

Берем вчетвером на щит, тяжело нести, он стонет, нога у него раздроблена: «Ой, братцы, осторожно, ой, ой!» Отнесли к будке, сдали сестре.

— Господа, надо найти кого-нибудь из начальников.

— Здесь, на будке, ген. Марков, сходите.

Иду. На крыльцо выходит ген. Марков в желтой куртке по колено, в большой текинской папахе, с нагайкой.

— В чем дело?

Докладываю.

— Зачем же вы зарывались, на мост лезть совсем не было надобности. Передайте, что положение прочное. Станица уже за нами. Бой идет по железной дороге. У вас есть старший, пусть ведет вас к вашим цепям. Догоняйте их.

Мы перерезаем поле, идем по улице станицы. Вышли из боя — на душе стало мирно, хорошо. Возбужденность, подъем мгновенно исчезли. На смену им пришла мягкая, ленивая усталость, желание отдыха. Не хочется идти опять в бой, в шум, в крики, в выстрелы.

Уже вечереет. За станицей молчаливо, понуро стоят наши батареи. «Куда корниловцы пошли?» — «Вот так». Нашли свою роту. Она лежит в цепи, примыкая флангом к полотну железной дороги. Легли и мы. Тяжелая, равнодушная усталость вяжет тело. Не хочется ни стрелять, ни наступать, ни окапываться. Хочется отдохнуть.

А пули свистят. Видны большевистские цепи и далеко на полотне их бронированный поезд. Вяло трещат винтовки. Но вдруг по цепи пролетела суeta. Поезд наступает! С белым вздрагивающим и расплывающимся над трубой дымком поезд увеличивается, увеличивается. Цепь нервничает. Люди встают. Отступают. Уже отошли за будку. А поезд придвигается все ближе, ближе...

Приказ: в атаку на поезд. Усталость сковывает тело. Как не хочется идти в атаку. И что мы сделаем?

А поезд близится, с него стреляет пулемет

— В атаку! Ура!

Цепь неуверенно двинулась. Несколько человек быстро идут вперед, остальные вяло двигаются с винтовками наперевес.

— Вперед! вперед! — Пошли быстрее. Выравниваются, кричат. Пошли...

Вот мы уже недалеко от поезда. С него вихрем несутся пули.

Что это?! Кто меня ударил по ноге. Какая боль! — Я покачнулся, схватился за ногу... Кровь... ранен...

Недалеко, согнувшись, бежит брат, кричит «ура». Надо сказать ему.

— Сережа! Сережа! — Не слышит...

Я опираюсь на винтовку, тихо иду назад к будке. Сзади летят, жужжат пули. «Сейчас еще раз ранит, может быть, убьет», — проносится в голове. Нога ноет, как будто туго перетянута.

На будке одна сестра. Около нее сидят, лежат, стоят раненые.

— Сестрица, перевяжите, пожалуйста.

— Сейчас, сейчас, подождите, не всем сразу, — спокойно отвечает она. — Вот видите, на позиции я одна, а все сестры где? Им только на подводах с офицерами кататься.

Сестра перевязывает и ласково улыбается: «Ну, счастливчик вы, еще бы полсантиметра и кость». Нога приятно стяги-

вается бинтом. Меня под руки ведут, в станицу. Уже легли сумерки. По обсаженной тополями дороге ведут, несут раненых. Вдали стучат винтовки, пулеметы, ухает артиллерия.

На площади, в училище — лазарет. Помещение в несколько комнат завалено ранеными. Тускло светят керосиновые лампы. В воздухе висит непрекращающийся стон, нечеловеческий, животный.

— Уууу-оой-айааа...

— Сестра, куда раненого положить? — спрашивают приведенные меня.

— Ах, все равно, все комнаты переполнены, — отвечает быстро проходящая сестра.

Я лег. Пол завален людьми. Стоны не прекращаются. Тяжело. Болит нога. Засыпаю в изнеможении.

Чуть брезжит свет, ползет в окна. В комнате те же крики, стоны.

— Сестра, воды! Сестра, перевяжите! Сестра, я ничего не вижу! Не вижу, сестра! Доктора позовите, умоляю! — кричит толстый капитан. У него пуля прошла через височные кости и он ослеп.

Две сестры и пленный австриец вытаскивают кого-то из комнаты. Руки волочатся по земле, голова свернулась. «Осторожней, осторожней» — стонут раненые.

— Кого это?

— Корнет Бухгольц, умер ночью.

Умерших за ночь выносят, на их место приносят новых раненых.

— Что же это такое... У меня шесть дней повязки не меняли! Сестра? Сестра! — полумычит раненый в рот юнкер.

Рядом со мной лежит кадет лет шестнадцати.

У него разбита ключица, он тихо зовет доктора, сестру, но его никто за общим стоном не слышит.

Три сестры не успевают ничего сделать. Старые раны гноятся, перевязки не переменены, серьезные ранения требуют доктора. Докторов почему-то нет, а в лазарете их восемь человек. Кому же пожаловаться? Только Корнилову.

Я пишу его адъютанту: «Любезный В. И! Я ранен — лежу в

училище. Считаю своим долгом просить Вас обратить внимание генерала на хаос, царящий в лазарете. Тяжелораненым неделями не меняют перевязок, раненые просят доктора — докторов нет...».

Раненый в лицо прап. Крылов понес записку. Штаб недалеко от училища, и не прошло 15 минут, как в дверях нашей комнаты появилась гневная фигура Корнилова. Около него заведующий лазаретом, старший врач. Корнилов что-то говорит, резко жестикулируя. Видно, что он негодует.

Подпор. Долинский подходит ко мне: «Я передал вашу записку, и вот видите, уже разносит».

УСТЬ-ЛАБА

В Кореновской против нас сражалось до 14 тысяч большевиков под командой известного Сорокина. Выбитые из нее, они сосредоточились в ст. Платнировской, следующей по железной дороге, и ждали нашего наступления. Неожиданно для них мы свернули на Усть-Лабу.

С раннего утра на площади стоят запряженные подводы. Около них суетятся сестры. Выносят раненых, укладывают, укрывают тряпками, одеялами, купленными в станице. Уже прошли строевые части. Со скрипом тронулись одна за другой подводы. Стонут тяжелораненые.

По степи за станицей лентой изогнулся обоз. Тихо. Спокойно. Но вот сзади донесся далекий треск ружей, неприятно разорвав тишину степи. Смолкнет и опять затрещит.

Раненые волнуются. «Что такое в арьергарде? Что такое?» — спрашивают бледные взволнованные лица, приподымаясь с телег.

Обоз тихо движется. Уже середина дня, а бой в арьергарде не прекращается. Напротив, стрельба стала как будто ближе, чаще, настойчивее. Впереди гроыхнуло орудие, вспыхнули дальние разрывы, затрещали ружья и пулеметы. Авангард столкнулся с большевиками под Лабинской.

Обоз встал, раненые поднимаются с подвод.

— Сестра, узнайте, почему обоз стал, сестра!

— Разве вы не слышите, под Лабинской бой идет, вот и стал.

Впереди и сзади трещат выстрелы, ухают орудия. Обоз волнуется. «Слышите, слышите, приближается, слышите!» — говорит молодому юнкеру капитан с перебитыми ногами. Юнкер прислушивается: «Да, по-моему, близится». Капитан нервно, беспомощно откинулся на подушку.

Впереди и сзади гудит, раскатываясь, артиллерия. Винтовки и пулеметы слились в перекатывающийся треск. Зловещий гул близится к обозу с ранеными.

Подводы тронулись. «Что такое? Почему едут?» — стонут раненые.

Приказано по три повозки стать, сокращают протяженность обоза. Стало быть, цепи отступают. И тоска сжимает сердце, тянет его глубоко-глубоко в жуткую пропасть.

Из арьергарда идет небольшая часть вооруженных людей. Лица озабоченные, строгие.

— Ну что, как? — спрашивают с телег раненые.

— Ничего, насадают, отбиваем, — спокойно отвечают идущие. Они отделились от обоза и пошли влево, цепью по пашне.

Глаза всех зорко следят за ними. Вот они почти скрылись. Донеслось несколько одиночных выстрелов. Стало быть, и там большевики. Обходят. Охватывают кольцом. Бой с трех сторон. Впереди самый сильный. Там не слышно перерывов — трескотня и гул сплошные.

Обоз стоит на месте несколько часов, и в эти часы тысячи ушей напряженно прислушиваются к гулу, вою, треску — впереди, с боков, сзади; сотни бледных лиц приподымаются с подвод и большими, напряженными, тоскливыми глазами тревожно смотрят в уходящую даль.

Вот впереди особенно ожесточенно затрещали выстрелы; треск стал постепенно, гулко удаляться, как будто его уносили волны.

— Слышите, слышите — удаляется, удаляется! — несется по подводам.

— Обоз вперед, обоз вперед! — послышались крики.

Тронули подводы, замахали кнутами возчики.

— Да скорей ты, скорей! — кричат раненые. Но верховые не пускают, машут нагайками, выравнивают обоз в одну линию.

Рысью едет обоз по мягкой дороге. Впереди уносится вдаль гул вострелов, они уже не сплошные, с перерывами. Ясно: большевики отступили, наши занимают станицу.

Вот уже и Усть-Лабинская. Громоухая, переезжаем железную дорогу; по ней рассыпалась наша цепь лицом к тылу.

— Ну, как?! — спрашивают с подвод.

— Как видите! — кричат из цепи, улыбаются, машут.

НЕКРАСОВСКАЯ

По зеленым, крутым холмам над реками Лабой и Кубанью раскинулась белыми хатами Усть-Лабинская. На обрывистых холмах повисли, вьются виноградники, мешаясь с белым цветом вишень, яблонь, груш. Въехали в станицу. Остановились на улицах. Сестры бегут по хатам, покупают молоко, сметану своим раненым. Но здесь мы не останавливаемся, едем дальше, на Некрасовскую.

Поздний вечер. Подвода за подводой, скрипя, движется в темноте. Раненые заснули тяжелым, нервным сном. Изредка тряхнет на выбоине телегу, раздадутся стоны. И опять тихо.

Я проснулся. Темно. Тихо ползет подвода, по бокам черные силуэты домов.

— Станичник, где мы?

— В Некрасовскую приехали, — отвечает старичок-казак.

Стало быть, сейчас отдых... Но меня что-то тяжело давит, какое-то тяжелое чувство: да, Сережа... где он, что с ним?

Въехали на круглую площадь. Кучей столпились повозки. Шум, крик. Распределяют раненых по хатам. В темноте меж телегами ходят сестры, снуют верховые.

— Да скоро, что ли, дадут хату! — кричит мой товарищ по подводе.

— Борис Николаич, где вы? — отвечает из темноты голос брата.

— Сережа, ты?! — Я! — Ранен? Куда? — В ногу, в ступню, с раздроблением!

Мы уже в хате. Некоторые прыгают на одной ноге. Другие неподвижно сидят. З. хлопочет, устраивает ужин. Пришли Варя и Таня, меняют перевязки.

Старуха-хозяйка охает, ворчит.

— Что ты, бабушка?

— Ох, да как что? Куда я вас дену? Хата малая, а вы все перестреляны, как птицы какие.

— Ничего, бабушка, уляжемся.

Постелили соломы, шинели, улеглись и заснули.

Наутро хозяйка успокоилась, разговорилась:

— Всякие я войны видала, помню еще, как черкесов мирили, как на турку ходили.

— А теперь вот, бабушка, своя на своих пошли.

— Поди ж ты вот, пошли.

— Из-за чего ж это, бабушка?

— Да я ж разве знаю, может, и есть из-за чего, а может, и нет, так все, зря.

Брат рассказывает нам о бое под Лабинской:

— Нас под самой станицей огнем встретили. Мы в атаку пошли, отбросили их. Потом к ним с Тихорецкой эшелон подъехал — они опять на нас. Тут вот бой здоровый был. Все-таки погнали их и в станицу ворвались. На улицах стали драться. Они частью к заводу отступили, частью за станицу. Нам было приказано за станицу не идти, а Нежинцев зарвался, повел, ну, которые на завод отступили и очутились у нас в тылу. Тут еще начали говорить, что обоз с ранеными отрезан. Мы бросились на завод, выбили. Они бежать в станицу, а там их Марковский полк штыками встретил, перекололи. Здесь такая путаница была, чуть-чуть друг друга не перестреляли. Из тюрьмы мы много казаков освободили. Часть большевики расстреляли перед уходом, часть не успели.

— А пленных много было?

— Да не брали... Когда мы погнали их за станицу, видим, один раненого перевязывает. Капитан Ю. раненого застрелил, а другого Ф. и Ш. взяли. Ведут, он им говорит, что мобилизованный, то-другое, а они спорят, кому после расстрела штаны взять (штаны хорошие были). Ф. кричит: Смотрите, капитан, у меня совершенно рваные и ничего больше нет!» А Ш.

уверяет, что его еще хуже. Ну, тут как раз нам приказ на завод идти. Ш. застрелил его, бросил, и штанами не воспользовался.

— Молодец, все-таки, Корнилов! — перебивает другой раненый. — Еще станицу не заняли, а он уже влетел на станцию с текинцами. Его казаки там на ура подняли, качали.

— А в Кореновской-то он что сделал! — говорит кап. Р. — Собственно, и бой-то мы благодаря ему выиграли. Ведь когда наше дело было совсем дрянь, отступать начали, он цепи остановил, в атаку двинул, а сам с текинцами и двумя орудиями обскакал станицу и такой им огонь с тыла открыл, такую панику на «товарищей» навел, что они опрометью бежать кинулись.

День мы отдыхаем в Некрасовской. По станице бьет большевистская артиллерия, по улицам во всех направлениях свишут пули — это обстреливают станицу выбитые из Некрасовской и Лабинской большевики, засевшие под ней в перелесках и болотах.

Несколько раз долетал похоронный марш. Хоронят убитых и умерших. Похоронный марш звучит в каждой станице, и на каждом кладбище вырастают белые кресты со свежими надписями.

КРЕСТЬЯНСКИМИ ХУТОРАМИ

Еще с вечера пошли строевые части по выработанному маршруту. Но каждый шаг надо брать с боя. Под Некрасовскую подошли сильные части большевиков, поднялись крестьяне окрестных хуторов.

Первый бой недалеко от Некрасовской за переправу через реку Лабу. Мосты разрушены. На противоположном берегу в кустах засели большевики, не подпускают добровольцев к реке, открывая частый губительный огонь. А пробиться, уйти от Некрасовской — необходимо. Необходимо потому, что и сзади, со стороны Усть-Лабинской, давят большевики, подъезжая эшелонами из Екатеринодара. Образуется кольцо и становится все уже.

Вечереет. Юнкерский батальон пытается форсировать реку вброд. Засевшие в кустах большевики отбивают.

Уже ночь, темная-темная. Дорог каждый час, каждая минута. Добровольцы пускаются на хитрость. Несколько смельчаков тихо крадутся к темной, змеящейся реке. Булькнула вода, вошли и тихо, тихо переходят. Берег. Условные выстрелы. — «Ура! Ура!» — побежали по берегу. «Ура» — гремит с другой стороны. Залпы! Залпы! Бегут к реке. Большевики опешили, стреляют, смешались, побежали. Вброд бросился батальон. Река за добровольцами. Армия двинулась вперед.

Утром тронулся обоз из станицы.

— Можно к вам на телегу сест? — спрашивает сестра и бежит около подводы.

— Садитесь, садитесь, сестрица. — Она вскочила: «Ох, устала, свою подводу потеряла».

Мы спускаемся с крутого ската станицы. Догоняя нас, рвутся последние шрапнели. Но теперь все спокойны — скоро не достанет. Вот одна близко лопнула. Вздогнула сестра.

— Бойтесь снарядов, сестра? — Она улыбается: «Нет, снарядов я не боюсь, — и, немного помолчав, — а вот другого боюсь».

— Чего другого?

— Не скажу. — По лицу сестры пробегает строгая тень.

— Скажите, сестра.

— Вы были в Журавской?

— Нет.

— Ну вот там я испугалась, там комиссара повесили.

Сестра нервно дернула плечами, как от озноба: «Я случайно увидела... как его, Дорошенко, что ли, фамилия была. И, главное, он долго висел после... и птицы это вокруг него... и ветром качает... неприятно...».

По наскоро наведенному мосту переезжают подводы Лабу и, переехав, несутся рысью по мягкой дороге, догоняя голову обоза. Уже весь обоз изогнулся по равнине. Тихо едем мимо большого пчельника. С подвод спрыгивают возчики, сестры, бегут за медом и вперегонку возвращаются на свои подводы. Зеленую степь накрыло голубое небо. В голубом просторе высоко-высоко черными точками парят ястреба — плавно и бескрыло. Нет выстрелов — не чувствуется войны.

Но вот впереди затрещало, бьет артиллерия. Под Киселев-

скими хуторами бой — долгий, упорный. В обоз прибывают раненные, рассказывают: «Здесь крестьянские хутора, так все встали, даже бабы стреляют; и чем объяснить? Ведь пропустят они нас — никого бы и не тронули; нет, поднялись все».

Заняли хутора. Нигде ни души. Валяются убитые. По улицам бродят, мыча, коровы, свиньи, летают еще не пойманные куры. Переночевали на подводах и утром выезжаем на Филипповские. Над селом подымается черными клубами дым, его лижет красными языками огонь. И скоро все село пылает, разнося по степи сизые тучи.

А впереди опять треск ружей, гул орудий. Опять мы в кольце. Идут мучительные часы ожидания. Из арьергарда требуют подкреплений. Туда скачет текинский конвой Корнилова — это все, что может дать главнокомандующий. Ушла в бой музыкантская команда. Взяли всех способных стрелять из обоза.

Только к вечеру, вырвавшись из кольца, заняли Филипповские. Здесь та же картина: ни одного жителя, все как вымерло... Светят костры у телег, меж них ходят сестры, снуют верховые.

Какой-то крик. Кого-то хватают, тащут. «Дай винтовку, винтовку!» — дико кричит голос. Это казак-возчик сошел с ума, его вяжут.

Ко мне подходит полк. Симановский, тихо рассказывает:

— Был я в штабе, между Корниловым и Алексеевым полный разлад. Говорят, даже не здороваются. Слухи есть, что если придем в Екатеринодар, армия распадется на две: Корниловскую и Алексеевскую.

— Из-за чего же это?

— Все старое. Недавно Корнилов отставил от командования Гершельмана и других еще, Алексеев и гвардейцы недовольны.

Собрались офицеры, обсуждают: «Так кто же у Алексеева останется, кучка гвардейцев? Все же ведь уйдут к Корнилову. Казаки, все до одного, только за ним и пойдут».

Темно. Красными пятнами мерцают костры, доносится тихая песня:

Мы дрались за Лабой
Бой был молодецкой...

Ранним утром из Филипповских выезжают последние подводы, и опять все село застилается сизыми тучами. Сожгли. Недалеко от него спустились в ложину. Обозу приказано остановиться. Опять — бой кругом. Сегодня в обоз ведут, несут особенно много раненых. Раненым на подводах раздают винтовки.

Близится ружейный треск. Наши цепи отступают. Среди раненых — паника. «Женя! Женя! — зовет хор. Минервин; он ранен в шею, ноги и руки у него парализованы. — Застрели меня, если наши не выдержат, Женя, я прошу тебя, я знаю наше положение, а я ничем ведь пошевелить не могу».

Стрельба удаляется — наши цепи двинулись вперед. Из боя пришел Садовень: «Ну, Корнилов что делает! Кругом пули свищут тучами, а он стоит на стогу сена, отдает приказания и никаких. Его адъютант, нач. штаба, текинцы просят сойти — он и не слушает. Наши цепи отступать стали, он от себя всех текинцев послал остановить. Остановили — вперед двинули. И Алексеева видал, тоже совсем недалеко от цепей стоит. Его кучера сегодня убило».

Раненые слушают, перебивая нервными вопросами: «Ну, как теперь?»; «Наши не отступают?» — «Нет, теперь ничего, двинулись вперед, а было положение отчаянное. Уж больно их много, тучи прямо».

Разговор прерывают со свистом несущиеся над обозом шрапнели. Только к вечеру вырывается обоз из ложины, выезжаем в степь, а вдали замолкает стрельба.

Но что за шум впереди, что такое? Мгновенно нервное волнение бежит по подводам, вытянулись лица, прислушиваются. От головы обоза приближается, несется волной шум. Вот уже совсем близко это «ура». «Соединились с Эрдели, с Покровским* передайте дальше!» — кричат с передней подводы.

По обозу катится «ура!»

* Ген. Покровский, бывший шт.-кап., формировал с Эрдели добровольческие части в Екатеринодаре и, выбитый оттуда, соединился с нами в Кубанских степях.

ПО АУЛАМ

Мы едем мимо какого-то селения.

— Что это такое, станичник? Аул, что ли?

— Аул.

Я смотрю на маленькие белые хатки и меня поражает: почему не видно ни человека, ни животного. Замерли безжизненные дома. Ветер ударяет маленькими ставнями, подымает солому на крышах.

Крошечный аул — мертвый.

— Станичник, аул брошенный, что ли? Смотри, ни одного человека не видно.

— Перебитый, — отвечает казак, — большевики всех перебили.

— Как так? Когда?

— Да вот не больно давно. Напали на этот аул, всех вырезали. Тут народу мертвого что навалено было... и бабы, и ребятишки, и старики.

— Да за что же?

— За что? У них с черкесами тоже война.

— Какие же это большевики, из Екатеринодара, иль местные?

— Всекие были, больше с хуторов, местные.

Мы проехали мертвый аул. В другом, черкес рассказал, из трехсот с лишним жителей малого аула более двухсот было убито большевиками. Оставшиеся в живых разбежались.

Уже темнеет. Въезжаем на ночевку в аул Нашухай. Расположились в маленькой грязной сакле. Лежим на полу. Хозяин гостеприимен, угощает своими кушаньями, ставя их на низкий, круглый стол. Наутро, сменив казака-возчика черкесом, выезжаем дальше на низкорослых худых черкесских лошадях.

Едем по аулу. По холмам беспорядочно разбросаны сакли, покрытые соломой. Шпилем к небу торчит старая, почерневшая мечеть. На улицах худой скот. Бедная жизнь, бедная природа...

— И чего это большевики напали на черкесов? Народ бедный, миролюбивый. А теперь черкесы им ведь не простят.

— Да, черкесы поднялись теперь мстить. Из аула с нами сколько поехало, на своих конях, с оружием.

Аул Гатлукай — те же беспорядочно, без симметрии разбросанные бедные сакли, такая же речушка, бурливая и злая. Низкорослые деревья. И старенькая мечеть...

Отдохнули немного и двинулись на ночевку в Шенжи. Шенжи больше других напоминает казачьи станицы. Дома просторнее, лучше. Улицы прямые. Здесь разместился обоз раненых. Мы нашли просторную саклю: кое-какая городская обстановка, в углу грамфон. Хозяева принимают нас радушно.

Пожилая черкешенка, плача, что-то рассказывает Тане и зовет ее посмотреть. «Что такое, Таня?» — «Просит сына перевязать, большевики штыками искололи».

Таня торопливо роется в медицинской сумке, что-то взяла и отправилась в соседнюю комнату. Я пошел за ней. Молодой черкес при виде ее завозился, приподнялся в кровати. Мать заговорила с ним по-черкесски. Он встал, поднял рубаху для перевязки. Тело бледно-желтое. Во многих местах черно-синие запекшиеся раны. Раны загноились. Таня осторожно промывает их, что-то шепча, качает головой и накладывает перевязки. Четырнадцать ран и ни одной нет особенно большой. Кололи, видимо, не убивая, а для удовольствия.

— За что же они вас так? — невольно спрашиваю я.

— Бюржуй, говорят, — ответил черкес.

Его мать быстро, ломано начала рассказывать, как большевики убивали и грабили в ауле.

На другой день в Шенжи — свиданье Корнилова с генералами Эрдели и Покровским. На площади около мечети гремит музыка, гудят войска. Корнилов говорит, обращаясь к черкесам. Черкесы стоят конной толпой с развевающимся зеленым знаменем с белым полумесяцем и звездой. Внимательно слушают они небольшого человека с восточным лицом. А когда Корнилов кончил, раздались нестройные крики, подхваченные тушем оркестра.

После парада на вышке минарета показался муэдзин — худой, черный. Долго слышались его горловые выкрики и ответный гул черкесской толпы. Муэдзин призывал к борьбе, к оружию, к мести за убитых отцов и братьев.

Вечером к нам зашел полк. Симановский: «Корнилов вам привет прислал». Я улыбаюсь. «Нет, серьезно. Я у него был сейчас. Спрашивал: как ваш отряд? Весь, говорю, перебит, переранен. — А адъютант ваш? — Ранен, говорю. — Передайте ему привет, скажите, буду в лазарете — разыщу».

Утром мы выехали из аула.

НОВО-ДМИТРИЕВСКАЯ

С ночи погода изменилась. Пошел липкий, мокрый снег с сильным, колючим ветром. Стало холодно. Вышли строевые части. Растянулся по дороге обоз. Ехать долго. Только к вечеру можем прибыть на ночевку в ст. Калужскую. Туда отправляют раненых. Строевые же части должны с боем брать большую богатую станицу Ново-Дмитриевскую.

Лепит мокрый снег. Дует злой, холодный ветер. Пехота идет вся белая, сжавшаяся. На подводах раненых, кое-как прикрытых разноцветными тряпками, одеялами, занесло снегом; он тает, течет вода, все мокрое, холодно. Дорога испортилась. Подводы вязнут, застревают. Худые, слабосильные лошади черкесов не в силах вытянуть.

К вечеру морозит. Падающий снег замерзает корой на одеялах, перевязки промокли. Раненые лежат в ледяной воде. Упали первые тени, темнеет, а Калужской не видно. Холод сковывает тело. Теплая хата кажется блаженством.

Погода еще злее. Снег валит сизыми хлопьями, обоз растянулся. В темноте нервные крики: «Да, подождите же!», «Помогите подводу вытащить!» Но все спешат. Никто не слышит. Никто не помогает. Каждый погоняет своего возчика.... скорее... до хаты... согреться.

Совсем тихо. Мелькают огоньки. Калужская. Подводы въехали в станицу, размещаются сами, как попало. Нет ни начальников, ни квартирьеров. Только сестры — грязные, усталые — ходят по колено в снегу по улицам, помогая раненым устроиться на ночлег.

Утром заговорили: подводы не все! Поехали искать. Позд-

но, восемнадцать раненых замерзли. Завязли подводы, упали слабые лошади. Никто не помог: все торопились. А строевые части свернули на Ново-Дмитриевскую. Мокрые до нитки, замерзшие, продрогшие — идут в бой.

Темная ночь. Добровольцы обхватили станицу кольцом, наступают. Летит снег, дует ветер, хлюпают промокшие ноги. Марковский полк уткнулся в реку. Замялись. Но медлить нельзя — проиграется дело. А на реке ледяная кора...

— Полк вперед! — и ген. Марков первым шагает вброд. Идут в бой через ледяную реку, высоко в темноте держат винтовки.*

Перешли. Ударили. Во главе с Корниловым ворвалась армия в станицу. Сонные большевики, захваченные врасплох, взяты в плен.

На другой день на площади строят семь громадных виселиц. На них повесили семь захваченных комиссаров.

К вечеру по Ново-Дмитриевской бьет сильная артиллерия. На станицу идут густые решительные цепи большевиков.

Темная ночь. Бой отчаянный. Мигают ленты огней, трещат винтовки, гулко хлопают пулеметы, зловеще ухает в темноте артиллерия.

Противники сходятся на сто шагов. Слышны команды обеих сторон. Даже перекрикиваются:

— Ну, буржуи, сейчас вас оседлаем!

— Подождите, краснодранцы!

Большевики ведут отчаянные атаки: Ново-Дмитриевскую им надо взять. Добровольцы не сходят с места: Ново-Дмитриевскую им нельзя отдать.

Уже рассветает — большевики отбиты. Рассказывают, что красноармейцы закололи своих начальников, уговоривших их идти на Ново-Дмитриевскую.

В станицу приехал обоз, а строевые части движутся дальше. Всех интересует: куда? Мнения генералов раскололись. Корнилов хочет брать Екатеринодар, Алексеев — против этого. Но

* Этот эпизод, как и некоторые другие, дал повод г. Маркову в публичной лекции в Новочеркасске назвать поход Корнилова «ледяным», после чего на Дону и Кубани это название утвердилось за походом.

Корнилов — главнокомандующий он ведет — к Екатеринодару.

Вечер в Ново-Дмитриевской. В дымной маленькой хате лежат раненые. Разговоры одни и те же: кто убит, кто куда ранен; вспоминают бои, эпизоды.

Кто-то достал засаленную книжку Дюма «Chevalier de maison rouge», читает вслух. Тускло горит свеча, все, слушая, задумались.

Входит Варя. Сапоги, платье — грязные, вид усталый, лицо заплаканное.

— Варя, что с вами, Варя? — Она падает на стол, громко рыдая: «Эраст убит! Эраст убит!» — «Быть не может? Где?» — «В слободе Григорьевской». Варя плачет. Тихо, незаметно вытирают слезы раненые.

Немного успокоившись, она рассказывает: «Они в цепи лежали. Минервин ранен был в ногу, просит его вынести, а большевистские цепи совсем близко. Говорят, подождите, а он все просит. Эраст, вы его ведь знаете, с Дрейманом взяли, понесли. Их одной пулей, в живот обоих. Дреймана навывлет, у Эраста застряла в мочевом пузыре. Как он страдал!». — Варя опять заплакала. — «Его в хату принесли. Хата скверная, кровати даже нет. На стол положили. Он все время о матери, кричит: «Мамочка, милая, прости меня, мамочка, помолись за меня... мамочка, неужели ты не видишь — твой сын умирает». Меня вызвали из хаты. Я вернулась, а он уже умер... так, на столе».

Эраст Ващенко. Мы вместе учились, вместе приехали на Дон. Он — единственный сын. Одинокая мать жила только его любовью.

Вспомнилась последняя встреча с ним в ауле. Эраст был усталый, измученный. «Как это все тяжело, как хочется отдохнуть, говорил он, — мне кажется иногда, что я не выдержу больше». Теперь он зарыт, как тысячи других...

ПОД ЕКАТЕРИНОДАРОМ

Части добровольческой армии по нескольким направлениям движутся к Екатеринодару. На пути с боем берутся станицы и

станции. Прошли Георгеафипскую, какой-то аул. Переправились через Кубань, взяли Елизаветинскую и кольцом обложили столицу кубанских казаков.

Обоз подъехал к Кубани. Не переправляется, расположился табором по широкому зеленому лугу. Дымятся костры. Пасутся лошади. Меж телег ходят сестры: перевязывают, кормят раненых. На земле лежит группа штатских. К ней подъезжает на большом вороном коне М. В. Родзянко.

— Что это за трупы, а?! Родзянко и прочие контрреволюционеры, — смеется он густым, сильным басом. Издалека доносится гул боя. Начался штурм Екатеринодара.

Весь день проходит в ожидании. Вести из боя какие-то странные. Приедет верховой, сообщит: Екатеринодар взят. По обозу несется «ура». Едет второй: не взят, наши отбиты с большими потерями. Томительно тянется день, другой. От Екатеринодара катится непрерывный гул: штурмуют. К вечеру второго дня по наведенному парому обоз медленно переправляется через Кубань. Три подводы становятся на паром. Переплыли. И тихо едут по узкой дамбе до дороги в Елизаветинскую, отстоящую в восьми верстах от Екатеринодара.

Обоз раненых разместился по станице. Мы устроились в церковной сторожке, в ограде церкви. Большая комната застлана соломой. Подряд лежат раненые.

Утро. Третий день штурма. День голубой, теплый. Артиллерия гудит без всякого перерыва. Ружья и пулеметы слились в беспрестанный перекатывающийся треск.

Раненые сидят на паперти церкви. Прислушиваются к гулу боя, стараясь определить: близится, иль нет? Ничего не поймешь. Как будто все на одном месте.

Красная каменная церковь вся истреляна снарядами. Старенький сторож-казак показывает в окне церкви небольшой, написанный на стекле образ Христа. Окно выбито снарядом. Кругом иконы — осколки гранаты и стекла, а образ стоит нетронутым, прислонившись к железной решетке.

Вечереет. Гул не стихает. Еще ожесточеннее, страшнее ревет артиллерия. Как будто хлопочет вулкан.

— Я Львов, Перемышль брал, но такого боя не слышал, — говорит раненый полковник. — Они из Новороссийска 35 тяжелых орудий подвезли и палят, слышите, залпами.

Артиллерия ухала тяжелыми, страшными залпами, как будто что-то громадное обрывалось и падало.

Старенький священник прошел в церковь. Великопостная всенощная. Полумрак. Пахнет свежим весенним воздухом и ладаном. Мерцают желтые огоньки тонких свечей. Священник читает тихим голосом. Поют. Молятся раненые. Плачут склонившиеся женщины-казаки.

А со стороны Екатеринодара ревет артиллерия. Ухнет страшный залп. Содрогнется маленькая церковка и все люди в ней.

Темнеет. Раненые в сторожке укладываются спать. Из боя пришли Варя и Таня. Варя упала на солому. Обе плачут. «Рота разбита, Саша убит, Ежов убит, Мошков умирает. Ходили в атаку наши, но их отбили, всю роту перебили. Из-за каждого шага бьются, то наши займут их окопы, то они — наши. Вчера во время боя мы своих раненых все под стога сена складывали, а к вечеру нас отбили, раненые остались между линиями, ближе к ночи. Ночью видим — стога пылают. Стоны, крики слышны. Сожгли наших раненых».

Тяжелая ночь, почти без сна. Прибывают, прибывают раненые. Места нет нигде. Сторожка завалена. Кладут снаружи. Одолевает дремота. Но нет сил уснуть. Раненая в грудь сестра задыхается, кричит: «Воздуха! воздуха! не могу! не могу!» Ее понесли из комнаты. Стоны, стоны и опять крики сестры.

Голубое утро. Опять все лежат, сидят в ограде. Бой ревет попрежнему. Четвертый день штурмуют город. Большевики сопротивляются, как нигде. Укрепились, окопались, засыпают снарядами. Наша артиллерия молчит. Почти нет снарядов. Подымаются цепи за цепями. Идут атаки за атаками. Пехоту сменяет кавалерия. Отчаянно дерутся за каждый шаг. Едут верховые, сообщают новости. Добровольцы заняли часть города, дошли почти до центра. Бой идет на улицах. Мобилизованные казаки плохо дерутся. У них матросы и тоже пластуны-казаки сопротивляются отчаянно.

Привезли раненую сестру, большевистскую. Положили на крыльце. Красивая девушка с распущенными подстриженными волосами. Она ранена в таз. Сильно мучается. За ней ухаживают наши сестры. От нее узнали, что в Екатеринодаре женщины и девушки пошли в бой, желая помогать всем раненым. И наши

видали, как эта девушка была ранена, перевязывая в окопе и большевиков и добровольцев.

Вечером опять тихая великопостная служба. Опять тихо читает Евангелие старенький священник, а церковь вздрагивает от залпов артиллерии. Все молятся, может быть, как никогда.

31 марта. Пятый день непрерывного гула, треска, взрывов. Потери добровольцев стали громадны. Снарядов нет. Обоз раненых удвоился. Под Екатеринодаром легли тысячи. Мобилизованные казаки сражаются плохо, нехотя. А сопротивление большевиков превосходит всякие ожидания. Сделанные ими укрепления сильны. Их артиллерия засыпает тяжелыми снарядами. Они бьются за каждый шаг, отвечая на атаки контратаками.

Добровольцы охватили город кольцом, оставив большевикам лишь узкий проход. Но теперь, на пятый день боя, кольцо добровольцев охватывается наступающими с разных сторон войсками большевиков, спешащими на выручку Екатеринодара. Бой с фронта. Бой с тыла. Каждый час несет громадные потери. Подкреплений ждать неоткуда. Положение добровольцев грозит катастрофой.

Яркое солнце. Веселое утро. Но сегодня все особенно тревожны. Что-то носится в воздухе неприятное, страшное. Как будто каждый что-то скрывает.

Знакомый текинец понес из церкви аналой. Подходит бледный, взволнованный капитан Ростовов.

— Ты ничего не знаешь?

— Нет. Что?

— Корнилов убит, — глухо говорит он. — Но, ради Бога, никому не говори, просят скрывать.

Куда-то оборвалось, покатилося сердце, отлила кровь от головы. Нельзя поверить!

Около церкви, возле маленькой хаты — текинский караул. Входят и выходят немногие фигуры. В хате в простом гробу лежит бледный труп Л. Г. Корнилова. Кругом немного людей.

— Лавр Георгиевич! Лавр Георгиевич! — грузно упав на колено, рыдает Родзянко. Плачут немногие раненые, часовые-текинцы. Вдали грохочут, гремят раскаты артиллерии, стучат пулеметы.

На улице — адъютант Корнилова, подпоручик Долинский.

— Виктор Иванович, скажите, когда же это?.. Как?..

Он рассказывает:

— Вы знаете, штаб был в хате на открытом поле. Уж несколько дней он вел пристрелку и довольно удачно. Мы говорили генералу, он не обращал никакого внимания: «Хорошо, после». Последний день кругом все изрыло снарядами, поняли, что здесь штаб, подъезжают, ведь, конные с донесениями, толпятся люди. Ну, вот, один из таких снарядов и ударил прямо в хату, в комнату, где был генерал. Его отбросило об печь. Переломило ногу, руку. Мы с Хаджиевым вынесли на воздух. Но ничего уж сделать нельзя было. Умер, ни слова не сказал, только стонал.

— Кто же заменит?

— Деникин принял командование. Вечером отступаем от Екатеринодара.

Страшная новость облетела обоз. У всех вырвала из души последнюю надежду. Опустились руки. После таких потерь. Почти в кольце. Без Корнилова. Смерть командующего стараются скрыть от строевых частей. Боятся разложения, паники, разгрома.

Вечер пятого дня. В дымную, заваленную ранеными сторожку входит обозный офицер: «Господа, укладываться на подводы. Только тяжелораненых просят сначала не ложиться. Легкораненых нагрузят, отвезут, переложат на артиллерийские повозки, тогда приедут за тяжелоранеными». Сестра почему-то настаивает скорее укладываться и уезжать.

Вышли в ограду. На паперти — священник.

— Батюшка, вы отпевали Корнилова?

Он замялся и лицо у него жалкое:

— Я... я... не говорите вы только никому об этом, скрывайте. Узнают войска, ведь не дай Бог, что может быть. Ах, горе, горе, человек-то какой был необыкновенный... Он жил у меня несколько дней, удивительный прямо. Много вы потеряли, много. Теперь уйдете, с нами что будет... Господи, придут они, завтра же разорят станицу.

Мне показалось в темноте, что священник заплакал.

— Благословите, батюшка.

— Бог вас храни, дорогой мой, — благословил и обнял меня священник.

В темноте на улице укладывают раненых. Шум. Говор. Издалека доносится гул боя, то стихая, то разрастаясь.

Легли всемером на подводу. Сестра шепчет:

— Тяжелораненых бросают ведь в Елизаветинской. Это нарочно говорят про артиллерийские повозки, их оставляют здесь, обоз сокращают.

Я забыл в сторожке пояс. Тихо слез с подводы, вошел в комнату. Слабый свет. Маленькая лампа коптит. На смятой соломе, кажется, никого; нет, в углу кто-то стонет, тихо-тихо. Подошел. Кто-то лежит навзничь, вытянувшись. Желтый свет тускло скользит по бледному лицу, оттененному черными волосами. Это кадет. Я его знаю. Он ранен в грудь.

— Все уехали, бросили. За нами приедут? — через силу застонал раненый...

— Приедут, приедут, — вылетает у меня, — нас переложат на артиллерийские...

— Ооох, ооой, — тихо стонет кадет.

Лампа догорала. В комнату ползли жуткие, черные тени. Кадет оставался в темноте ждать расправы.

Все улицы запружены подводами. Скрипят телеги. Фыркают лошади. Запрещено курить и говорить. Ехать приказано рысью.

Выехали за станицу. обоз быстро, торопливо движется в темноте.

— Триста раненых бросили большевикам на расправу. Нет, при Корнилове этого никогда бы не было, — говорит раненый капитан. — Ведь это на верное истязание.

— Заложников взяли, говорят. И с ними доктор и сестры остались, — отвечает Таня.

Едем в темноте...

(окончание следует)

НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ ПИСЬМА МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ К РОМАНУ ГУЛЮ

Мокропсы, 9-го нов. февраля 1923 г.

Мой милый Гуль!

(Звучит, как о голубе).

Две радости: Ваше письмо и привет от Л. М. Э.¹, [сейчас объясню, почему.*

Летом 1922 г. (прошлого!) я дружила с Э[ренбур]гом и с Геликоном.² Ценности (человеческие) неравные, но Г-на я любила, как кошку. Э-г уехал на море, Г-н остался. И вот, в один прекрасный день, в отчаянии рассказывает мне, что Э-г отбил у него жену. (Жена тоже была на море). Так, вечер за вечером — исповеди (он к жене ездил и с ней переписывался), исповедь и мольбы все держать в тайне. — Приезжает Э-г, читает мне стихи «Звериное тепло», ко мне ласков, о своей любви ни слова! *Я молчу*. Попеременные встречи с Э-гом и с Г-ном. Узнаю от Г-на, что Э-г *продает* ему книгу стихов «Звериное тепло». Просит совета. — Возмущенная, *запрещаю* издавать. — С Э-гом чувствую себя смутно: душа горит сказать ему начистоту, но, связанная просьбой Г-на и его, Э-га, молчанием — молчу. (Кстати, Э-г уезжал на море с головой — увлеченный мной. Были сказаны

* См. также «Н. Ж.», № 58 (сентябрь 1959 г.). Текст в квадратных скобках печатается впервые.

¹ Любовь Михайловна Эренбург, художник, жена И. Г. Эренбурга.

² Геликон — А. Г. Вишняк, владелец издательства «Геликон».

большие слова, похожие на большие чувства. Кстати, неравнодушен ко мне был и Г-н).

Так длилось (Э-г вскоре уехал) — исповеди Г-на, мои ободрения, утешения: книги не издавайте, жены *силой* не отнимайте, пули в лоб не пускайте, — книга сама издается, жена сама вернется, — а лоб уцелеет. — Он был *влюблен* в свою жену и в *отчаянии*.

Уезжаю. Через месяц — письмо от Э., с обвинением в предательстве: какая-то записка от меня к Г-ну о нем, Э-ге, найденная женой Г-на в кармане последнего. (Я почувствовала себя в помойке).

Ответила Э-гу в открытую: я не предатель, низости во мне нет, тайну Г-на я хранила, потому что ему обещала, кроме того: продавать книгу стихов, написанных к чужой жене — ее мужу, который тебя и которого ты ненавидишь — низость. А молчала я, потому что дала слово.

Э-г не ответил и дружба кончилась: кончилась и с Г-ном, к-ый после моего отъезда вел себя со мной, как хам: на деловые письма не отвечал, рукописей не слал и т.д. — «Тепло», конечно, издал.

Так, не гонясь ни за одним, потерял обоих.

Привет от Л. М. Э. меня искренно тронул: убежденная, что и она возмущена моим «предательством», я ей ни разу не писала. Она прелестное существо. К любви Э-га (жене Г-на) с первой секунды чувствовала физическое (неодолимое!) отвращение: живая плоть! Воображаю, как она меня ненавидела за: *живую душу!*

— Все это, Гуль, между нами.]

Только что кончила большую статью (апологию) о книге С. Волконского «Родина». Дала на прочтение в «Русскую Мысль», если Струве не примет — перешлю Вам с *мольбой* пристроить. Книга восхитительная, о ней *должно* быть услышано то, что я сказала. Пока усердно не прошу, п.ч. еще надеюсь на Струве. Статья в 22 стр. большого (журнального) формата, приблиз. 11/6 печат. листа в 40 тыс. букв. На урезывание не согласна: писала как стихи.

Готовлю к апрелю книгу прозы (записей). Вроде духовного (местами бытового) дневника. Г-н, читавший в записных книгах, когда-то *рвал* ее у меня из рук. Необходимо подготовить почву, — кто возьмет? Если увидите с Г-ном — *оброните* несколько слов, не выдавая тайны. *Мне ему* предлагать — немыслимо. Думаю кончить ее к 2-ым числам апреля. Если бы нашелся верный издатель, приехала бы в начале мая в Берлин. Словом, пустите слух. Книга, думаю, не плохая. — Тогда бы весной увиделись, погуляли, посидели в кафе, я бы приехала на неделю — 10 дней, Вы бы со мной *слегка* понянчились.

Совсем ничего не знаю о «Веке Культуры»,³ купившем у меня книгу стихов «Версты» I (т.е. купили «Огоньки» и перепродали в Данциг). В Берлине ли издатель? Очень, очень прошу сообщить мне его адр.!

Bergschuhe (милый, что помните!) — увы! — пролетели. Деньги тогда залежались, потом цены вздорожали. Куплю, когда приеду. Пока хожу в мужских башмаках, — здесь как на острове!

Привезу весной и свою рукопись «Молодец». И стихи есть, — целых четыре месяца не писала.

Ваше отвращение к Н. А. Б-ву я *вполне* делю.⁴ Ему принадлежит замечательное слово: «У Вас самой ничего нет: *неразумно* давать». (Собирала на *умирающего* — мох и вода! — с голоду М. Волошина, в 1921 г. в Крыму). Чувствую, вообще, отвращение ко всякому национализму *вне* войны. — Словесничество. — В ушах навязло. Слова «богоносец» *не* выношу, скриплю. «Русского Бога» топлю в Днепре, как идола.

Гуль, народность — *тоже* платье, м.б. — рубашка, м.б. — кожа, м.б. седьмая (последняя), но *не* душа.

Это все — лицемеры, нищие, пристроившиеся к Богу, Бог их не знает, он на них плюет. — *Voilà* —

В Праге проф. Новгородцев читает 20-ую лекцию о крахе Зап. культуры, и, доказав (!!!) — указательный перст: Русь!

³ «Век Культуры» — русское эмигрантское издательство.

⁴ Н. А. Бердяев. В журнальн. тексте — «отталкивание от Н. А. Б-ва».

Русь — это помешательство. — Что с ними со всеми? Если Русь — переходи границу, иди домой, плетись.

А у нас весна: вербы! Пишу, а потом лезу на гору. Огромный разлив реки: из середины островка деревьев. Грохот ручьев. Русь или нет — люблю и никогда не буду утверждать, что у здешней березы — «дух не тот». (Б. Зайцев — если не написал, то напишет). Они не Русь любят, а помещичьего «гуся» — и девок.

Я скоро перестану быть поэтом и стану проповедником: против *кривизны*. Не: *не хочу* людей, а *не могу* людей, повторяя чью-то изумительную фразу: *je vomis mon prochain*.⁵

Очень радуюсь Вашему отзыву,⁶ куда меньше — айхенвальдовскому. Я не знала, что К-цкий в Руле — он. Я думала, он зорче. Это любитель письменности, не любовник! Но любопытно прочесть, у меня с ним по поводу Ц. Д-цы был любопытный часок. Когда-нибудь расскажу.

Кончаю, пишите чаще и больше. Как Ваш брат? Поправляется ли? Выходит ли Ваша книга об эмиграции?⁷

Крепко жму руку. — Спасибо. —

М. Ц.

Получила от Пастернака книгу.⁸ Прочла раз и пока перечитывать не буду, иначе напишу, и Вам придется помещать.

⁵ «Меня тошнит рядом с ближним».

⁶ Рецензия Р. Гуля была напечатана в «Новой Русской Книге».

⁷ «В рассеяньи сущие».

⁸ «Сестра моя жизнь».

Прага, 27-го нов. мая 1923 г.

Милый Гуль,

Вы не ответили мне на мою записочку и на «Ремесло», но я кажется не ответила Вам на последнее письмо, так что мы квиты. Теперь слушайте внимательно.

Я снова принялась за книгу и скоро ее кончу. Теперь целый ряд вопросов, требующих самых точных ответов.

1) Жив ли еще Манфред?

2) Не подался ли сильно влево?

3) Возьмет ли он книгу в 450 (большого, журнального формата) страниц? *Не* разъединяя ее на два тома. (Есть свои причины).

4) Сколько это будет печатных листов и, посему, долларов?

5) Может ли он мне обещать (на бумаге!) корректуру не только типографскую, но и ремингтонную? (Рукопись у меня *с обеих сторон листа*, и переписка на ремингтоне необходима).

6) Могу ли я, по отпечатании издательством на ремингтоне получить обратно свою рукопись, по которой и буду проверять, ибо многое у меня — из черновых тетрадей, может статься, что и не замечу пропуска?

7) Во скольких экз. он собирается выпустить? Я продала на одно издание, *не* на столько-то лет.

Вот, Гуль, вопросы. Ответы на них необходимы, иначе нет пороку доканчивать работу.

Книга моя будет называться «Земные Приметы», и это (весна 1917 г. — осень 1919 г.) будет I т. За ним последует II т. — Детские Записи — который может быть готов также к осени. Теперь слушайте еще внимательнее, это *важно*.

«Земные Приметы» I т. (1917-1919 г.) то, что я сейчас переписываю — это *мои записи*, «Земные Приметы» II т. (1917-1919 г.) — это *Алины записи*, вначале записанные мной, потом уже от ее руки: вроде дневника. Такой книги еще нет *в мире*. Это ее письма ко мне, описание оветского быта (улицы, рынка, детского сада, очередей, деревни и т.д. и т.д.), сны, отзывы о книгах, о людях — то ная и полная жизнь души шестилетнего

ребенка. Можно было бы воспроизвести факсимиле почерка. (Все ее тетрадки налицо).

Возьмет ли такую книгу Манфред? Пойдет ли она под моим именем: «Земные Приметы». Т. II (Детские записи).

Эта книга будет меньше той, стр. 250, думаю. Хотела сначала поместить в одном томе, но 450 моих + 250 Алиных — это уже идет в безмерное и не уместается не только в сердце, но и в руках.

Расскажите все это Манфреду, но расскажите *как следует*, чтобы он ясно понял, в чем дело. Меня эта неопределенность мучит: работа (переписка) трудная и чудная, у меня плохое зрение, кроме того хочется писать стихи, и если все это так, в пустую — руки опускаются!

Книга, Гуль, *не* черносотенная, она глубоко правдива и весьма противоречива: отвергнутая в Госиздате, она так же была бы отвергнута в из-ве Дьяконовой. (Черносотенном?) Это книга живой жизни и правды, т.е. политически (т.е. под углом лжи!) заведомо проваливается. В ней есть очаровательные к-сты и безупречные б-дейцы, первые увидят *только* последних, а последние — *только* первых. Но Манфред не прогорит, это ему скажите. На эту книгу набросятся из дурного любопытства: как читают чужие письма. «Тираж» обеспечен и ругань критики тоже. И то и другое издательствам не во вред.

Итак, милый Гуль, ответьте мне по всем моим пунктам. Не пишите: приедете — увидите. Это мне не годится. *Так* ни за что не поеду, мне в Берлине нечего делать, а в Праге — весьма много. Передо мной лето, т.к. отсутствие плиты, т.е. *свобода*, надо употребить его во благо.

Рукопись (I т. «Земных Примет») для переписки на ремингтоне могла бы представить через 2 недели, максимум — три. Ведь переписать 450 стр. на ремингтоне (это, каж., называется *не* ремингтон? машинка?) — тоже не день, особенно с моими знаками, красными строками и пропусками.

Да, еще: обложка — *без* картинки! Только буквы. Настаиваю. Земные приметы мои все внутри, внешних не надо.

Переписываюсь с Л. М. Э., которую люблю нежно. Слыша-

ла о новой книге Э., еще не читала. Единственное, что читаю сейчас — Библию. Какая тяжесть — Ветхий Завет! И какое освобождение — Новый!

Месяц писала стихи и была счастлива, но вид недоконченной рукописи приводит в уныние. Пришлось оторваться. К осени у меня будет книга стихов, в нее войдут и те, что я Вам читала в Берлине. Как Геликон? Не уехал ли в Россию? Не слыхали ли чего о Пастернаке? Кто из поэтов (настоящих) в Берлине? Читали ли «Тяжелую Лиру» Ходасевича и соответствует ли ей (если знаете) статья в «Совр. Записках» Белого? — Что Вы сами делаете? Вышла ли Ваша книга? — Вот видите, сколько вопросов!

(Да! Нтб. 450 стр. Страницу я считаю приблизит. 32-34 строчки, причем в каждой, в среднем, я думаю, 42 буквы. — Много коротких строк).

Пишите обо всем. Шлю привет.

М. Ц.

[В следующем № «Русской Книги» поместите, пожалуйста, если не поздно:

Подготовлена к печати книга:

Сергей Эфрон — «Побежденные» (с Московского Октябрьского восстания — по Галлиполи. Записки добровольца).

Марина Цветаева — «Земные Приметы» т. 1 (Москва, март 1917 г.-октябрь 1919 г. Записи).

— «Молодец» (Прага, 1923 г. Поэма-сказка).

— «Лебединый Стан» (Москва, март 1917 г.-декабрь 1920 г. Белые стихи).

Адр[ес] и Сережи и мой: Praha P.P. Dobřichovice, Horní Mokropsy, с/ 33, u Pana Grubnera

(хорошо бы не перепутать!)

На упомянутые книги из-лей еще нет (кроме «Зем. Прим.»?) — м.б. таким образом найдутся].

Мокропсы, 27-го июня 1923 г.

Дорогой Гуль,

Вчера получила и вчера прочла. О «В рассеянии сущих» — жаль, что Вы в Берлине, а не в Праге, ибо книга, за некоторыми лирическими отступлениями, написана Берлином, а не Вами.

Здесь таких людей нет. Здесь молодость, худоба и труд. Здесь любовь и долг. Здесь жертва и вера. Здесь нет сытости.

Впрочем, есть — но исключительно среди «земгорцев» (эсерово!) Горцы *земли*, горцы — равнины, предпочитают горцев высот!

Здесь старые и молодые профессора, старые и молодые студенты; и первые, и вторые, и третьи, и четвертые — работают из кожи. Для них Мессия — есть, Бог — есть, чорт — есть.

Гуль, Вы заслуживаете лучшего, чем та гниль и слизь, которая Вас окружает, Вы не существо Nacht Local'ов, я Вас причисляю к романтикам — сначала Контрреволюции, потом — Революции; если книга автобиографична — мне жаль Вас. Где Вы нашли таких уродов??? Почему Вы не писали — себя, душу, *живую жизнь* в Берлине? Я не верю, что это — Вы.

Есть хорошие места, хорошие мысли. Везде, где Вы один с природой, с любовью, с собой. Но в общем книга, несмотря на *основную* накипь ее, тяжелая — м.б. благодаря *накипи* как *основе*?

Я рада, что Вы ее не любите.

Ах, да! Помните спор о *кровном* и о рубашке? Так вот, Гуль, то, что для буржуа — рубашка, то для романтика — кровь. Зачем такие боялись? Бог и честь для буржуа рубашка, согласна, но, *кроме* буржуа, — ничего нет у белых? Гуль, есть белые *без* рубашки, таких берите в противники, таких (если можете) судите, — с буржуазией справляться — слишком легко!

О «Поле в творчестве». Первая часть для меня целиком отпадает, втормую на две трети принимаю.

«Божественная Комедия» — пол? «Апокалипсис» — пол?
«Farbenlehre» и «Фауст» — пол? *Весь Сведенборг*¹ — пол?

Пол, это то, что должно быть переборото, плоть, это то, что я *отрясаю*.

Und diese himmelschen Gestalten
Sie fragen nicht nach Mann und Weib.

Основа творчества — дух. Дух, это *не* пол, *вне* пола. Говорю элементарные истины, но они убедительны. Пол, это *разрозненность*; в творчестве соединяются разрозненные половины Платона.

Если пол, — то что же ангелы? А разве ангелы не — (*не* ангелы в нас!) творят?!

Пол, это ½. — формула.

О Белом и Гоголе — согласна. Об отсутствии любовного Эроса — согласна. О пристрастности и неубедительности героинь — согласна. О звукописи — согласна. Раньше была и *цветопись*, но такая же от всего оторванная и... жуткая, как [не-разб.] звукопись. («Золото в лазури» — перечтите). Он не — *небесный* и не земной, он — повисший. И изживающий *постепенно* все 5 чувств (зрение и слух).

Это первые, беглые отклики: как отозвалось. Немножко освобожусь, перечту, подумаю и скажу еще. И если Вам любопытно, буду сообщать Вам отзывы студенчества, — здесь ведь тоже три союза!

Недавно получила известие от Бахраха,² что собирается с Вами встретиться для окончательного выяснения с моими «Земными Приметами». Пишет, между прочим, что больше 1 ф., т.е. 4½ дол. у вас не платят. Хорошо бы довести до 5 д., но если окончательно невозможно, соглашайтесь и на это. Теперь ряд оговорок: 1) только на одно издание, 2) две корректуры, 3) лист с

¹ Подчеркнуто дважды.

² А. В. Бахрах — известный критик.

важнейшими опечатками, установленными мною, 4) деньги, по возможности, по представлению рукописи, 5) 25 авторских экз., 6) старая орфография, 7) установить колич. экз., срок выхода и переиздания — и все, что еще измыслите в мою пользу.

Да! Теперь — как определить число листов! По количеству букв в странице? По количеству строк? Или как? Сколько листов в Ваших «Рассеянных»?

Переписать здесь на машинке не берусь, и «Геликон» и «Эпоха» переписывали сами, — и прозу. Переписать такую книгу здесь целое состояние. Рукопись сравнительно четка, но на обеих страницах.

Не обвиняйте меня в жадности и в суетности, впрочем, в моей книге — обо всем, есть наверное и об этом.

Пишу поздно вечером, устала.

— Спасибо за все. М. Ц.

Новый адр. *Praha P.P. Dobřichovice*, Horní Mokropsy, č 33, u Pana Grubnera — мне — на фамилию Эфрон.

Dobřichovice: *břicho*; это — брюхо: «доброе брюхо» — Добробрюхово. — Хорошо?!

Прага, 30-го марта 1924 г., воскресенье

Милый Гуль,

Какой у Вас милый, тихий голос в письме, все интонации слышны, — кроткие. Как я тронута, что Вы меня вспомнили — с весной, есть особая память: по временам года.

Помню один хороший вечер с Вами — в кафе, Вы все гладили себя против шерсти, и я потом украла у Вас этот жест — в стихи.¹ Тому почти два года: из России я выехала 29-го апреля 1929 г. Скучаю ли по ней? *Нет*. Совсем не хочу назад. Но Вас, мой безрадостный и кроткий Гуль, понимаю. Редактируете «Накануне»? Не понимаю, но принимаю, потому что Вы хороший и дурного сделать не можете.

¹ Речь идет о стихотворении, впоследствии вошедшем в сб. «После России» (Париж, 1928 г.).

Вам, конечно, нужно в Россию, — жаль, что когда-то, в свое время, не попали в Прагу, здесь хорошо, я ее люблю.

У меня, Гуль, эту зиму было много слез, а стихов — мало (сравнительно). Несколько раз совсем отчаивалась, стояла на мосту и заклинала реку, чтобы поднялась и взяла. Это было осенью, в туманные ноябрьские дни. Потом река замерзла, а я отошла... понемножку. Сейчас радуюсь весне, недавно сторожила ледоход, не усторожила, — лед тронулся ночью. И — ни одной просини, прозелени: у нас ледоход — синь! Здесь цвета пражского неба. Но все-таки хорошо, когда лед идет.

Странно, что в Россию поедете. Где будете жить? В Москве? Хочу подарить Вам своих друзей — Коганов, целую семью, все хорошие. Там блоковский мальчик растет — Саша, уже большой, три года. Это очень хороший дом, Вам там будет уютно. Повезете мою книгу — поэму «Молодец», через неделю начнет печататься в здешнем из-ве «Пламени». Надеюсь, что выйдет до Вашего отъезда, непременно Вам пришлю.

С прозой — ничего: лежит. Лежит и целая большая книга стихов, после России, за два года. Много чего лежит, в Праге одно единственное из-во, и все хотят печататься. Предполагается целый ряд альманахов, в одном из них появится моя злополучная статья «Кедр».² У Волконского новая книга «Быт и бытие», ряд мимолетных вечностей, вечных мимолетностей. Хорошая книга.

А помните Сережину — «Записки добровольца»? (Не читали, но я Вам о ней писала). Огромная книга, сейчас переписывается, оттачивается. Есть издатель, удивитесь, когда узнаете кто, сейчас не скажу, — боюсь сказать. Вы эту книгу будете любить, очень хотелось бы переслать ее Вам в Россию.

Когда собираетесь? Только что перечла Ваше письмо, думала — осенью, оказывается — весной. Когда — весной? Передам через Вас письма Пастернаку и Коганам, посмотрите обоих мальчиков, блоковского и пастернаковского, напишете мне. Мне очень важен срок Вашего отъезда, и вот почему: месяца три назад послала Пастернаку стихи: много, большая

² «С одним только пропуском: три хвалебные строки об имп. Марии Федоровне» — *прим. М. Цветаевой*.

работа. Не дошли. В почту не верю, ибо за 2 года ни на одно свое письмо в Россию не получила ответа. Сейчас посылаю те же стихи Любовь Михайловне.³ с мольбой об оказии, верной, личной, п.ч. не только стихи, но письмо, очень важное, первое за год, ответ на его через нее полученное.

Невозможно же переписывать в третий раз!

Хорошо бы, если бы снесли с Л. М. она скоро уезжает из Берлина.

Стихов новых не посылаю, милый Гуль, п.ч. очень занята перепиской, но до Вашего отъезда непременно пришлю «Поэму горы», написанную этой зимою. Хорошо бы «Мблodeц» вышел до Вашего отъезда.

Гуль, дружу с эсерами, — с ними *не* душно. Не преднамеренно — с эсерами, но так почему-то выходит: широк, любит стихи, значит эсер. Есть еще что-то в них от старого (1905 г.) героизма. Познакомилась с Керенским — читал у нас два доклада. Вручила ему стихи свои к нему (17 г.) и пастернаковские. Взволновался, дошло.

Мне он понравился: несомненность чистоты. Только жаль, жаль, жаль, что политик, а не скрипач. (NB! Играет на скрипке).

С правыми у меня (как и у С.[ережи]) — холод. *Тупость*, непростительнейший из грехов! Сережа во главе студенч. демокр. союза IV — хороший союз, если, вообще, есть хорошие. Из 1-го безвозвратно ушел. Дружу еще с сыном Шингарева — есть такие *святые* дети. 29 л., с виду 18 л. — мальчик. Уединенный. Весь в 4-ом измерении. Туберкулез. Сейчас в Давосе.

Да! Как вы думаете, купит ли Госиздат мою последнюю книгу стихов? Именно: купит, а не: возьмет. Меня там, два года назад, очень любили, больше, чем здесь. Но я, очевидно, не возобновлю сов. паспорта — эмигрантка? Как быть? Посоветуйте. Не хочется переписывать целой большой книги, да еще по-новому, на авось. И, вообще, корректно ли?

— Надоели деления!

³ Эренбург.

В Госиздате (м-вском) у меня большой друг П. С. Коган, по крайней мере — был (в Госиздате — и другом).

Конечно, эта книга для России, а не для заграницы; в России, объевшись фальшью *идей*, ловят каждое новое *слово* (звук), — особенно бессмысленные! Здесь еще роман с содержанием: не отчаялись в логике!

Стихи, Гуль, третье царство, вне добра и зла, так же далеки от церкви, как от науки. Стихи, Гуль, это последний соблазн земли (вообще — искусства!), ее прелестнейшая плоть. Посему, все мы, поэты, будем осуждены.

Пишите мне. Поэму Пастернака очень хочу, но — откуда? Скоро пришлю свою.

М. Ц.

Пражский адрес на обороте. Действенен до конца мая.

— О чем Ваши новые книги? Названия? —

— Эсеры, это — Жиронда, Гуль, — а?

Прага, 11 апреля 1924 г.

[Дорогой Гуль,

Просьба у меня к Вам следующая: переговорите с берлинским председателем Госиздата относительно моей новой книги стихов «Умыслы».

Книга за два года (1922-1924 г.) — все, написанное за границей. Политического стихотворения ни одного.

Пусть он, в возможно скором времени, запросит московский Госиздат (там у меня друг — П. С. Коган и, если не сменен, благожелатель — цензор Мещеряков, взявший мою Царь-Деву, не читая, по доверию к имени (к-ст!). По отношению к Госиздату я чиста: продавая им перед отъездом «Царь-Деву» и «Версты» (I), оговорила, что за границей перепечатаю. (Что и сделала, с «Царь-Девушкой»).

Книга «Умыслы» здесь не только не продана, но из всех составляющих ее стихов (большая книга!) навряд ли появилось в печати больше десяти.

Стало быть, могут рассчитывать и на заграничный рынок.

Одновременно с ответом Госиздата пусть сообщит мне и условия: 1) гонорар, 2) количество выпуск. экз., 3) срок, на который покупается книга.

Деньги — *мое* условие! — при сдаче рукописи, все целиком.

Есть, для Госиздата, еще другая книга: «Версты» (II) — стихи 17 г.-21 г. (Первую они уже напечатали). М.б. и эту возьмут. Предложите обе.

Теперь трудности. Переписывать и ту и другую я могу только *навверняка*, — большая работа, тем более, что переписывать придется по новой орфографии, что, в случае отказа, для за границы не пригодится, ибо здесь печатаюсь по старому. Книги им придется взять по доверию. «Умыслы» Вы, по берлинским стихам, немножко знаете, остальные не хуже.

«Версты» (II) вполне безвредны, продолжение первых. «Политические» стихотворения все отмечу крестиками, захотят — напечатают, захотят — выпустят. Думаю, первое, — есть такое дуновение.

Все дело в сроке. На лето очень нужны деньги. 1 год в Чехии и ничего, кроме окрестностей Праги, не знаю. В Праге я до конца мая, не дольше, и дело нужно закончить в мою бытность здесь. Не настаивайте на двух книгах, можно «Версты» (II), можно «Умыслы» — что захотят.

Желательна, просто скажу: необходима — хотя бы одна авторская корректура и, в случае опечаток, лист с опечатками,

указанными мною. Эти два условия должно включить в контракт. Пусть, на всякий случай, представ. Госиздата в своем запросе в Москву обмолвится и об этом.]

Вы спрашивали о сыне Блока. Есть. Родился в июне 1921 г., за два месяца до смерти Блока. Видела его годовалым ребенком: прекрасным, суровым, с блоковскими тяжелыми глазами (тяжесть — в верхнем веке), с его изогнутым ртом. Похож — более нельзя. Читала письмо Блока к его матери, такое слово помню: — «Если это будет сын, пожелаю ему только одного — смелости». Видела подарки Блока этому мальчику: перламутровый фамильный крест, увитый розами (не отсюда ли «Роза и Крест»), макет Арлекина из «Балаганчика», — подношение какой-то поклонницы. (Пьеро остался у жены). Видела любовь Н. А. Коган* к Блоку. Узнав о его смерти, она, кормя сына, вся зажалась внутренно, не дала воли слезам. А десять дней спустя ходила в марлевой маске — ужасающая нервная экзема «от задержанного аффекта».

Мальчик растет красивый и счастливый, в П. С. Когане* он нашел самого любящего отца. А тот папа так и остался там — «на портрете».

Будут говорить «не блоковский» — не верьте: это негодяи говорят.

Прочтите, Гуль, в новом «Окне» мои стихи «Деревня» и «Листья» (из новой книги «Умыслы») и в «Современных Записках» — «Комедьянт» (из «Верст» II). Были у меня и в «Студенческих годах» (пражских) в предпоследнем номере — «Песенки» (тоже «Версты» II).

К сожалению, милые редакции книг не присылают, знаю по съеденному гонорару и по наслышке.

Была у меня и проза — в «Воле России» (рождественский №), по-моему, неудачно. (Неуместно — верней). В мае пойдет пьеса «Феникс». — Есть ли у Вас, в Берлине, такая библиотека? (Новых период. изданий). Я бы очень хотела, чтобы Вы все это прочли, но прислать не могу, — у самой нет.

* Помеченное звездочками выпущено в первом издании письма.

Какая чудная и скучная весна! Середина апреля, пишу у (традиционно!) открытого окна, зажавшись в зимний стариковский халат — индейский, Гуль: синий, с рыже-огненными разводами. Не хватает только трубки и костра.

Вчера что-то слышала о надвигающемся новом ледниковом периоде — профессора говорили всерьез. Но не очень-то скоро — через несколько десятков тысяч лет! Оттого, будто, и весна холодная.

Как с письмом Пастернаку? Вчера отослала Вам открытку с просьбой переслать Вашему знакомому заказным. Деньги за заказ вышли 15-го, сейчас живу в кредит. А вот жест — украденный. Только масть другая.

Вкрадчивостью волос:
Вгладь и в лоск
Оторопью продольной —
Синь полуночную, масть
Воронову. В гладь и всласть
Оторопи вдоль — ладонью.
Ой, смотри, не обманись!
Так заглаживают мысль
Злостную: разрыв — разлуку —
Лестницы последней скрип...
Так заглаживают шип
Розовый... — Поранишь руку!
Ведомо мне в жизни рук
Многое. — Из светлых дуг
Присталью неотторжимой
Весь противушерстый твой
Строй выслеживаю: смоль
Стонущую под нажимом.
Жалко мне твоей упор-
ствующей ладони: в лоск
Волосы! Вот-вот уж через
Край — глаза! Загнана внутрь
Мысль навязчивая: утр
Наваждение — под череп!

М. Ц.

Переписка Светланы Аллилуевой и Ольги и Романа Гуля

June 10, 1970

Дорогой Роман Борисович, как приятно было получить от Вас весточку! Спасибо за поздравление; William Wesley Peters — очень хороший человек и будет мне большой подмогой в жизни, как и я для него. Что касается хозяйки, Ольги Ивановны Wright, то тут мои чувства в некотором смятении после проведенных здесь почти что 3-х месяцев; дело в том, что в 20-е годы она провела несколько лет в «заведении» Гурджиева в Фонтенбло под Парижем (ритмы, танцы, мистика, псевдовосточная «мудрость» и прочее) и продолжает считать этого мракобеса своим духовным учителем. Ну, а чему он мог научить, Вы сами знаете — это все «бесовщина», как говорит наш владыка Иоанн. Тут этот налет очень чувствуется. Но — к счастью — большинство архитекторов и мой муж не разделяют всей этой *философии*, а просто работают, не покладая рук целый день. Они — милые люди, простые и работающие. Но мне и мужу приходится иногда трудно с «хозяйкой», которая привыкла править единовластно всеми и вся. Я же от этого устала еще в России и более не приемлю никаких диктаторов (особенно — в юбке). Поживем — увидим, что получится из всего этого.

После всех эмоциональных потрясений и перемен все, как будто, улеглось. Книжка Malcolm Muggeridge “Jesus Rediscovered” у меня здесь; если смогу, пришлю рецензию. Если во второй половине июня fine — то хорошо, так как моя русская машинка

уехала (с вещами) в Wisconsin, и мы туда переедем в начале июня, и я тогда смогу перепечатать.

Мнение об этой книге у меня очень «субъективное», т.е. мое собственное, — хорошее. В журнале «Look» какой-то либеральный профессор сделал из автора котлету, мелкорубленную. Мое мнение будет диаметрально противоположное, хотя, с *другой стороны*, ученые теологи тоже, может быть, найдут недостатки и ошибки в том, что говорит Muggeridge о Христе, которого он «вновь открыл» для себя на старости лет; после долгой бесплодной жизни интеллигента-циника вдруг увидел Свет Живой. И об этом он пишет так хорошо и *так* убедительно, что я считаю, что книжка очень хороша. Тем более, если учесть, что Muggeridge — один из ведущих комментаторов BBC и лондонского TV, т.е. живет и подвизается в самой что ни на есть клоаке. Когда для такого прожженного и прокуренного «подонка» вдруг начинает звучать живое слово Христа — после того, как он делал TV программу из Святой Земли, следуя с камерой по всем дорогам, где учил Христос — и когда он пишет об этом горячо и хорошо, то я не знаю, право, чего еще пожелать читателю. Книга издана здесь тоже, у Doubleday. Вы можете найти ее. Это Вам не Коряков, — книга без позы и без притворства, и очень самокритична. Нежный привет Ольге Андреевне. Ваша Светлана.

15 июня 1970 года

Дорогая Светлана!

Получил Ваше письмо, большое спасибо. Рад за Вас, а все прочее, я думаю, обойдется. Очень прошу Вас, пишите этот отзыв, это, видимо, интересная и стоящая книга. Время у Вас есть. Если Вы мне пришлете в июле — будет не поздно, даже в конце июля. Но, увы, Ваш манускрипт надо переписать на машинке Вам самим, ибо почерк Ваш неразборчив и если я отдам его переписать, то будет большая морока. Итак, буду ждать.

Во вторник 23 мы уедем в Питерсхэм, как всегда, где пробудем до Лэйбор Дэй. Вот адрес. Короткий, но верный. Там

каждый сам ходит на почту получать свою почту и нас там знают лет 20. Почта верная.

Искренне Ваш Роман Гуль.

Жена шлет Вам самый сердечный привет и самые лучшие пожелания спокойствия и счастья (и работы!). Наш владыка меня очень огорчил своими действиями по «приобретению» автокефалии (думаю, что и тут не без бесовщины, ибо она ведь всегда живет в легкомыслии и в тщеславии). Напишу ему наупрямь обо всем этом (из Питерсхэма, тут нет времени). Кн. 99 «НЖ» пойдет к Вам в Висконсин, а сентябрьская — увидим — куда, наверное, туда же?

June 24, 1970

Дорогой Роман Борисович!

Спасибо за Ваше письмо и за «Сеятеля». Я это издание знаю, кто-то мне уже раньше присылал в Принстон.

Напомните мне, будьте добры, сколько надо страничек на машинке — размер рецензии?

Видели ли Вы книжку Абрама Ярмолинского «The Russian Literary Immigration» — Abraham Yarmolinsky? Считаете ли Вы ее хорошей (она — о русских классиках), и что Вы знаете о нем самом? На фотографии он похож на бывшего троцкиста (прошу меня извинить).

Я *очень* рада, что Вы собрались написать владыке Иоанну — или уже написали? Эта самая растреклятая автокефалия наделала много бед и зла. А каково то добро, ради которого ее вообще затеяли, это еще неясно. Судя по фотографии в «Time», митрополит Ленинградский Никодим смахивает на Гришку Распутина — что-то такое черное, огромное, волосатое и устрашающее. Да и вообще — участие правительств, посольств, State Dept's и тому подобных вещей в жизни духовной мало полезно и для паствы и для *пастырей*, которые начинают мыслить себя мистрами.

Ох, какая это все суeta и ерунда. Простите меня.

Так сколько надо страничек на машинке? Ваша Светлана.

Июня 28, 1970 г.

Дорогой Роман Борисович,
рецензию придется отставить. Malcolm Muggeridge показал мое частное письмо к нему (написанное по поводу его книги еще зимой) ряду лиц в Англии, в том числе, издателям, связанным с Harper & Row. Мои совершенно частные мысли, вызванные его же книгой, могут — по его мнению — служить «основой для новой книги о религии», которую *он* советует мне написать, и Canfield, который ничего не понимает в религии, вере и Христе *вообще*, уже прислал мне письмо о том, как он рад, что я *буду* такую книгу писать. Canfield — это President of Harper and Row.

Ничего такого я не планировала, не говорила и не собираюсь делать! Но подобный поворот дела и подобное обращение с частными письмами мне очень не нравятся. Я собиралась М. Muggeridge'а очень похвалить, а теперь я этого сделать *не могу*. Конечно, он узнает о рецензии в «Нов. Журнале», — он следит за «русскими делами» и использует это для саморекламы, или, еще чего хуже, извратит и перевернет все опять. Или — другие это сделают. А вопрос о понимании Христа — очень тонкое дело, и я *не хочу* быть misunderstood again.¹

Так что, простите, — статья и тема веры, и все, что с этим связано, — очень для меня самой глубокая тема. Я не могу никому позволить влезать в нее нечистыми руками.

Мы все сидим в жаре (116⁰) и не знаю, когда выберемся отсюда в Wisconsin! Большой привет О. А. Ваша Светлана.

8 июля 1970 г.

Дорогая Светлана, получил Ваши оба письма и «загоревал». Но понимаю. Ваши доводы правильные. Ну, конечно же, Кенфилд будет в восторге, если именно Вы напишете книгу на религиозную тему — для них же это верный бизнес, и как просто

¹ Опять непонятой.

и легко делать такому бизнесу рекламу! «Люди гибнут за металл», ничего не поделаешь.

Но мне очень и очень хочется, чтоб Вы участвовали в 100 кн. «Н.Ж.». Она будет явно хорошая (я уже очень много сдал материала), и было бы хорошо, если б вы что-нибудь дали. Кстати, напишите отзыв о книге Ярмолинского, это будет подходяще — тема нейтральная и есть, что сказать. Вы правы, в нем есть что-то «бывше-троцкистское». Я с ним встречался, когда он был заведующим Славянским Отделом в Н. И. Паблик Лайблери, но мало — несколько разговоров. Он как-то напечатал в «Н.Ж.» статью о Есенине в Америке. Есть у него жена-литераторша (и поэтесса, кажется, и переводчица — Бабетт Дейч). Но больше всего прославился его сын — он был у воен. министра МакНамары не то личный секретарь, не то помощник, и о нем в Конгрессе поднялся шум — «секюрити риск», ибо сей молодой человек был американским комсомольцем и пр. И удалили его с этого поста, но тут же назначили на какой-то другой (не хуже, наверное). Но папа Ярмолинский имеет заслуженное имя в американской печати, его знают как спеца по русской литературе, так что о нем стоит написать. М.б., эта книжка и компилятивная (что тоже не грех, в конце концов), но почему ее не разобрать, не отозваться? Напишите. А если б Вам о ней не захотелось все-таки писать (неинтересно), то о чем-нибудь другом. Одним словом: хочу Светлану в 100-м номере.

Между нами говоря, я чрезмерно устаю от этой работы — все один и один тяну журнал — со всех сторон комплименты — но чувствую, что пора мне кончать. Пусть кто-нибудь еще потащит. А я хочу написать «Предсмертные воспоминания» (немного похоже на Шатобриана) «Мемуар д'утр томб», но это ничего, старик не обидится, да и «Предсмертные» мне больше нравятся, чем «д'утр томб». А рассказать есть что. Итак, Светлана, я жду и никаких гвоздей — от Вас к.н. обстоятельный отзыв о любой книге по Вашему выбору.

Искренне Ваш.

Жена Вам кланяется. Приветствуем Вашего мужа унбеканн-тервайзе.

4 июля 1971

Дорогой Роман Борисович и Ольга Андреевна!

Спасибо большое за Ваши теплые поздравления. Вот, прибавилось еще одна Олечка и к Вашим Ольгам. Муж очень хотел русские имена для детей; мальчик был бы Николай, а для девочки никак не могли согласиться. Ни Анна, ни Елена, ни Софья ему не нравились. Кое-как согласились на Ольге. Моя бабушка Аллилуева (мамина мать) была Ольга, и две моих лучших подруги в Москве — Ольги, со школьной скамьи.

Бабушка Ольга была характеру порченого, никого не боялась, работала всю жизнь, жила почти 80 лет. Дай-то Бог Оленьке что-нибудь от нее перенять (о бабушке Ольге Евгеньевне есть неск. страниц в «20-ти письмах»). Ну, а наша Olga Peters — вылитый папа, вся в Peters'ов; будет высокая, темноволосая. Пока что здоровенькая и сильная девочка. Будем крестить в Greek Orthodox (так муж хочет тоже). От владыки Иоанна С-Фр. отбиваюсь успешно, а то он уж был бы тут как тут со св. дарами. А потом начал бы давать интервью направо и налево. Ох, много у меня претензий к этому иерарху, лучше не будем входить в детали. Противный Раскоряков как раз ему пара. Не огорчайтесь, Вам его благословения не нужны. Благодать дает Господь, а не поп.

Хочу поздним числом оправдаться за то, что подвела Вас с рецензией. У меня была *очень тяжелая* пора. Я почти что решила оставить Taliesiu и уехать — нет сил жить в этом ашраме à la Гурджиев (знаете, наверное, о его достославной «школе» в Фонтенбло). Наша madame тут насаждает его «принципы». Долго объяснять, почему мне все это так противно и невыносимо; муж предан идее Архитектуры-с-Большой-Буквы, которую (как он думает) они там создают. *Не знаю* об архитектуре, но с человеческой и социальной точек зрения Taliesiu просто бесовщина. Я собрала чемоданы в феврале и перебралась в Scottsdale в motel. Муж метался между мной и madame, оба мы в слезах, потому что расставаться не хотелось совсем. К тому же — ребенок.

Кое-как утрясли все это, с истериками (madame обожает это), со всякими лицемерными раскаяниями и обещаниями. А что еще я могла?.. Расставаться с мужем мне совсем неохота: я

надеюсь на долгую хорошую жизнь с ним после того, как madame отбудет в лучший мир.

Писать Вам обо всем этом не хотелось. Искать причин иных, т.е. врать — тоже не хотелось. Так все вышло нехорошо. Вы правы — теперь я погрузилась в пеленки по самые уши, и надолго. Простите великодушно — одно могу просить.

Владыка Иоанн *в самом деле* считает, что я к нему так пере-менилась из-за Вас. Хотя я ему все *свои* причины довольно ясно изложила, но он ведь не может согласиться, что *он* может быть в чем-нибудь неправ или виноват. Гордыни много, смирения же никакого.

Ну, Господь с ним. Может, приобретет когда-нибудь с Божьей помощью. Обнимаю Ольгу Андреевну и Вас.

Светлана.

P.S. До июня мы здесь, а потом в Висконсине.

6.9.71

Дорогая Светлана,
Большое спасибо за Ваше письмо. Понимаю Вас по всем линиям. Думаю, что теперь Вы не скоро сможете взяться за к.н. литературу — Олечка важнее всякой литературы. Хотя темы у Вас могли бы быть очень интересные — но, вероятно, «несказанные».

Посылаю Вам копию своего письма нашему архиепископу. Написал его просто с отвращением, как будто попал ногой во что-то очень неживописное. Но думал-думал и решил все-таки, что написать, увы, надо.

Видимся часто с Утей. Она и Людка скоро уезжают в свое местоимение. А мы 28 июня уедем (до 1 сент.) в Mass. к друзьям — к Mrs. Hargood, куда всегда ездим. Адрес будет очень прост: R. Goul, Petersham. И все. Но и этот адрес будет хорош — всегда перешлют.

Искренне и дружески Ваш Роман Гуль.

Жена очень Вас сердечно приветствует. Она все прихварывает, и это плохо.

June 11, 1971

Милый Роман Борисович!

Спасибо за письмо от 9 июня. Буду писать Вам в Massachusetts. Относительно копии письма Вашего к владыке Иоанну С-Фр. я думаю следующее:

Лучше, по-моему, с ним не препираться. Все равно *ничего и ничем* Вы ему не докажете. Коряков же такой слизняк, что только рад будет перессорить все и вся, да еще перцу подсыпет, да соли, когда нужно. Владыка *слеп* безнадежно, слепорожденный он по отношению к людям, а его поэтические фантазии мешают ему видеть лес за деревьями. Вы пишете сильно, как кнутом хлестнули — ну и он Вам ответит, у него «семейная» газетка есть для этого — «Русская Мысль». Будете себе нервы портить, потом еще писать в «Р. Мысль», объяснять.

В СССР патриархом *назначили* Пимена, этого подпевалу и прислужника правительства. Глупейшая и вредная затея с автокефалией себя еще покажет, и лицо вл. Иоанна выглядит весьма уныло в этом свете. Пускай другие его ругают, и будут еще, вот увидите. А Вам просто я советовала бы поберечь свое сердце и здоровье. Да еще упомянув, что копию посылаете мне, Вы совсем его разозлите; я уже ожидаю длинное письмо мне от владыки с наставлениями и поучительными цитатами из Писания о Корякове и о Вас...

Насчет же «любви к ближнему» нашего владыки, я Вам могу рассказать следующее. Весной 1970 г. (в феврале) владыка был моим гостем в Принстоне (и не было сил его выпроводить). Сидел он однажды в гостиной, очень удобно и уютно расположился с книгами и журналами, и тут раздался звонок в дверь. *До этого* владыка бранил меня за то, что я на довольно частые звонки открываю прямо дверь, вместо того, чтобы смотреть в «глазок». А я этот глазок ненавижу — он был на двери, я его не просила — и не люблю, когда *на меня* смотрят через сей глазок, прежде, чем открыть. Поэтому и сама через него не смотрю.

Ну, раздался звонок, и я открываю, как обычно. Две женщины стоят, одна беременная всяма, цвет лица бледно-зеленый, губы синие. Другая — ничего собой, объясняет, что им нужно срочно продать картину за триста долларов, они уже весь Принстон объехали (картина в машине), и вот им указали на мой

дом. Владыка уже кричит: «Кто это там?» Я ему ответила: «Это ко мне» и велела им подойти к другой двери, у кухни, где другая комната и другой вход. Пошла туда, они вошли, сели, беременная попросила пить. Стала рассказывать длинную историю, зачем нужны так срочно эти триста долларов. Ну, история малоинтересная, а эта беременная была *такая* несчастная и зеленая, что я выписала ей чек на требуемую сумму, и они ушли.

Владыка чуть не задохся от негодования, когда я ему рассказала, в чем было дело. «Они — вымогатели!» — кричал он. «Подушку она подвязала и идет кланяться, наверное, на курорт хочет поехать!» Тут я не выдержала и сказала, что я могу отличить беременность от подложенной подушки, и что вообще я не понимаю, почему надо *таких* вот несчастных подозревать в обмане?

Владыко долго не мог успокоиться. Однако, много позже написал мне в письме, что был в этом случае неправ, и что я поступила истинно по-христиански.

Я Вам рассказываю этот эпизод потому, что я *тоже* не сильно верю в глубину владыкиных христианских чувств. У него много поверхностного, много легкомыслия во всем, глубины нет. Но он незлобив; все это от какого-то поразительного, совсем не пастырского отношения к жизни. В стихах его оно больше всего выражается — это бормотание, скороговорка, даже иногда и не поймешь, о чем.

Ну, Господь с ним, совсем. Мы с Вами прямо тоже сплетниками сделаемся так: каждый раз судачим о владыке. А он и не стоит того.

Я рада, что Вы видите Утю часто. Удар на нее свалился такой тяжелый — просто ужас.

Передавайте привет Ольге Андреевне от нас с Олей. Будьте здоровы.

Ваша Светлана.

1 апреля 1972 г.

Милый Роман Борисович!

Не подумайте, что я осталась неблагодарной свиньей и забыла Вас. Вашу статью о Солженицыне — просто наслаж-

дение читать. Беда только, что надо быть истиннорусским, как Вы, чтобы понять последнюю книгу А.С. Вот я уже «разведенный водой» космополит, и меня иногда славянофильство А.С. просто раздражает. А *новое* славянофильство — начала XX века — было в России, конечно, обещающим движением и заглохло на корню. Это у Вас очень хорошо показано, но ведь *кто* на Западе знает — или понимает — *историю* России? *Никто*. Дж. Кеннан лучше других, он как-то улавливает дух и смысл — иногда — но и то не очень. А Солженицына только *так* и возможно понять. Иначе — он представляется какой-то туманной глыбой неопределенного цвета.

О самоубийстве Самсонова Вы так хорошо и глубоко сказали. Но ведь это опять — *русская* религиозность, от Достоевского (литературно — от Алеши Карамазова), но *сильнее* и чище, ибо Достоевский был пророк и не дожил до тех жутких дней, через которые Россия прошла позже. А дух и смысл — те же.

Посылаю Вам нечто *очень* интересное — м.б., Вы пропустили это. Солженицын *клеимит главарей «советской» русской* церкви. И как! «Церковь, которой правят диктаторствующие атеисты». Вот *сила* слова А.С. Ведь как скажет, так в самую точку.

Вот это его письмо раздобыть бы и дать знать здесь и в Европе, чтобы перестали кланяться Никодиму и Пимену. Я *так* рада, что А.С. «отозвался» на это явление. Между прочим, Андрюша Синявский еще в «Мыслях врасплох» писал о «раболепствующей церкви». Но у него, конечно, нет той силы, как у А. С., а только правильные догадки.

Простите, что пишу с таким опозданием. У меня — плохие времена. Грустно, обидно, несправедливо. Оба страдаем — муж и я (Утя видела его в N.Y.), но ничего поделать нельзя. Он поработен ведьмой полностью. А мне *вся* его «идеология», весь этот эксцентрик Ф. Л. Райт и т.п. просто немоготу. Вот так. А пострадает дитя, Олечка. Простите меня еще раз и поцелуйте от меня милую Ольгу Андреевну. Ваша Светлана.

Февр.[аля] 10, 1973 г.

Милая Ольга Андреевна!

Спасибо Вам и Роману Борисовичу за теплое письмо, за

подарок Олечке и за Ваше милое приглашение в New York. Утя, должно быть, что-то неверно Вам объяснила, потому что у меня *никогда* не возникало мысли о возможности пробыть в N.Y. так долго. Я N.Y. *не люблю*, он меня угнетает как и *всякий* большой город. Я люблю маленькие городишки — и зелень, без которой я не могу дышать.

О N.Y. я только думала в связи с Пасхой, чтобы приехать и пойти на службу к о. Киселеву. Он — хороший и честный, я его очень люблю, хотя он об этом, должно быть, не знает.

С русской церковью дела мои плохи, я *не люблю* о. Туркевича, этого химика-физика да и мадам его тоже. Так что в Принстоне я хожу просто-напросто в американскую церковь (епископальную). Очень спокойно и славно. Священник хороший и умный, и никто ничего от меня не требует.

Но *на Пасху* хотелось бы побывать у о. Киселева. М. быть, как-нибудь устроюсь, просто с приездом на день-два. А дольше оставаться в N.Y. я не могу да и не хочу.

Передайте мой самый нежный привет Роману Борисовичу. обоим Вам желаю здоровья и меньше тревог. Какие Вы оба молодцы — просто прелесть. Я так рада, что Утя Вас часто видит. Людочка что-то грустный какой-то, как старичок. Ужасно его жалко.

Целую Вас обоих нежно. Ваши Светлана + Оля.

12 января 1977 г.

Дорогая Светлана,

Вчера к Вам ушла — по воздуху — книга Авторханова. В Нью-Йорке я не нашел ее, что было (в огранич. количестве), разошлось. Ждут нового присыла. Поэтому я послал Вам свой экземпляр. Он исчерчен мной при чтении (как всегда). Не стесняйтесь — чертите и Вы, тем ценнее будет этот экземпляр. На днях мне все-таки обещали прислать новую книгу Авторханова (т.е. новый экземпляр) и тогда я Вам его вышлю. А мой экземпляр по прочтении очень Вас буду просить мне вернуть, ибо я тоже, м.б., напишу об этой книге. Ничего не значит, что в «Н.Ж.» будет два-три отзыва о книге, она того стоит, по-моему. Тем более, что Ваш отзыв (напишите, пожалуйста, как Вы

хотели, мне просто письмо о книге, это лучше всего!) — отзыв исключительно важный (будь он положительный или отрицательный, все равно). Только когда будете возвращать мне мой экземпляр, то, пожалуйста, пошлите его «фёрст класс», ибо книги идут целую вечность, а иногда и вовсе не доходят (знаю, по грустному опыту). А так «фёрст класс» — дойдет наверное.

Искренне и дружески Ваш Роман Гуль.

Желаю от души Вам и Оленьке всего самого хорошего в Новом Году!

28 января 1977 г.

Дорогой Роман Борисович!

Я написала Вам тотчас же по прочтении, и книгу отправила к Вам — но мое письмо вернулось — я напутала адрес... Это к лучшему, так как я могу сказать сейчас то же самое, но короче.

From making any comments to the research of Mr.* Авторханов — *увольте*. Армия кремленологов и сталиноведов достаточно активна — *будут* отзывы и *рго* и *соп*. Я в *историки* событий никогда не лезла. Для Истории требуется холодный ум — таковым не обладаю.

Мои книги дают обильный материал для *всех*, кто интересуется. Я очень польщена и обрадованна тем, что вот, почти через 10 лет, наконец, обратились к моим писаниям как к *фактам*. На большее я и не претендовала. Обобщения — не моя специальность.

По существу вопроса хотела бы заметить следующее — только для *Вас*, как *личное письмо*. Г-ну Авторханову, если желаете, покажите; однако, не хочу, чтобы меня *опять* цитировали. Тем более, что ничего нового сказать я не имею.

Из моих двух книг *ясно*, *во-первых*: 73-х летнему старику с повышенным кровяным давлением безусловно *помогли помереть* тем, что оставили его, в состоянии *удара*, без врачебной помощи в течение 12 (или больше...) часов. Да еще *волокли* в другую комнату.

Что *взрослые* люди *не поняли* простого факта, что это был

* От каких-либо комментариев по поводу исследования.

удар — никогда не поверю. Признаки были налицо: паралич, потеря речи и сознания («он спит!...»).

Во-вторых: Промешкав и начав «лечить» с *таким* опозданием, да корявыми методами (описанными в «20-ти письмах»), безусловно обнаружили полное свое смятение чувств; с одной стороны, надо было соблюсти декор, с другой стороны — не могли опомниться от нечаянной радости. (Это у меня также описано — и Авторханов цитирует обильно).

В-третьих: Что Радость была Великая — и Не-чаянная, тоже было очевидно. Никакого *заговора* — или приведения такового в злодейское исполнение — я не видела и не вижу. Г-н А. ничего тут мне *не доказал*. Мою ссылку на факт болезни (последнее свидание с отцом 21-го декабря 1952, «красное лицо», «бросил курить», и т.д.) он *не* приводит. Вместо этого — ссылается на индийского посла, который-де замечает, что Сталин «был здоров» при их последней встрече в феврале. (Замечу здесь: индийцы народ *хилый*, для них 73-летний *активный* деятель *выглядит* здоровым. К тому же посол, кажется, вообще впервые видел Сталина. Как ему и судить? Как *можно* вообще судить о здоровье лица, с которым абсолютно не знаком? Не понимаю).

Однако г-ну Авторханову *сей* отзыв важнее моего, так как подтверждает его *спекуляцию*. При всем моем личном (человеческом) отвращении к Берия, я не могу согласиться с версией преднамеренного умерщвления. Это — версия и спекуляция.

Что Берия чуть ли не прыгал от *радости*, когда естественная смерть наступила — все видели. Так *он ли один* прыгал от радости? Таковых — в тот момент — были тысячи и тысячи. Что ж: всех их обвиним теперь в «заговоре на жизнь»?

Это есть *эмоциональное перехлестывание* через факты, которыми мы располагаем. Принятие желаемого за действительное. Солженицыну куда как *хочется*, чтобы тугана убили — он и пускает полунамек-полусплетню, что «возмездие состоялось». Что ж, и Берия памятник за это ставить будем? Или — помянем в молитвах?

В четвертых: Я же пишу в «Одном годе», что в тот момент«... каждый хотел — и мог стать — Великим Освободителем. В том числе и Берия». Хотел — и мог. Однако, зная

Великого Освобождения вырвал у всех из рук Никитушка, хитрый мужичок-дурачок. Как в сказке — обскакал всех! Только *без юмора* возможно принять этого «деятеля» *всерьез* — и все его мемуары... Господи, белиберда какая. Удачливый мужичок-дурачок Никитушка (чем не Иванушка?...) *всех* обхитрил — даже коварного Берия. Ну чем не волшебная сказка?

Однако и сказке бывает конец — и Никитушке *напомнили*, что он не деятель, а персонаж фольклорный, как Петрушка. И — убрали веселого Петрушку в его соответствующий ящик. *Finita la comedia. Заметим здесь:* надо подождать, пока пройдет время и опубликуют мемуары (истинные!) Анастаса Микояна: вот *кто* имел холодный ум всегда: он и напишет историю. Однако, не будем и *его* подозревать в объективности.

Объективная история сов. режима может быть написана *только* извне СССР — и не г-ном Авторхановым (эмоционален тоже, к сожалению!), а каким-нибудь профессором Harvard'a или Oxford'a. *Абсолютно необходимо* англосаксонское рациональное *fair play* и объективность, чего у русских (прошу меня простить!) нет.

Солженицын с его «историей» — ничего, кроме эпилепсии и одержимости не откроет миру. И никакие исследования *с позиции* одержимости, ненависти и истерической склонности *всюду* видеть убийства не помогут раскопать истинное положение вещей.

Ленина не отравили (сам вогнал свой мозг в необратимый склероз). Горького не отравили! Подхватил грипп от своих малых обожаемых внучек (свидетельство известного педиатра Г. Н. Сперанского). Жданова не убивали: помер своей смертью, большое сердце (каждый раз, как звонил телефон, наступал припадок — свидетельство близких).

Маму мою никто не умерщвлял! Сама решила на это. (Были до нее — Маяковский, Есенин, многие другие. Это было *в воздухе*). Отец помер от удара — *оставил себя* без врачебного надзора (Виноградова посадил) — и *его оставили* без помощи, когда удар случился.

Возложим сие на плечи *всех тех*, кто правил (и правит) Россией и посейчас. Философия этих людей *жизнь* во внимание

не принимает. Что *все они* способны переубивать друг друга — прямо или косвенно — я не сомневаюсь и не сомневалась (когда убегала оттуда).

Что *оппозиция* Сталину была наверху в 1952-53 гг. — весьма вероятно. Да и он сам — под воздействием высокого давления — не помнил, что творил. Безусловно — думал о скорой смерти и думал, *как* и *кому* передать власть. В этом — и вся штука.

Жданов был слаб и труслив, повторял без конца: «Только бы не пережить!» — (близким), что означало, что он *никак* не претендовал в наследники престола. Он этого страшился. Лечил его преданный семейный врач, Гаврила Иванович Майоров (уж никак не сионист!); и вскрытие делали в ванной комнате на Валдае, — в той даче, которую построили, как правительственную резиденцию для отца; он там никогда и не побывал. Семья Жданова *боялась*, что Гаврилу-лекаря обвинят в «злодейском лечении». Все возможное делали, чтобы выразить Гавре полное доверие и сочувствие. Однако — час настал — и Гаврила Иванович попал не то в сионисты, не то в шпионы. «Молодую N. я видела где-то на вечеринке. Ничего особенного в этом факте нет. Никакой атайны, как это кажется г-ну А.

Надо сказать, что г-н А. обладает исключительным знанием деталей жизни сов. верхушки. Напомню опять *версию* Ольги Шатуновской: «не было у Берия большего врага, чем Киров», который *арестовал* Берия на Кавказе и велел расстрелять (1919-20 гг. ?), да началось отступление и позабыли привести в исполнение.

Шатуновская говорила (мне): «Если бы Орджоникидзе и Киров остались в живых, то для Берия не могло быть дороги наверх». Безусловно, Берия вел большую и опасную игру. *В такой игре* — входить в опасность прямого заговора на жизнь отца было бы безумной глупостью. Берия был *умен*, как бес, ждал и знал, что власть к нему *и так* перейдет. В силу течения времени. Однако народную смекалку Никитушки-мужичка во внимание не принял! Плохо знал русский фольклор.

Брата моего Василия я бы очень хотела видеть таким бравым, *храбрым* генералом, каким видит его г-н А. К сожалению, брат был *разрушен* алкоголем физически и умственно

уже к 1950-му году — вполне. Он *был* отстранен отцом после скандала на авиапараде в мае 1952 — это я помню и знаю лучшие, чем г-н А.

После этого — сидел дома и пил пуще прежнего. Лаврентия Павловича и Абакумова — обожал: «сильные личности»; и в политике не понимал *ничего*. Потому увязал то и дело в распри наверху — поддерживал то того, то другого — и *сделал* себе огромное количество врагов. Когда отец помер, все эти издавна озлобленные лица обратились против Василия. Он кричал — «убивают!», потому что он *всегда* кричал и шумел. *Что* происходило, ему было столь же *мало* известно, как и мне. Голову он потерял в 1953 году оттого, что *знал*, что без отца его уже *никто* не защитит. Он — *тоже* — ускорил и приблизил свою смерть в 1962 году (41 год) — не будем и здесь подозревать убийства...

Простите за длинноты и за эмоции. Я очень настаиваю, милый Р.Б., что все это — только *entre nous*. Мои две книги содержат *все*, что я знала: надо лишь уметь читать внимательно. Спасибо за это Авторханову, однако, — по comments,

Как всегда — Ваша Светлана.

**В ближайшее время выходит из печати 3-й том
трилогии Р. Гуля**

«РОССИЯ В АМЕРИКЕ» Составители Ю. Кашкаров и К. Радыш

Об эмиграции — Великий исход — На стекольной фабрике — У мадам Пруст — Шато Нодэ — Мсье Ле Руа Дюпрэ — Сережа и граф — Меринов-Шпейер из Тулузы — Ротмистр Рустанович — Пайес — Париж — Мой уход из масонства — Совпатриоты и коллаборанты — В. А. Лазаревский — С. П. Мельгунов — Виктор Кравченко — Н. В. Вольский — Б. И. Николаевский — «Народная Правда» — Лига Борьбы за Народную Свободу — «Новый Журнал» — Переписка через океан Георгия Иванова и Романа Гуля — Томас Витни — Джордж Кеннан — Д. Шуб — Юлий Марголин — Полет в Израиль — К вопросу об «автокефалии» — С. Аллилуева — Переписка Р. Гуля и С. Аллилуевой.

**O. Radysh. P.O. Box 1843
Cathedral Station
New York, N.Y. 10025**

РОДОСЛОВНАЯ СОФИИ

Софиология в германской мистике

Софиологическое течение, истоки которого теряются во тьме веков и доисторических культур, то уходя под землю, то всплывая в качестве определенных образований-систем, то снова давая знать о себе в виде интуиций и вдохновений, можно проследить вплоть до наших дней.

Наметим самые крупные звенья в этой цепи: астрологические культуры и мистерии. Платон, хохмическая литература Ветхого Завета, Апокалипсис, Филон Александрийский, Плотин, лжегностицизм, христианский гнозис, св. Григорий Нисский (331-394 гг.), Псевдо-Дионисий Ареопагит, св. Максим Исповедник. Визионерская струя софиологии у одних мыслителей сменяется струей спекулятивной, умосозерцательной, у других — мистической, безобразной.

Визионерский вариант софиологии обрел оригинальное оформление у немецкого мистика-протестанта Якоба Беме (1575-1624 гг.), к рассмотрению учения которого мы и перейдем.

«Я буду писать по духу и смыслу, а не по внешнему воззрению», — писал Беме во вступлении к своему главному труду, и этой своей установке он оставался верен. Беме соединял современные ему натурфилософские категории с психологическими переживаниями. Мистический опыт Беме не был просветляющим и умиротворяющим, как, например, у Бонавентуры или, скажем, у Иоанна Креста. У Беме доминирует чувство космического зла, чувство греховности, и он везде осознает люциферианский элемент как оборотную сторону божественной медали. В этом сказался дух его народа, недаром ведь его прозвали «тевтонским», или «немецким», философом.

Весьма характерно для него то, что он ненавидит «внешнюю ученость» и ее символ — латынь. Не тонкосплетения схоластического разума, а простая вера в очевидность того, что ему в мистических видениях открывается, не чуждая латынь или эллинская премудрость греческого языка, а родной немецкий язык — орудия его мысли и их выражение.

Учение Я. Беме системно, его софиология представляет собой лишь фрагмент его теoантропокосмогонии. Поэтому нам придется вкратце изложить основы его учения, тем более, что оно повлияло в некоторой степени на русских софиологов и на русских не-софиологов, например, на Бердяева, причем это влияние могло идти либо по прямой линии, либо через Шеллинга. Для того, чтобы подойти к основной идее Беме, нам необходимо вернуться, на короткое время, к Платону и Плотину.

Исходя из положения, что в мире всякая вещь и всякое явление имеют свое основание, свою причину, которую он назвал «ипотесой», Платон заключал, что это движение в регрессивном направлении выражается в дурной бесконечности следствий и причин, выход из которой возможен путем возведения ее, так сказать, в интеграл, находящийся *над* этой цепью; иными словами, он определил, что должен существовать *трансцендентный принцип* имманентной причинности, который он назвал *безыпотесным принципом* («беспредпосылочным началом»).

Этот безыпотесный принцип предшествует не только всем вещам и явлениям физического мира, но и первой дифференциации на мир материальный и мир идеальный, их в себе предзаключая. В нем коренятся и из него выходят все гетерогенные элементы и полярности: бесконечность и предел, множественность и единичность, идея и бытие, и т.п.

Платоновское понятие безыпотесного принципа Плотин называл, вслед за Платоном, Единым и отделял его апофатическим барьером от всего остального существующего, мыслящего и познающего.

По ареопатическим каналам это понятие дошло и до Якоба Беме, который назвал его Бездной (Унгрунд), первой дифференциацией, которая проявляется в явлении Бога и Вселенной. Определения божественной сущности самотождественны, но

дискурсивному разуму они предстоят в качестве некоего теокосмического процесса. А именно: так как вне бездны ничего нет, то для своего самообнаружения она, в роли Духа, смотрится в самое себя и таким образом раздваивается на созерцающую мировую силу и созерцаемое мировое содержание, т.е. на Божество и Мир. В этом первичном, вечно повторяющемся акте саморождения Божества выделяется полюс *самосознания* и полюс чреватой всеми возможностями *природы в Боге*. В самообнаружении выявляется и Троиединство: Отец как *воля*; Сын как *идеальная сила*, и Дух как *акт* (для определения этой триады Беме употребляет натурфилософские термины: сок мира, идеальная сила, и струящаяся сила).

В Отце возгорается любовь к Сыну («удовольствие в мудрости»), и в этом божественном мире «играет» струящаяся сила Духа, которую Беме также определяет, как «обиталище Бога», Вечную Деву, саму из себя порождающую мир. Из этого следует, что первичная дифференциация Бездны на Бога и Мир говорит, скорее, о мире идеальном, *прототипе мира*, нежели об актуальном мире. Последний создается Богом из противоположения Троиединого Бога Своей природе, т.е. *centrum naturae* или *matrix*.

Затем у Беме говорится, что «обнаружение божественных сил в природе производит царство ангелов» (в какой природе — божественной или тварной?) Далее, царство ангелов подразделяется на три подцарства: «*божественная сущность*, представляемая в благородном спокойствии, является в царстве Михаила; *божественная сила*, блистающая в светящейся красоте, — в царстве Люцифера; *божественная деятельность*, неустанно творящая мир, — в царстве Уриила. Им противостоит совершенная личность, Христос, содержащий в себе соединение всех ангельских сил в высшем совершенстве; в то время, как ангелы являются лишь божественными явлениями сил, Он — личность вполне, Сын, рожденный от вечности, и сердце Отца».

Но и это — не конец творения. Разделение *первокачества* в Божестве образует семь образов «реального» мира; в каждом из этих образов проявляется принцип божественной тройственности, упомянутый выше. Здесь у Беме высиупают не только на-

турфилософские мотивы, но и мотивы алхимические, в чем сказалось влияние Парацельса.

«Софиология Беме не может быть объяснена влияниями и заимствованиями», — пишет Н. Бердяев, ссылаясь на французского исследователя А. Койре.* Самостоятельность взглядов Беме не подлежит сомнению, но, на наш взгляд, не подлежит сомнению и то, что частичные гностические влияния, возможно через Каббалу, имели здесь место. Упомянем хотя бы бросающиеся в глаза аналогии в области антропоморфизма, пантеизма и «эонизма», которые окрасили систему Беме. Отметим и различие: в Каббале София-Премудрость, именуемая *Сефиром-Эхохма*, — мужского рода и является аналогом греческого и новозаветного Логоса; у Беме же она именуется «Божественной Мудростью», «Девой», и, ясное дело, она — женского рода. Хотя не совсем; иногда она выступает в качестве чистого элемента женственности в сочетании с мужественным началом андрогинного (муже-женственного) небесного человека — до его падения.

Приведем несколько текстов, софиологических по преимуществу:

Итак, София (мы будем употреблять привычное имя, хотя сам Беме его редко употребляет) впервые выступает как «обиталище» Бога, Его природа, всерождающая «матрикс» или, как определяет Ориген, «натура натуранс». Наряду с Троицей Отца, Сына и Духа «в качестве четвертого выступает Выдох (*das Ausgehauchte*), который Отец в Сыне выдыхает звучанием Слова или голосом Духа — вечная Мудрость и Всеумудрость, ибо в этом открывается то, *что* Бог есть в Своей глубине. Мудрость является Откровением Бога и телесностью Святого Духа, телом Святой Тройственности». И далее Беме поясняет: «под этим подразумевается не природа или тварь, но вечная изобразительность божественного Слова и Воли». Это бемевский вариант, так сказать, нетварной Софии.

«Бог-в-Себе, как первоначальный мир, есть Бездна, о которой никакая тварь не может знать чего-либо. Даже сам Бог не был бы объектом самооткровения в своей бездонности, если бы Его Мудрость не служила Ему преемственной основой (объективации — Г.Э.), о чем вожделелось вечному волеию божест-

венной Бездны и из чего возникло божественное воображение; бездонная воля Божества от вечности сочетала в воображении мощь зрения (мвиденья — Г.Э.) с чудом изображения и отображения».

«София есть великая тайна божественного искусства, так как в ней открываются силы, цвета и добродетели; из нее выделяется сила разума; она сама является божественным разумом в качестве божественного самосозерцания, в котором открывается единство; она есть правдивый божественный хаос, в котором все почивает в категориях божественного воображения, в котором идеи ангелов и душ от вечности в божественном равнообразе (образе и подобии — Г.Э.) созерцаемы были не в качестве тварей, но в качестве отражений, наподобие того, как человек видит себя отраженным в зеркале».

«Таким образом, мы видим, что все происходит от Вечной Матери. Как она сама пребывает в постоянном рождении, так она родила и этот мир, и каждая тварь будет рождена. И как она сама в своем исхождении выражается во множественности, так и каждый источник снова является центром рождения и разделения, но не по частям, а самостоятельно; таким образом, этот мир был рожден Вечной Матерью, которая и есть эта Родительница».

В другом месте Беме называет Софию «Матерью, в которой действует Бог». Там же он продолжает развивать мысль, что София пребывает в браке с Богом: «Премудрость есть Его (Бога) Невеста, а дети Христа во Христе и Премудрости — тоже Его Невеста» (церковь — Г.Э.).

Подобно тому, как Божество обладает в себе мужественным и женственным началами, так он и человека замыслил андрогинным (муже-женственным). Между Софией в Боге и «Евой» в человеке имеется полная аналогия. Адам до грехопадения был «небесным человеком», в нем «Ева» жила как дева, как душевно-телесная сердцевина его духа, в чем и сказалось его богоподобие. София есть образ Божий в Боге и в человеке: отображая в себе Бога, она изображает Его в человеке. Она есть праобраз, открывающий Бога человеку и человека Богу.

Софиология у Беме связана с мариологией и в этом аспекте она послужила основанием для его своеобразной концепции

грехопадения. У Беме грехопадение человека состоялось, в метафизической сфере, при следующих обстоятельствах.

До сих пор, пока мир был в Боге, все его свойства оставались в совершенной гармонии, разнообразие сил и свойств составляло единство целого. Но взбунтовавшийся Денница пожелал сам стать Богом и по-своему обладать миром, чем внес *разделение, расколотость, самость и враждебность* в доселе существующее гармоническое единство. Он увлек за собой и Адама, который возжелал сущности вещей в себе, в их раздельности и многообразии. В результате этого выбора Адам выпал из божественного мира в *мир множественного бытия* и тем самым утеряти свой софийный элемент, расторг свой брак с Софией. В мире Денницы он стал однополым и одиноким, подверженным всем законам пространственного и временного бытия. Тогда Бог сжалился над падшим Адамом и создал для него Еву, мать земной жизни, дополнившую — уже внешним образом — мужское начало Адама своим женским началом. Так произошло разделение полов на земле. Эрос обрел свою земную форму влечения одного пола к другому, никогда ненасытимого, вместо онтологического единства приносящего множественность (размножение рода человеческого).

Искушение Адама и Евы в раю, по Беме, было не началом, а результатом падения. Расторжение брака с Софией в метафизическом плане получило свое завершение в том, что после запрещенного вкушения плода от древа познания добра и зла прародители «оплотились», стали физическими существами.

София, мать всего существующего, принимает на себя, по воле Бога, роль избавительницы. Бог предрекает земному человеку, что «семя Жены сотрет главу змея». Это обетование неоднократно повторялось: София. Божественная Премудрость, была субъектом повторяемого «многочастне и многообразне» откровения, указывающего на предстоящее избавление. Когда мир и человечество оказались подготовленными к чуду явления в мире Спасителя, София воплотилась в Марии и тем самым уготовала путь воплощению Логоса. Но воплощение Софии не было такого рода, что она *стала* Марией. Мария исполнила роль человеческого сосуда, в который вошла София, так что Матерью Иисуса Христа была не Мария в своем человечестве, в

своей человеческой природе, но обитавшая в ней София. В этом духе объясняет Беме смысл слов Благовещения: «Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя» [Лук.1.35].

О. С. Булгаков в «Свете Невечернем» подчеркивает, что бемевская мариология несет на себе все черты протестантского богословия, не объясняя, каким образом логос обрел в зачатии свою полную человеческую природу. Возможно, здесь на Беме повлияла католическая доктрина «сверхъестественной благодати».

Так в земную деву Марию в Благовещеньи вошла Приснодева София, учит Беме, чтобы в зачатом Иисусе Христе вновь сочетать воедино два пола. Рожденный «дево-юноша» Иисус Христос, второй Адам, восстановил в себе изначальную андрогинность, присущую до грехопадения первому Адаму.

В Иисусе Христе сочетаются Логос и София, которую Беме называет и Невестой Бога, и Невестой Христа. Из этого следует, что София — Невеста во Христе возрожденного человечества, а Сам Христос является то Женихом, то Невестой. «Женихом Он является в качестве Супруга Софии, небесного божественного образа, а Невестой — будучи Сам этим образом, брачующимся с душой. В качестве светлого начала души, Он — Жених, в качестве же небесной Девы, которая сочетается браком с огненным началом души, Он — Невеста. Одно сокрыто в другом, одно присутствует в другом... Решающим же является то, что этот брак между Христом и Софией совершается не в какой-то отдаленной от человечества зоне, но в самих людях».

София есть Невеста Христа и Его мистическое тело; в качестве такового она выражает духовную Церковь. Ссылаясь на слова ап. Павла о том, что супружество есть «великая тайна» (Ефес. 5, 32), в которой муж и жена соединяются в «единую плоть», Беме говорит, что в любви в муже пробуждается душевно-женственная сущность, а в жене — мужественно-духовная. Духовная воля мужа соединяется с душевным духом жены таким образом, что в каждом человеке рождается Христос как единение вечно-мужественного с вечно-женственным. Христос и София празднуют свой брак в душе сочетавшихся браком; Небесная Чета обновляет первичное райское единство божест-

венного образа. Беме выражает это в словах Софии, обращенных ко Христу:

«Мой благородный Жених, утешайся, я обручена Тебе в моей высочайшей любви и связана узами моей верности. Я желаю при Тебе и в Тебе быть во все дни до скончания мира; я желаю придти к Тебе и внутри Тебя сотворить обитель; пей из моего источника, ибо я — Твоя и Ты — мой, и враг да не разделит нас. Действуй в Твоем огненном естестве, а я уделю Тебе для Твоих дел изучение любви. Мы желаем построить виноградник Иисуса Христа. Дай сущность огня, а я дам сущность Света и Развития. Будь Пламенем, я буду Влагой; да исполним в этом мире то, к чему мы Богом предопределены, чтобы служить Ему в Его храме, какой мы сами есьми. Аминь».

Вкратце можно сказать, что Беме определяет *Софию*, *Божественную Премудрость*, как вечную, нетварную и нерожденную небесную Деву, олицетворение целомудренности, пренепорочности и парфеногенетического Материнства, «образ Божий и сообраз Троицы».

Учение Беме — это уже до некоторой степени закат западного мистицизма. Под его влиянием был английский мистик Джон Пордидж (1625-1698 гг.). Один из его главных трудов назван «София». В учении Пордиджа сильно сказываются каббалистические мотивы и влияние александрийской школы, а также «хилиазм» древних греков.

София, согласно Пордиджу, есть деятельное и преобразующее начало не только в человеке, но и во всем мире. У человеческой души дух-мать — Дева София, а отец — дух вечности. Когда Пордидж говорит, что Божье сердце живет в сердце человеческом, а человек живет в Боге, то это созвучно и индийской религиозной философии. Пордидж так определяет Софию: «Я — девственная Премудрость моего Отца, который без меня ничего не может творить, как и я не могу творить без Отца, Сына и Св. Духа... Единая со Св. Троицей, то, что я делаю, делает Отец, Сын и Святой Дух; я ничего не делаю от себя, но во мне действует Св. Троица». Как мы видим, здесь — повторение мыслей Беме. Пордидж считал, что все библейские личности женского пола, включая и Приснодеву Марию, были образами Софии. Софиологические элементы можно найти

и в его трудах «Метафизика божественная и истинная» и «Мистическое богословие».

Софиологическое учение Беме не привилось на Западе, за исключением, пожалуй, *Франца фон Баадера* (1765-1841 гг.), который, не будучи софиологом в прямом смысле этого слова, сочетал мистику Беме с современной ему немецкой философией, прежде всего, Канта и Фихте.

София в России

История философии напоминает мне звездное небо. Есть здесь луна (это философия, которой я следую), есть созвездия (разные *школы*), есть светила первой величины (прокладыватели новых направлений); и есть множество разной величины звездочек (философские пешки); а там, — выше, вернее, дальше, — какие-то туманности (религиозно-философские системы Азии, мало мне известные, разве что понаслышке).

Знаю, что на южном небосклоне, который мне не виден, имеются свои светила, созвездия и туманности... И все это опоясано логосно-софийным Млечным Путем. Все эти макроатомы Вселенной либо проливают, либо отражают космический свет — все пространство между ними наполнено легким свечением... Если бы человек обладал космическим компьютером, то, вероятно, смог бы высчитать математически пропорциональное соотношение силы светоизлияния любых астрономических элементов. Но практически, в данное время — это невозможно. Ученые постулируют, что гул от первовзрыва вселенского пратома все еще слышен в межзвездном пространстве, ибо... ему некуда деваться: ведь *вне* Вселенной нет ничего.

Точно также, «мутатис мутандис», обстоит дело и с разумом. Любой объективированный проблеск человеческого разума будет существовать столь долго, сколь долго будет длиться жизнь человечества.

Когда началась философия? Историческая наука зондирует прошлое всего лишь на глубину нескольких тысячелетий. Три тысячи лет тому назад уже существовал великий греческий

язык. Сколько тысячелетий и сколько культуры потребовались на то, чтобы создать его? Но не только греческий язык поражает нас своим богатством: две с половиной тысячи лет тому назад в Греции уже процветала философия, которая, по существу, трактовала те же темы, которые волнуют нас и сегодня, в несколько ином, правда, оформлении.

Между крупными философами можно провести нити связи, выявить некую преемственность. Хорошо, когда можно проследить связь тем и решений. А сколько мыслей и концепций возникло в истории, не оставив *видимого* следа, но включившись в создание того, что метафорически можно было бы назвать «философским магнетическим полем», или философским климатом данной эпохи.

Существуют так называемые странствующие сюжеты, или странствующие темы; к ним принадлежит в некоторой степени и тема Софии. Проследим, поскольку это возможно, как эта тема освещалась в России.

Нам представляется не один, а несколько каналов, через которые софиологическая тема проникла на Русь, найдя там благодарную почву в сохранившемся в родовой памяти языческом культе Матери-сырой Земли, отраженном в былинах и «духовных стихах». Русские князья, приняв от Византии православие, перенимали и формы византийского благочестия и по религиозным причинам, и по причинам государственно-политическим, для национального возвеличения (титул царя, герб с двуглавым орлом и т.п.). Построили они и церковь Св. Софии, наподобие храма Айя-София в Константинополе — сперва в Киеве, затем в Новгороде и в других городах. София пришлась по сердцу русскому народу, отождествившему ее интуитивно с Богородицей.

Прошли столетия, пока в России появились переводы святоотеческих трудов: духовно-интеллектуальный путь из Византии на славянский Север был снова проторен. Нельзя, конечно, говорить о том, что этот путь служил миграции софиологических тем, как таковых, но все-таки богословская проблематика, включавшая неоплатонические мотивы, начала постепенно, очень медленно, находить почву для будущих образо-

ваний. «Ареопагитики», впервые переведенные на славянский язык в 1371 г. болгарским монахом Исайей, вскоре начали проникать в рукописных списках и на Русь.

Но софиология, как таковая, пришла к нам с Запада и тоже по двум каналам: непосредственно от Беме и от него же — окольным путем — через немецкую философскую школу Шеллинга, Шопенгауэра, отчасти, формально, через Гегеля. Эта софиология была философски очищена не только от религиозно-мифологических элементов, но и от своего названия, однако, ее *интуиции* сохранились и были развиты в тех учениях, которые мы знаем как учения о *всеединстве*.

Философия Беме была известна на Западе, его идея «Унгрунда» наличествует в позднейших абсолютологических концепциях немецкой философии, иногда, впрочем, измененная почти до неузнаваемости.

Внецерковный гностицизм, называемый иначе лжегностицизмом, не исчез с лица земли в первые века христианства, но, претерпев поражение в битве с христианским гнозисом и его апогетами, ушел в подполье: он продолжал существовать в эзотерических обществах, хранивших древние традиции.

Один из древнейших орденов, орден «Братьев Востока», основанный в Константинополе в 1090 г. императором Алексеем Комненом, положил начало целому ряду позднейших орденов разных направлений и разных настроений.

Якоб Беме принадлежал к «Духовной Алхимии», следовавшей старинной традиции, и называл себя розенкрейцером. Об этом упоминает история философии В. Виндельбанда.

Родственной этой традиции была организация ордена «Неизвестных Философов», членом которой сто лет спустя после Беме был его переводчик и комментатор Рудольф фон Зальцман.

С другой стороны, существовала эзотерическая традиция иллюминатов, внецерковных мистиков, притязавших на таинственное познание как результат прямого откровения, «просвещения» свыше. Всевозможные ордена, начиная с религиозных и кончая псевдонаучными и политическими, существовали в Западной Европе во множестве: некоторые из них стали масонскими орденами, которые, в свою очередь, подразделялись на множество «лож». Среди иллюминатов в XVIII веке выделялся Мар-

тинес Паскуалис (1715-1779 г.). Его собственный толк, получивший по его имени название *мартинистов*, был квазирелигиозной школой, в которой он сам занимал пост «первосвященника». Среди учеников Паскуалиса был Луи-Клод де Сен-Мартен (1743-1803 гг.), ставший затем личным другом основателя мартинизма (французских) и секретарем ордена. После смерти Паскуалиса в ордене начались распри, и Сен-Мартен ушел из него. В 1791 г. Сен-Мартен познакомился с Зальцманом и, хотя сам он уже достиг степени розенкрейцера в ордене Паскуалиса, Сен-Мартен получил от Зальцмана новое посвящение в орден «Неизвестных Философов».

Через своего друга, русского дипломата князя Б. Куракина, Сен-Мартен стал насаждать мартинизм в России. Среди «духовной литературы, притекавшей с Запада в Россию, были, ясное дело, и сочинения Якоба Беме. Кроме *этого канала*, существовали и другие, но нас интересует именно бемевское наследие. Русское «теургическое беспокойство», выразившееся в XVIII веке в отходе от церкви большинства просвещенных людей, широко открыло умы и сердца наших мыслителей к западному влиянию. В Россию, ощущавшую тогда культурный вакуум (как это теперь принято выражаться), хлынули мутные потоки лжемистицизма, натурфилософского магизма и др.

Один из тогдашних мартинистов свидетельствовал, что «мартинисты с увлечением стали *изучать труды Якоба Беме, Мейстера Эккхардта*, старинных авторов — Кунрата, Кирхера, Агриппу Неттесгеймского, Парацельса и, конечно, сочинения Луи-Клода де Сен-Мартена. По инициативе Н. Новикова в Москве было учреждено «Дружеское Ученое Общество» и при нем — «Вольная типографическая кампания» для издания, главным образом, книг *эзотерического характера*. Были изданы сочинения Фомы Кемпийского «О подражании Христу», роман Апулея «Золотой осел», содержащий эзотерический миф об Эросе и Психее и описание посвящения в мистерии богини Изиды в Александрии и др.

Конечно, русская интеллигенция того времени интересовалась не только эзотеризмом. Разнообразная мыслительная накипь, развивавшаяся на Западе, частично нейтрализовалась столетиями приобретенной схоластической закалкой, дававшей к

ней некоторый иммунитет. В русском же котле смешанные соки различных лоз дали такой «купаж», о котором наши культурные виноделы и не помышляли.

Первые софиологические всходы, еще несмело выраженные, мы находим у *Григория Сковороды* (1722-1794 гг.). Его интуиции, однако, не вылились в определенные софиологические формы.

Одним из первых русских софиологов является гр. М.И. Сперанский (1772-1834 гг.), хотя сам он не был оригинален, так как, через мартинистов, восходил к Беме. «От Беме, Сен-Мартена и других мистиков-окультистов Сперанский переходит к мадам Гюйон, Фенелону, потом — к святым отцам», — пишет о нем о. В. Зеньковский. Любопытен отрывок из рукописи Сперанского, процитированный о. Павлом Флоренским:

«Подобно жене (т.е. Еве) сия первая жена (София — Г.Э.) была не создана и не рождена, но устроена отделением части собственного бытия Сына; и сие есть первое и исконное отделение, первая жена покорности, принесенная Отцу, первая степень того умаления, которое впоследствии доведено до самой смерти и смерти крестной. Имя жене *София*. Она есть то знание, которое имеет Отец и Сын; но она есть созерцание их желания, зеркало, в коем Слава Их отражается. В отношении к Отцу она есть дочь Его, ибо составляет часть его сына. В отношении к Сыну, по закону Отчей любви, она есть сестра Его. В отношении же к закону и воспроизведению она есть Его невеста. В отношении к будущим рождениям она есть мать вне Бога сущего, ибо сама она есть первое внешнее существо. Сын передал устройство закона бытия жене. Себе же оставил только закон Любви. Подобно тому как Ева уделением славы, бывшей первоначально в Адаме, получила право быть мати всем живущим на земле, так предвечная Ева подобным сему уделением небесного семени соделалась мати всех сущих на небеси. Но сии рожденные что суть? — боги; ибо, во-первых, семя их в начале есть божественное, а во-вторых, самое семя сие было бы бесплодно, если бы сила Сына, яко мужа, не осенила их мать, яко жену. Таким образом возник мир духов первозданных — типы и образы всех грядущих созданий. И лик бесплотных ангелов возопил: «Слава в вышних Богу». Земли тогда еще не было».

Построением софиологической системы Сперанский не занялся. Основателем русской софиологии следует считать *Вл. Соловьева* (1853-1900 гг.). Однако, при всей его любви к систематизированию, систематической формы своей софиологической концепции он не придал. А может быть, он чувствовал, что в этой области голос эстетики и мистической фантазии звучит громче, чем дискуссии и логики? Поэтому столь широким оказался его софиологический спектр: от сущности Божества . . . до Прекрасной Дамы (или “die Ewiges Weibliches”).

Соловьев был хорошо знаком с эзотерической литературой, в частности, с Каббалой. Интересно его письмо, цитированное тоже о. Павлом Флоренским: «У мистиков много подтверждений моих собственных идей, но никакого нового света, к тому же почти все они имеют характер чрезвычайно субъективный и, так сказать, слюнявый. Нашел трех специалистов по Софии: Георг Гихтель, Готфрид Арнольд и Джон Портедж. Все трое имели личный опыт, почти такой же, как мой, и это самое интересное, но собственно в теософии все трое довольно слабы, следуют Бему, но ниже его. Я думаю, София возилась с ними больше за их невинность, чем за что-нибудь другое. В результате настоящими людьми все-таки оказываются только Парацельс, Бем и Сведенборг, так что для меня остается поле широкое».

Из вышеприведенных только Беме был подлинным софиологом: ни Гихтель, ни Арнольд, ни даже Парацельс и Сведенборг на развитие софийной концепции не повлияли.

Начнем рассмотрение софиологических идей Соловьева с самых отвлеченных. О. В. Зеньковский считает, что идею Абсолюта Соловьев развивает под влиянием Шеллинга. Это правда, но обоим мыслителям следовало бы сопоставить с Беме. Мы уже упомянули, что отправной точкой у Беме является понятие Бездны (Унgrund), т.е. еще не самопроявившегося Божества. У Соловьева это — *Абсолютное как сверхсущее*. Далее, по Беме, в результате первичной рефлексии божественная Бездна претерпевает первичную поляризацию на субъект сознания-мышления и объект сознания-мышления, т.е. на Бога и мир, или, другими словами, на Бога и Его природу. У Соловьева *Абсолютное сверхсущее* поляризуется на *первое Абсолютное — как сущее*, и на *второе Абсолютное — как становящееся*, т.е.

на Абсолют-в-аспекте-бытия и на Абсолют-в-аспекте-разума (онтологический и интеллигибельный аспекты). Здесь Соловьев, на наш взгляд, допускает неясность, ибо *становящееся* и *интеллигибельное* не есть одно и то же. Согласно привычному словоупотреблению, *становление* относится к тварности. А ведь на этой стадии и у Беме и у Соловьева — тварный мир еще не создан.

У Беме процесс внутренней объективизации Бога предполагает три Лица и *четвертое начало*, открывающее глубину Божию, т.е. Премудрость-Софию. Соловьев тоже учит о Троиединстве Абсолютного начала, которое есть не только истина Откровения, но и постулат разума; триединое абсолютное начало выражается... и здесь мы найдем целый ряд эпитетов: космос, идеальный космос, начало или производящая сила бытия, множественность форм, таинственный и загадочный особенный вечный мир, сфера вечных идей.

У Беме Премудрость-Дева-София есть «телесность Святого Духа, тело Святой Троиственности»; у Соловьева София есть «вечное тело Божества и вечная душа мира», «субстанция Св. Духа».

У Беме София есть восприемница божественного откровения сил, цветов и добродетелей; у Соловьева «София — великое, царственное и женственное Существо», «воспринимающее Божество», а также принцип множественности.

У Беме говорится о внутрибожественном *хаосе*, в котором божественное воображение видит прообразы ангелов и душ. Соловьев же пишет: «Возможность хаотического существования, от века содержащаяся в Боге... Но Бог любит хаос в его небытии, и Он хочет, чтобы сей последний существовал».

Тема сотворения Богом мира, физического мира, не выражена ясно ни у Беме, ни у Соловьева. Несколько заостряя недоговоренности обоих, можно сказать, что наш мир есть лишь некое состояние мира божественного, ибо оба философа не проводят радикальной черты между нетварным и тварным.

Итак, по Беме, первое состояние мира есть следствие противоположения Троиединого Бога своей природе, в результате которого выделяется *царство ангелов*. Царство это, ипо-

стасированное Христом, имеет три аспекта: спокойствия (Михаил), красоты (Люцифер) и деятельности (Уриил).

Вторая ступень сотворения мира, уже реального, но еще не падшего, является результатом разделения первокачеств в Божестве на семь «образов», вернее, «конфигураций»: 1) стягивающее, твердое, терпкое, сила (вследствие которой вещи уплотняются), принцип множественности, остановка; 2) разделяющее, подвижное, сладкое, принцип растяжения, бегства; 3) вещественность, «горькое мучение» или «мучение страха», *истинная материальность*. Из тесного соединения этих трех первых «начал» возникает 4) огонь, а из него 5) прекрасный свет, царство радости и света, «любовь-свет-огонь», «область святой любви»; затем 6) звук, звон и тон, царство сообщения, взаимного «понимания и познания». И, наконец, все шесть «состояний» соединяются в седьмом, в *идеальной телесности*, полном и совершенном самообнаружении природы.

Неясно, каково соотношение Софии как «телесности триединственного Божества» к этой «идеальной телесности». Следовало бы логически заключить, что они тождественны, хотя тождество это непонятно и необоснованно. Беме предупреждает, что его схема не представляет собою единожды совершившегося процесса с последовательной фазностью во времени, но что, наоборот, это есть вечный процесс в Божестве, процесс вневременный.

Как же был создан наш физический, тварный мир? И здесь Беме неожиданно вводит в идеальный божественный мир элемент свободы: ангел Люцифер «увлекся *centrum naturae matrix retum* и захотел с ним и в нем *по-своему* создать мир; он увлек с собой первые четыре элемента или образа мира для самостоятельного существования и этим спровоцировал, так сказать, Божество выявить свой гнев, противопоставив ему любовь. И если первые четыре состояния мира под эгидой Люцифера дали основание *аду*, как царству гнева-огня, то из трех остальных Бог создал царство света-любви, поставив во главе его Своего Сына — это и был рай. Но преизлияние божественного творчества не могло продолжаться разъединенно, разделенное на ад и рай.

Итак, по свободной воле Люцифера совершилось выпадение

мира из его метафизического состояния. Какова же была, по Беме, роль человека? Адам, андрогин, был «увлечен» Люцифером, т.е. прельщен возможностью *по-новому* переживать мир. «Адаму надоело богатство Бога, и он перестал видеть его», — пишет Беме. Его потянуло из божественного единства в пестрое многообразие бытия, чтобы переживать вещи-в-себе индивидуально. Это было первое греховное движение воли-свободы человека; актуальное осуществление падения выразилось в испытании возможных средств осуществления греховных желаний Адама.

По Соловьеву, импульс к тварному миру исходит от самого Бога, по крайней мере в первом его космогоническом варианте. У него нет акта сотворения мира «из ничего», но лишь смещение божественных элементов. Мир отличается от Бога не по существу, а по положению тех же самых элементов, которые имеются и в Боге: «Божественное существо не может удовольствоваться вечным созерцанием идеальных сущностей — оно останавливается на каждой из них в отдельности, утверждает, запечатлевает ее самостоятельное бытие... что и есть акт божественного творчества. Каждое существо [при этом] теряет непосредственное единство с Богом, вечные предметы божественного созерцания... становятся в душу живу».

У Соловьева появляется тема «души мира», на которую он возлагает в своем *втором* космогоническом варианте заслугу или вину за образование тварного мира. Долгое время душа мира у Соловьева отождествляется с Софией, даже если он и не употребляет самого имени Софии.

Душа мира-София «есть и единое, и всё — она занимает посредствующее место между множественностью живых существ и безусловным единством Божества. «Душа мира есть существо двойственное: она заключает в себе и божественное начало, и тварное бытие, но, не определяясь ни тем ни другим, пребывает свободной». Ее же как основу вечной Премудрости Соловьев называет Матерью внебожественного мира. Встречается у него и необычный по смыслу, но знакомый по звучанию термин «Богоматерия».

София называется у Соловьева также «универсальной суб-

станцией», «субстанцией Божественной Троицы», в которой Бог создал небо и землю. Она же — «ангел хранитель мира» и будущее Царство Божие.

В связи с темой «Души мира» Соловьев развивает два варианта создания мира. *Первый*: Бог дает свободу существующему в Нем хаосу и тем выводит мир из небытия. Погруженная в хаотическую стихию мира душа его является «анти-типом Божественной Премудрости». *Второй*: душа мира, имеющая всё *от Бога*, желает иметь всё от себя и, утверждаясь вне Бога, становится *натурой*. Мир, таким образом, является результатом падения или выпадения души мира из Божества, совершенного через ее свободный и своевольный акт.

Проследим дальнейшие софиологические аналогии между учениями Беме и Соловьева в перспективе исторического процесса в тварном мире.

Согласно Беме, половой диморфизм падшего человека подлечит определению. Но это возможно лишь в плане мистическом. Бог, не оставивший человека без промыслительной помощи, исполняет свое обетование о том, что «семя жены сотрет главу змию»: согласно Его воле, София сходит на Марию, чтобы в ней, в ее человеческом естестве, родить воплощенный Логос. Иисус Христос, совершенный человек, сочетает в себе оба начала, мужественное (логосное) и женственное (софийное). А так как мистическим телом Христа является Церковь, то все ее члены, независимо от пола, обретают в ней свою полноту: женская половина рода человеческого обретает, так сказать, недостающее ей мужественное начало, а мужская половина — свое женственное восполнение. Исполнение обетования Церкви произойдет тогда, когда в результате все усиливающегося стремления к добру наступит внутреннее преобразование, просветление и восстановление утраченной небесной, духовной телесности.

У Соловьева, как мы видим, образование мира есть результат «выпадения» из Божества *натуры*, «выпадения», нарушившего актуальное всеединство. Падшая натура подсознательно (психоидально) стремится к новому восстановлению всеединства в Боге. Но это возможно только тогда, когда вещественная натура, сочетавшись с божественным началом, т.е. с Душой Мира (т.е. с Софией), станет вселенским организмом. Такое

сочетание возможно единственно в душе высшего «продукта» Вселенной — человека.

Накал, если можно так выразиться, богочеловеческого и вместе с тем богоматериального процесса достигает своей высшей точки в душе совершенного человека, Иисуса Христа, в котором соединение Логоса с Софией оказывается тождественным. Так как человек есть сочетание индивидуального с универсальным, которое в потенции делает возможным сочетание человеческого с божественным, то он — естественный посредник между Богом и материальным бытием. «Постепенное одухотворение человека через внутреннее усвоение и развитие божественного начала образует собственно исторический процесс человечества, — пишет В. Соловьев. — Воплощение Божества не есть что-либо чудесное в собственном смысле, т.е. не есть нечто, чуждое общему порядку бытия, а напротив, существенно связано со всей историей мира и человечества... К человеку стремилась и тяготела вся природа, к Богочеловеку направлялась все история человечества».

Если у Беме андрогинность была изначальным состоянием человека и окончательной целью, то у Соловьева — это то состояние, которое человек обретает в конце истории как свершение совершеннейшей любви.

И, наконец, Соловьев, подобно Беме, отмечает тесную связь между явлением Софии и явлением Марии. Связь эта, говорит Соловьев, интуитивно постигается по преимуществу русским народом, что выражается в его обычае строить «софийные» церкви, храмовый праздник которых падает на день Успения.

На этом мариологическом аспекте Софии аналогии между Беме и Соловьевым кончаются. У Соловьева родословная Софии продолжается — Афродита Небесная снижает свой лёт и опускается на землю. Мы не будем следить за этим ее генеалогическим ответвлением, обойдя его дискретным молчанием, поскольку нас интересует философская и богословская сторона софиологии, а не парапсихологическая. Отметим только, что именно *это* «софиевоплощение» нашло своих вдохновенных певцов в русской литературе: языческий культ матери-земли и пола (Розанов, Хлебников), теософия, антропософия (Андрей

Белый), оккультизм (Вячеслав Иванов), культ «Прекрасной Дамы» (А. Блок).

В противоположность Соловьеву, о. П. Флоренский, влияние на которого Соловьева не подлежит сомнению, идет не от Абсолюта к твари, а наоборот, от твари к Абсолюту. Этим он отличается от традиционных подходов к всеединству, которые мы знаем и в греческой философии (особенно у Плотина), и у Скотта Оригена, Якоба Беме, Николая Кузанского, и у представителей немецкого идеализма. Флоренский утверждает, что понятие Бога, или Абсолюта совершенно не детерминирует понятия твари; последняя *логически* или *генетически* (в смысле эманации), *необходимо* не следует из понятия Бога. Так как тварь — это опытная очевидность, то для того, чтобы ее понять и оправдать, необходимо придти к понятию Абсолюта. И тогда становится ясно, что Вселенная как целокупная тварь метафизически укоренена в Абсолюте. «Корень целокупной твари» в Боге и есть София.

Мы не будем приводить все мысли Флоренского о Софии, так как это было бы повторением многого из того, что нами уже было изложено; мы отметим только то, что находим у Флоренского *нового* или же когда старое принимает у него новую, оригинальную форму.

Флоренский собирался написать отдельное исследование о Софии, он об этом упоминает неоднократно в «Столпе и Утверждении Истины», но удалось ли ему это — мы не знаем. Уделов, например, знавший о. Павла в последние годы его жизни, ничего об этом не говорит. Поэтому мы используем материал из вышеупомянутого труда, в котором он посвятил Софии *Письмо десятое* (стр. 319-398).

«София есть Великий Корень целокупной твари (т.е. *всецелостная тварь*, а не просто *вся*), которым тварь уходит во внутри-Троичную жизнь и через который она получает себе Жизнь Вечную от Единого Источника Жизни; София есть первозданное естество твари, творческая Любовь Божия...».

«В отношении к твари София есть Ангел Хранитель твари, Идеальная личность мира. Образующий разум в отношении к твари, она — образуемое содержание Бога-Разума, «психическое

деления, столь модного в настоящее время. Эта связь нам важна, если мы подставим под понятие церкви — Софию. Тогда мы получим Софию нетварную и Софию тварную, как у о. С. Булгакова.

«Это — *одно и то же существо*, но только видимое под двумя различными углами зрения, а именно, со стороны небесной и предсуществующей, единящей мистической формы, и со стороны объединяемого эмпирического, земного и временного содержания, получающего в первой обожение и вечность. Но последнее не случайно связывается с новым, а вырастает в него и в нем пресуществляется; поэтому раздельность символических образов указывает лишь на различие двух точек зрения: один раз, так сказать, сверху вниз, с неба на землю («ката»), долу, а другой раз — снизу вверх, с земли на небо («ано»), горé».

Отдавая себе ясно отчет в том, что Церковь осудила учение Оригена о предсуществовании душ, Флоренский все-таки склоняется к этой гипотезе — не предобсуждая *модус* этого предсуществования, ибо, по его мнению, если бы не было *никакого* предсуществования, тогда целый ряд православных текстов надо было бы отбросить как нелепость.

Это подводит Флоренского к понятию «тварной Софии», которая, будучи «образом и сенью Премудрости», осуществляется или отпечатлевается «в мире опытном во времени; она, хотя и тварная, предшествует миру, являясь *пре-ми*рным ипостасным собранием божественных первообразов сущего». Спрашивается — *где, в чем* она предсуществует? В тварном плане, в качестве его начала? Это приемлемо. Но далее он пишет:

«София участвует в жизни Триипостасного Божества, входит в Троичные недра и приобщается Божественной Любви. Но, будучи *четвертым*, тварным и, значит, не единосущным Лицом, она не «образует» Божественное Единство, она не «*есть*» Любовь, но лишь *входит* в общение Любви, допускается *войти* в это общение по неизреченному, непостижимому, недомыслимому смирению Божественному».

«Как *четвертое* Лицо, она по снисхождению Божию (но ни в коем случае не своему естеству!), вносит различие в отношение к себе промыслительной деятельности Троичных Ипостасей и, будучи для Троидного Божества одной и той же, является сама

содержание» Его, вечно творимое Отцом через Сына и завершаемое в Духе Святом: Бог мыслит *вещами*».

София, вечная Невеста Логоса, сама по себе бытия не имеет во вне Его — рассыпается в *множественность идей о твари*. Она — идеальная личность и его Ангел-Хранитель.

«Пронизанная Троичной Любовью, София *религиозно*, не рассудочно, почти сливается со Словом, и Духом, и Отцом, но рассудочно она есть совсем иное, нежели каждая из этих ипостасей».

Флоренский цитирует различные библейские и патристические тексты в подтверждение тезиса, что «идея о *предсуществующей* миру Софии-Премудрости, о Горнем Иерусалиме, о Церкви в ее небесном аспекте или о Царстве Божиим, как об Идеальной Личности Твари или об Ангеле-Хранителе ее, — или еще как об Ипостасной Системе миротворческих мыслей Божиих и Истинном Полюсе и Нетленном Моменте тварного бытия» была известна христианской философии с самого начала.

Верный своей задаче отпавляться от *опыта*, Флоренский объясняет встречающиеся в ранних догматических сочинениях слиянности и отождествления: «Для школьного богословия просто сказать, что понятия Церкви, Духа Святого и Сына Божия — различны; потому просто, что в сознании его это — только *понятия*. Но для верующего, для которого все это — реальности, не могущие быть переживаемыми независимо одна от другой, реальности взаимопроникающие и взаимосвязанные; для верующего, который воспринимает их в живой их данности, для которого с полной осязательностью Церковь есть тело Христова, полнота Духа, посылаемого Христом; для такого верующего, говорю я, производить резкие разделения и разграничения *больно*, потому что они режут по живому телу. Речь веры — совсем не та, что речь богословия, и свое знание догматической истины вера облекает в символическую форму, в образный язык, последовательными противоречиями прикрывающий высшую истинность и глубину созерцания».

Комментируя сочинение Ермы «Пастырь», Флоренский высказывается против чрезмерного различения, доходящего до разделения, церкви мистической и «церкви исторической», раз-

себе различной в своем отношении к ипостасям; идея о ней получает ту или иную окраску в зависимости от того, на которую ипостась мы преимущественно обращаемся созерцанием. Под углом зрения ипостаси *Отчей* София есть идеальная *субстанция*, основа твари, мощь и сила бытия ее; если мы обращаемся к Ипостаси *Слова*, то София — разум твари, смысл, истина или правда ее; и, наконец, с точки зрения Ипостаси *Духа*, мы имеем в Софии *духовность* твари, святость, чистоту и непорочность ее, т.е. красоту. Эта триединая идея *основы-разума-святости*, раскалываясь в нашем рассудке, предстает греховному уму в трех взаимоисключающих аспектах: *основы, разума, святости*.

Дальше Флоренский рассматривает целый ряд новых аспектов Софии домостроительного порядка и приходит к следующему заключению:

«Если София есть вся тварь, то душа и совесть твари — Человечество, есть София по преимуществу. Если София есть все Человечество, то душа и совесть Человечества — Церковь, есть София по преимуществу. Если София есть Церковь, то душа и совесть Церкви — Церковь Святых — есть София по преимуществу. Если София есть Церковь Святых, то душа и совесть Церкви Святых — Ходатаица и Заступница за тварь пред Словом Божиим, судящим тварь и рассекающим ее надвое. Матерь Божия — «миру Очистилице» — опять-таки есть София по преимуществу. Но истинным знамением Марии Благодатной является Девство Ее, Красота души ее. Эта и есть София. София есть «сокровенный сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа» (1 Петр, 3.3-4) — истинное украшение человеческого существа, проникающее сквозь все его поры, сияющее в его взгляде, разливающееся с его улыбкой, ликующее в его сердце радостью неизреченной, отражающееся на каждом его жесте, окружающее человека в момент духовного подъема благоуханным облаком и лучезарным нимбом, сотворяющее его «превыше мирского слития», так что, оставаясь в миру, он делается «не от мира», делается выше-мирным». «Свет во тьме светит, и тьма не объяла Его» (Иоанн, 1.5) — такова неотмирность духо-носной прекрасной личности. *София есть Красота*. «Да будет украшением вашим, — обращается ап. Петр к женам — не внешнее плетение волос, не золотые уборы или на-

рядность в одежде, но сокровенный сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом» (1 Петр, 3.3-4). Только София, одна лишь София есть существенная Красота во всей твари; а все прочее — лишь мишура и нарядность одежды, и совлечется личность этого призрачного блеска при испытании огнем».

Это — основные софиологические концепции о. Павла Флоренского. Он их очень интересно развивает и комментирует, пользуясь огромным материалом — патристическим, апокрифическим, иконографическим, архитектурно-храмовым, религиозно-фольклорным.

Как мы видим, о. Павел Флоренский сделал перенос от Софии-Премудрости — к Софии-Красоте. Оно, конечно, правильно: Божественная Премудрость также и прекрасна; тем не менее, психологический или, вернее, эстетический сдвиг здесь налицо.

Отметим некоторые утверждения Флоренского, вызывающие сомнения. Во-первых, в плане методологическом. Он признается, в главе о Софии, процитировав творения св. Афанасия Великого, что все богословие его исходит из идей этого учителя Церкви, сводимых Флоренским к следующему: «Догмат единосущия Троицы, идея обожения плоти, требования аскетизма, чаяние Духа Утешителя и признание за тварью *пре-мирного* нетленного значения — таковы лейтмотивы догматической системы Афанасия, столь тесно вросшие друг в друга, что нельзя услышать один, чтобы в нем не открыть всех прочих». Нам кажется, что возможны нюансы толкования св. Афанасия. Один и тот же тон, заданный регентом, певчий может повторить правильно или, если его подведет слух, фальшиво. Вины регента в данном случае не будет. Некоторые смелые мысли *при малейшем сдвиге* становятся рискованными и даже вовсе неприемлемыми. Именно таким скачком нам кажется переход от толкования Афанасием слов о предызбрании Богом Церкви-человечества к утверждению Флоренского, что тварная София, «четвертое Лицо», входя, по милости Божьей, во Святая Святых Св. Троицы.

Это правда, что религиозная интуиция переводима на язык концептуальных категорий. Есть доля правды в тютчевском:

«мысль изреченная есть ложь» — поскольку часть правды есть неполная правда. Живая интуиция застывает, оковываясь железными рамками предложения-суждения: подлежащее, связка, сказуемое. Между мыслью и непостижимым такое же соотношение, как между камешком и горным хребтом, между каплей и океаном. Поэтому ап. Павел и повествовал, как, будучи «восхищенным», он слышал «неизреченные глаголы»; но он же сам говорит и то, что для назидания других лучше сказать пять слов с разумением, нежели тысячу неудобопонятных. Мистический опыт — опыт индивидуальный. Переживаемое мистиком в религиозном экстазе, это, так сказать, его дело, но коль скоро он желает изложить свои переживания на бумаге, и коль скоро он не поэт, то он сразу окунается в область дискурсии и становится ответственным за написанное. Что написано пером, того не вырубишь топором.

Определяя три Лица Св. Троицы, Беме упоминает о Софии как о «четвертом». Флоренский называет ее «четвертым, тварным... Лицом», а Булгаков — «четвертой ипостасью».

По сравнению с многообразием софиологических концепций у Соловьева, Флоренский возвращается на более узкие (и более правильные) пути богословия и философии; у него нет личных «встреч» с «софие-воплощениями»; если он пишет о женственной красоте, то имеет в виду прежде всего духовную красоту и святость.

Русский софиолог по преимуществу, о. Сергей Булгаков, личный друг Флоренского и почитатель Соловьева, в какой-то мере сочетал идеи обоих (за вычетом парапсихологического личного опыта Соловьева).

Все три мыслителя были *исключительно* одарены по природе, у всех троих были широчайшие интересы. В психологическом и экзистенциальном планах, быть может, было больше сходства между Соловьевым и Булгаковым. Оба были весьма *стремительными* в своих заинтересованностях и решениях, диапазон которых был весьма широк не только в смысле содержания, но и направления. Флоренский был более сдержан и ровен. У Соловьева Булгаков перенял философскую проблематику софиологии, у Флоренского же — богословское и церковное ее обоснование.

Здесь мы не будем излагать софиологию о. Сергия детально. Мы подошли к ней вплотную и запаслись достаточным сравнительным материалом. Если мы прочитаем вновь софиологические страницы трудов о. Сергия, то найдем там не только знакомые уже нам темы, но и имена и названия. Это, конечно, не значит, что о. Сергей произвел компиляцию: его положения, обоснования и аргументы совершенно оправдывают его титул русского софиолога по преимуществу. Л. А. Зандер оставил превосходное всестороннее исследование творчества о. Сергия. Упреки и обвинения со стороны противников о. Сергия читатель найдет в моей брошюре «Дело прот. С. Булгакова» («Глобус», Сан-Франциско, 1980 г.).

Важно обратить внимание и на софиологические концепции другого крупного философа — А. Ф. Лосева, построенные в перспективе неоплатонических и, отчасти, святоотеческих «софиологем». О них я неоднократно писал и на страницах «Нового Журнала».

В заключение я хотел бы поделиться несколькими мыслями относительно того общего интеллектуально-духовного климата, в котором в одно и то же время выросли софиологические крины, плоды подлинной культуры, и неудавшиеся гибриды.

Лето на севере коротко. Природа пытается в краткий срок завершить свой биологический цикл. Отсюда — кратковременное, но буйное цветение, как бы стремящееся успеть принести положенный плод до надвигающейся долгой и лютой зимы. Не так ли было и с русской культурой конца XIX — начала XX века? Русская культурная весна, запоздавшая по сравнению с Западом на целые столетия, не успела еще принести зрелый, достаточно прогретый солнцем плод, как ее уже обожгли ранние, неожиданные морозы, размельтешили и развеяли вихри. И как травы, обожженные первым морозом, издают столь характерный «полынный» аромат, в котором есть запах тления, так и русские культурные веяния периода, о котором идет речь, отличались какой-то нездоровой красотой, несколько упадочной, вычурной и изощренной. И вкусы были слишком рафинированные, часто, по закону контраста, перескакивающие в другую крайность — грубоватый примитивизм. Наряду со здоровыми про-

явлениями духа и интеллекта, были и дионисизм, и теософия-антропософия, и оккультизм, и спиритизм, «скифизм» и хлыстовство, и десятки других направлений в искусстве и политике, и церковное обновленчество. И уже трудно разобрать, где — софийные ангелы, а где — прельщающие демоны.

Русская софиология выросла в эту эпоху. Поэтому наряду с правильными прозрениями и интуициями, в ней можно найти перемешанные с философскими и богословскими построениями элементы поэтической символики и мифологии. Мыслительная центрифуга будущего отсеет, надо надеяться, полноценные софиологические зерна от плевельных семян.

Игумен Геннадий Эйкалович



ПАМЯТИ УШЕДШИХ

ПАМЯТИ ЛЕОНИДА РЖЕВСКОГО

Вечером 13 ноября с.г. от сердечного приступа умер профессор Леонид Ржевский, — писатель, литературовед, педагог, редактор, лектор, организатор литературных симпозиумов и конференций.

Леонид Денисович Ржевский (наст. фамилия — Суражевский) родился в 1905 г. в Москве. Там же получил образование. В 1941 г. защитил диссертацию на соискание степени кандидата филологических наук. Преподавал русскую литературу и русский язык в Москве, Туле, Орехово-Зуеве. В самом начале войны ушел на фронт, попал в плен, пробыл без малого два года в немецких лагерях для военнопленных.

На Западе проф. Ржевский занимал кафедры славянских литератур в Лундском университете (Швеция) и в Нью-Йоркском университете, удостоившем Л. Ржевского звания заслуженного профессора; в течение многих лет вплоть до последнего года читал курс лекций по русской литературе в Норвичском университете, присвоившем ему звание *honors causa*.

Но в первую очередь, т.е. по призванию, Л. Ржевский был писателем; он был одарен верой в свое призвание и высокой требовательностью к писательскому творчеству, сочетавшимися в нем с огромным трудолюбием. Поэтому мне хочется сейчас сказать, прежде всего, о Ржевском-писателе.

На Западе Л. Ржевский успел написать много романов, повестей и рассказов. Он печатался во всех серьезных зарубежных периодических изданиях; одна за другой выходили его книги. В своем творчестве Ржевский не изменял ни правде, ни художественному вкусу. Его повествования нередко автобио-

ографичны; вписывая в них свою жизнь, он изменял и стилизовал ее, создавая подлинно художественное произведение, а не протокол событий и личных переживаний. Текущая история вписывалась в жизнь его героев, превращаясь в художественную правду, в художественный образ.

Во всем, что писал Л. Ржевский, проявлялась особая черта русской литературы, ее долголетняя традиция: *поиск правды и чувство справедливости*. Ржевский — писатель большого опыта, т.к. он жил как бы в трех Россиях: дореволюционной, советской и зарубежной (последняя ведь тоже существует!).

Многие произведения писателя, включая его первый роман «Между двух звезд» (1953 г.) и последний — «Бунт подсолнечника» (1981), хранят память о прошлой войне; они полны сострадания к людям, зажатым между двумя судьбоносными пятиконечными звездами — советской и американской. В описании войны у Ржевского есть все: любовь и ненависть, храбрость и трусость, подвиг и подлость. На фоне человеческих чувств и поступков изображает писатель этот тяжелый отрезок времени.

У Л. Ржевского много места занимает тема совести, нравственные коллизии героев, несовпадение этики личности с этикой общества. Нить повествования часто перебрасывается в роковые советские тридцатые годы. Герой Ржевского находится или мысленно возвращается к Москве того времени. Его мучит нравственная ответственность за молчаливое большинство русской интеллигенции; писатель пытается определить степень ее вины за то, что на бесчисленных собраниях «руки ползут вверх».

«Пилатов грех» (глава из литературоведческой книги писателя «Прочтение творческого слова», 1970) — интереснейшая интерпретация тайнописи в романе Булгакова «Мастер и Маргарита». Умывающий руки прокуратор Иудеи — это грех трусости, главный грех русской интеллигенции, грех молчаливого большинства 30-х годов. Свой труд Ржевский заканчивает так: «Две тысячи лет спустя грех этот повторился воплощением в другом, уже современном, огромном городе (курсив мой — В. С.). И привел с собою страшное хозяйничание зла среди людей: истребление совести, насилие, кровь и ложь. Спасение — в раскаянии, в преодолении страха произнести преступлению «нет!», в обращении к небу, в защите каждым всех и всеми —

каждого...». (*Л. Ржевский*, «Прочтение творческого слова», стр. 217). Любопытно, что в «Известиях Академии Наук СССР» есть ссылка именно на эту главу.

«Две строчки времени» (1976) — так озаглавлен один из романов Ржевского. Название это очень характерно. Двойное течение времени, т.е. течение времени вперед и вспять, в прошлое, можно проследить во многих произведениях писателя, что создает двуплановость времени и места действия, подчеркивая контрастность характеров действующих лиц.

В повести «Через пролив» (1966) Л. Ржевский впервые затрагивает тему духовного одиночества в свободном мире. Полнее эта тема раскрывается в «Бунте подсолнечника». Книга рассказывает о встрече двух эмиграций, переплетаясь с другой темой, темой разлуки. В письме от июля 1981 г. Леонид Денисович писал мне о «Бунте подсолнечника»: «Имеется ввиду не ностальгия, но отрыв от земли, где вырос, работал, творил, и которая теперь, «на расстоянии», по-особому видится обеим волнам эмиграции».

Виток сюжета в этой книге сложен, она составлена из почти самостоятельных глав, новелл-вставок. Настоящее чередуется с прошлым; пустота сегодняшнего дня с жестокостью вчерашнего. Люди, рожденные временем, и люди, противостоящие своему времени, не желающие жить «по ту сторону добра и зла».

Москва, родной город писателя, — фон многих произведений Ржевского. Именно этот город он любил до конца своих дней. Прожив более десятка лет за рубежом, он писал: «Несмотря на долгую отлучку, все еще слышал, казалось, под подошвами шорох московских тротуаров» (*Л. Ржевский*, «Паренек из Москвы» — «Литературное Зарубежье», 1958, стр. 56).

Запад также стал фоном повествований писателя: «Две строчки времени», «Дина», «Полукрылый ангел», «Бунт подсолнечника» и многие другие книги отразили жизнь в иноязычном и совершенно для писателя непривычном окружении.

Лучшей своей книгой Л. Ржевский считал «...Показавшему нам свет» (1960 г.). Именно в этой повести полностью проявляется особая атмосфера произведений Л. Ржевского; говоря словами Толстого, «отношение автора к жизни».

Буффон сказал: «Стиль — это человек». Л. Ржевский был

человеком добрым и мягким. И его произведения пронизаны особым лиризмом: чарующа музыка его слов. Эти качества творческого почерка писателя отметила как русская, так и иноязычная критика. Г. Адамович писал: «Ржевский стоит особняком и говорит он о том, о чем другие молчат — или во всяком случае, чего другие не сумели выразить, — с его приглушенной, вкрадчивой силой, с его двоящимся то безнадежным, то восторженным лиризмом, с его слухом ко всему, что расплывчато; за неимением иного слова, мы называем «музыкой». Он не бытовик, не наблюдатель, он, прежде всего, поэт, как, впрочем, и почти все писатели настоящие» (НРС, 2 апреля 1961). В обширной статье о Ржевском американский профессор-славист J. Т. Вагг писал о «сочетании лиризма и философии» в произведениях Ржевского, которые автор считал «выдающимися произведениями в зарубежной литературе». (“Russian Language Journal”, v. 38, № 131, 1984).

Творчество Л. Ржевского не осталось незамеченным. О нем писали многие, включая Ф. Степуна, Г. Струве, Н. Коржавина, А. Седых, Р. Гуля. Волею судеб, русская литература разделена на *там* и *здесь*. Но у Ржевского есть место и *там*. Об этом хорошо сказал Роман Гуль: «Я думаю, что о Ржевском стоит говорить, ибо, на мой взгляд, он один из очень немногих русских писателей за рубежом, кто пишет настоящую, интересную художественную прозу. И у него есть, по-моему, свое место не только среди писателей зарубежья. Живи он у себя на родине, он и там занял бы свое место хотя бы уж потому, что даже чисто формально проза Ржевского — это проза большого художественного мастерства». (Р. Гуль, «Одвуконь», 1973).

Когда-нибудь будет писаться подробная летопись культурной жизни русского Зарубежья. Она совершенно немыслима без имени Леонида Ржевского, который не только творил сам, но и помогал творить другим, откликался на талантливые произведения, угадывал талант в начинающих авторах. К сожалению, его диалог со временем, начавшийся еще *там* и продолжавшийся все эти годы *здесь*, остался незаконченным.

Я знала Леонида Денисовича Ржевского многие годы. О нем, как о человеке, могу сказать, что он был вовсе ни на кого не похожим. Он, как никто, умел создать вокруг себя — где бы он

ни был, необыкновенную атмосферу доброжелательности и непритворного радушия. Был он также исключительно верным в дружбе. Этот редкий человек ушел от нас навсегда. Но Л. Ржевский-писатель остался.

Валентина Синкевич



Редакция «Нового Журнала»
с глубоким прискорбием извещает о смерти
сотрудника журнала, поэта и профессора
Ивана Венедиктовича Елагина,
последовавшей 8 февраля 1987 г.

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

Комитет спасения советских пленных в Афганистане сообщает, что в ноябре месяце 1986 года в Канаду прибыли пять бывших советских военнопленных, которые долгое время находились в руках афганских повстанцев.

Уже несколько лет представители нашего Комитета в очень тяжелых условиях прилагали все усилия для вывоза на Запад русских военнопленных. и вот только сейчас мы можем сообщить радостную новость, что пять бывших военнопленных получили политическое убежище в Канаде.

Их имена, вероятно, известны многим из вас: *Сергей Бусов, Николай Головин, Игорь Ковальчук, Владислав Наумов и Вадим Плотников*. Путь их освобождения был нелегок. Мы считаем своим долгом поблагодарить тех людей доброй воли, которые принимали посильное участие в борьбе за их освобождение. Мы приносим сердечную благодарность правительствам тех западных государств, которые способствовали их освобождению, и, прежде всего, канадскому правительству, предоставившему им политическое убежище.

Мы приносим сердечную благодарность Национальному исламскому фронту Афганистана и Хезби-Ислами фракции Халес и их руководителям, без личной поддержки которых было бы невозможно добиться успеха. Особенно хотим отметить поддержку и поблагодарить журналиста английского телевидения Санди Голла за его отважную роль в их освобождении.

Также приносим благодарность русским людям, рассеянным по всему миру, прихожанам русских православных приходов, особенно приходу Свято-Троицкой церкви города Торонто. Без вашей поддержки и помощи немыслимо было бы добиться их освобождения.

Необходимо отметить и поблагодарить Русский православный ко-

митет содействия эмиграции в Канаде под руководством А. Д. Климова и Украинский комитет спасения беженцев в Канаде под руководством Б. А. Митюка.

Комитет спасения советских пленных в Афганистане считает, что по отношению к Бусову, Головину, Ковальчуку, Наумову и Плотникову мы свой долг выполнили. Теперь они смогут начать новую спокойную жизнь в Канаде, и мы ото всей души желаем им счастья и полного благополучия.

Однако нельзя забывать, что война в Афганистане продолжается. Люди продолжают страдать и гибнуть. По нашим сведениям, в руках афганских повстанцев находится еще несколько сот военнопленных.

Поэтому наш Комитет, опираясь, как и раньше, на многих людей доброй воли, будет и дальше продолжать свою деятельность.

гр. Н. Д. Толстой-Милославский

Еще раз о книге Надежды Мандельштам «Мое завещание».

Маленькая заметка Н. Струве («Русская мысль» от 11 апреля 1986 года), озаглавленная «По поводу издания сборника Надежды Мандельштам «Мое завещание», помещенная как реплика к содержательной статье Руфи Зерновой «Провода под током», удивила меня большим количеством неточностей и, что называется, натяжек. Например, г-н Струве пишет, что извещение об издании книги Н.Я. Мандельштам издательством «Серебряный Век» появилось в 1983 году, хотя такое извещение в действительности появилось в начале 1981 года, вскоре после смерти Н.Я. Мандельштам. А 20 сентября 1981 года в нью-йоркском еженедельнике «Новый Американец» был уже напечатан большой фрагмент из этой книги.

Далее Н. Струве пишет, что он немедленно (в 1983 году!) послал мне свой «протест», настаивая на том, что все без исключения права на издание книг Н. Я. Мандельштам принадлежат только ему, как директору ИМКА-Пресс.

В ответном письме я, не оспаривая его прав и признавая большие его заслуги, отметил, что, к сожалению, остановить издание книги невозможно, так как она уже находится в типографии. После этого, в

начале 1985 года я был вынужден выпустить второе дополненное издание книги Н. Мандельштам «Мое завещание и другие эссе», так как первый, очень небольшой тираж, не смог обеспечить даже части полученных заказов. Выпуск же объявленной Н. Струве «Третьей книги» много лет тому назад до сих пор не осуществлен.

Г-н Струве заявляет о своем единственном праве (как моральном, так и юридическом) издавать книги Н. Я. Мандельштам, поскольку, как он говорит, он является ее душеприказчиком со всеми вытекающими отсюда правами на ее литературное наследство.

В действительности же, в своих книгах Надежда Яковлевна не раз говорила, что *дух ее противится любой литературной монополии*. Более того, ее творчество, которое является важнейшим документом нашего времени, требует неотлагательного выхода к читателю. Поэтому-то я и решил издать эту книгу, хотя у меня было много сложностей и непредвиденных обстоятельств на пути издания первого посмертного сборника несобранных произведений Н. Я. Мандельштам.

В своей заметке Н. Струве также пишет, что в изданной мною книге «не указаны источники текстов», хотя они были «специально присланы Надеждой Мандельштам для «Вестника РСХД». В этом есть явное противоречие и несогласованность, поскольку под публикациями имеется сноска, что текст рукописи широко распространен в Самиздате. Стало быть, наши источники одни и те же — Самиздат. Это следует из текстуальных разночтений наших публикаций, как это часто бывает при перепечатке самиздатовских текстов.

Замечу к слову, что многое, из написанного Н. Я. Мандельштам, попало ко мне значительно раньше, чем к Н. А. Струве, через посредство моего московского друга А. С., тесно связанного с Надеждой Яковлевной. Кстати, Н. Я. Мандельштам нередко пользовалась книгами из моей библиотеки, опять же через посредничество нашего общего друга А. С.

В связи с заметкой Н. Струве хотелось бы поднять очень важный вопрос. Как добиться того, чтобы различные издательства не дублировали выпуск одних и тех же книг, а вовремя заявляли о своих планах? Предъявлять свои претензии через три года, когда на издание книги издательством уже было затрачено много сил и средств, мне представляется неблагоприятным.

Я неоднократно делал попытки установить контакты с издателями для предотвращения таких инцидентов, но безуспешно. Исключением,

возможно, был лишь Карл Проффер, с ним всегда было легко найти общий язык, достичь взаимопонимания. Кстати, когда на одной из славистских конференций я встретился с сотрудницей «ИМКА-Пресс» Н. Шмеман и узнал от нее, что ИМКА собирается выпустить «Самопознание» Н. Бердяева, я тут же изъял из планов своего издательства выпуск этой книги, несмотря на то, что в моем распоряжении имелся экземпляр книги с личной правкой Бердяева, пометками и дополнениями. Уже случалось, что другие издатели (например, В. Кухарец, изд-во «Руссика»), после моего объявления о выпуске очередной книги (В. Ходасевич, «Избранная проза»), спешно выпускали «репринт» старого издания, выдавая его за новейшее и перекрывая мне тем самым дорогу. Мне понадобилось много времени и труда, чтобы доказать, что наши издания не идентичны, что изданная мною книга В. Ходасевича «Белый коридор» (том 1, «Избранная проза») является продолжением знаменитого «Некрополя», тогда как книга, выпущенная В. Кухарцом, — всего лишь репринт «Чеховского издания» прозы В. Ходасевича, которое можно найти в русских отделах американских библиотек. Приблизительно то же самое произошло и еще с несколькими моими изданиями.

Возвращаясь к заметке Н. Струве, хотел бы заметить, что он ошибочно утверждает, будто обе первые книги Надежды Мандельштам были изданы в «ИМКА-Пресс», хотя общеизвестно, что первая книга Н. Я. Мандельштам «Воспоминания», была выпущена издательством имени Чехова в 1970 году.

В заключение хочу еще раз подчеркнуть, что Надежда Яковлевна Мандельштам всегда была против монополизации ее литературного наследия, завещав его, в первую очередь, Будущему. Как она писала в своем «Завещании», будущему, «к которому я обращаюсь, демократическое, или олигархия, тоталитарное или народное, законопослушное или нарушающее законы, пусть оно поступится своими сомнительными правами и оставит это наследство в руках у частных лиц».

*Григорий Поляк
Нью-Йорк*

БИБЛИОГРАФИЯ

Михаил Николаев. Детдом. Литературная запись Виктории Швейцер. «Руссика», 1985 г. 127 стр.

Много писалось о ГУЛАГах, но о детдомах мы мало что знаем, и книга Михаила Николаева эту проблему восполняет.

Своих родителей М.Н. не помнит, их *взяли* в самом начале 30-ых г. Он подрастал в разных детских приютах Владимирской области. Один из американских знакомых М.Н. сказал: «Я думал, что жизнь в советских приютах куда ужаснее». Между тем, по воспоминаниям М. Н., детей там досыта кормили, одевали, учили. Мальчика Мишу, который всегда был отличником, посылали в Москву на новогоднюю елку в Колонном Зале; как-то раз ему дали путевку в Крым. Все-таки, говорит М. Н., в детдоме ему было куда хуже, чем в ГУЛАГах, где он провел около 15 лет. Скверно было не столько материально, сколько морально. Дети не знали семьи, материнской ласки, числились за номерами и, что было хуже всего, верили вбиваемой им в головы пропаганде: Сталин — великий человек, он создал счастливую жизнь для всех и особенно для детей. В дореволюционной России была, говорили им, и на капиталистическом Западе есть высокая детская смертность, детей заставляют работать чуть ли не с 5-6 лет. Позднее, уже юношей, М. Н. понял всю ложь и жестокость советской власти, осознал свое и всеобщее несчастье и уже находил товарищей, с которыми мог говорить о зле большевизма. В результате гласных протестов он угодил в концлагерь.

Мальчика Мишу лишили фамилии родителей, как и многих других детей «врагов народа». Сколько их было — неизвестно, но, несомненно, — тысячи. В царской России только императора-младенца Иоанна Антоновича (Шестого) заставили забыть о прошлом. Между тем, бедных еврейских мальчиков, т.н. кантонистов, имени не лишали, и не все они, вопреки давлению сверху, крестились.

М. Н. родился в 1929 г., о чем он потом случайно узнал. Но его переосвидетельствовали и дали новую дату рождения — 1926 год. Составили его нарочно, чтобы увеличить число рабочих рук в стране. В этой фальсификации были повинны врачи, педагоги; в 30-е годы, спасая свою шкуру, они обрекали малолетних на тяжелую работу. Между тем, и по советским законам подросткам запрещалось работать больше четырех часов. 12-летний Миша должен был работать на фабрике 12 часов.

В книгу Николаева включены тексты из советских газет, документы, обличающие лживость коммунизма. Так, он поместил напечатанный некогда в *«Правде»* закон о труде подростков. Или сообщение *«Известий»* о пионерке Вере Гайбут: она «заперла» в избе шпиона, который хотел угостить ее отравленной плиткой шоколада, за что и была премирована «ценным подарком».

В детский быт врывается абсурд в стиле Кафки, как верно заметил М. Н. Абсурдна была отмена пионерских значков, в которых нашли зашифрованный будто бы троцкистско-зиновьевский код.

Отраду Миша находил в книгах. Читал запоем и поэтому казался товарищам чужим; они однажды избили его до полусмерти.

Художественная литература, говорит М. Н., всегда демократична. Читая, он мог отождествлять себя с кем угодно — с императорами и землекопами, римскими папами и преступниками: «я был равен любому из них, я был ими всеми. Это чувство равенства живо во мне». И еще — настоящая литература разоблачала пропаганду.

М. Н. рассказывал, а его жена, Виктория Швейцер, записывала. Так родилась эта книга, за которой должно последовать продолжение о мытарствах М. Н. в ГУЛАГах. В 50-ые г. за попытку перейти границу около Батуми М. Н. был арестован в третий раз. Его приговорили к расстрелу, но дело пересмотрели, и он просидел 10 лет в лагере в Мордовии.

Тон этой замечательной книги — спокойный, эпический. Ужасы не преувеличены. Автор нигде не впадает ни в мелодраму, ни в гротеск, он деловито-точно излагает факты, вопиющие факты своей биографии, повествует без видимого негодования и в то же время его книга — еще один весьма обоснованный иск коммунистической партии и советскому режиму.

Юрий Иваск

АЛЬМАНАХ «ЧАСТЬ РЕЧИ», №1-5. Редактор-издатель Г. Поляк, изд-во «Серебряный Век», N.Y. 1980-1985 г.г.

«Альманах» отличается от журнала не только тем, что слово это арабского, а не французского происхождения. И не только тем, что альманах — издание непериодическое. Литературный альманах, в отличие от журнала, фиксирующего современный ему литературный процесс, ставит перед собой иные задачи. Например те, которые есть у «Части Речи». Пять выпусков альманаха (№№ 1, 2/3 и наконец-то вышедший № 4/5) объединены целью продемонстрировать развитие русской литературы за рубежом от первой эмиграции до третьей. А так как эмигрантская литература неотделима от внутренне-русской, в число авторов альманаха по праву входят писатели и поэты, никогда не бывшие в эмиграции, — Пастернак, Платонов, Зощенко, Мандельштам, Волошин и др.

Главный раздел каждого выпуска посвящен одному или нескольким не случайно объединенным именам. «Часть речи» № 1 — Иосифу Бродскому; № 2/3 — Осипу Мандельштаму, Анне Ахматовой, Борису Пастернаку и Марине Цветаевой; № 4/5 — Владиславу Ходасевичу.

Среди шести названных имен в метрополии наименее известно, очевидно, имя Ходасевича (я имею в виду широкий слой современной публики). И дело тут не в мере таланта того или иного из перечисленных поэтов, а в уродливости советской литературной политики. (Ею же объясняется и то, что лучшие издания Мандельштама, Цветаевой, Ахматовой тоже вышли на Западе). Последние изданные в России сборники стихов Ходасевича датируются началом 20-х годов и, значит, стали библиографической редкостью. Имя его почти не появляется на печатных страницах, даже на тех, что набираются петитом, то есть в комментариях, хотя без Ходасевича немислим целый период в истории русской литературы. Ну а Бродский в метрополии видел свои стихи напечатанными лишь на пишущей машинке (зато в скольких экземплярах!).

Итак, волею судеб, точнее, чистым произволом, решена была судьба крупнейших русских поэтов, и на плечи русской интеллигенции в эмиграции легла задача собрать, сохранить и донести до сегодняшнего читателя и до потомков огромное количество неизданных, неизвестных, потерянных материалов, связанных с лучшими именами русской литературы нашего века.

Выбрав «героя», издатель публикует не только его произведения, но и статьи о нем. Но этот выбор не означает, что в альманахе, посвященном, скажем, Бродскому, нет материалов о Ходасевиче или Мандельштаме, которым посвящены другие выпуски. Все пять выпусков объединены единым стремлением: дополнить новыми штрихами уже известные портреты. Эти штрихи к портретам — неоценимый вклад в русское литературоведение и в западную славистику. Не останется к ним равнодушен, разумеется, и широкий читатель.

Но, как мне кажется, интересы широкого читателя и ученого-литературоведа совпадут еще более при взгляде на «неизвестные портреты». В альманахах есть публикации забытых или изгнанных из советской литературы писателей и поэтов. Такова, например, подборка стихов Андрея Николева (№ 1). В предисловии к ней Г. Шмаков пишет: «Николев-поэт — по причинам трагическим и настолько общим, что граничат с тривиальностью судеб русских поэтов и литераторов в 30-е годы — остался в безвестности... Для непосвященных стихи Николева — еще одна страница первоклассной русской поэзии XX века».

«Кто из русскочитающей публики знает о Леониде Добычине?» — этим вопросом начинает свод превосходную статью о писателе Илья Серман. «А между тем, — продолжает он, — в 1920-30-е годы о нем уважительно и с интересом говорили в писательских кругах Ленинграда, пока неожиданное самоубийство в 1936 году не поставило точку на его жизни и литературной судьбе». Два рассказа Добычина (№ 4/5) производят сильнейшее впечатление. Лаконизм авторской строки доведен в них до совершенства. Этот лаконизм сродни Платонову. Но в платоновских рассказах всегда есть место духовности, место надежде. В прозе Добычина ее нет. Бездуховное, механическое начало мещанской жизни обнажено в ней с сюрреалистической рельефностью. Жизнь, описанная Добычиным, страшна не присутствием в ней каких-то злых сил, уничтожающих добро, а именно полным отсутствием как добра, так и зла.

К малоизвестным именам принадлежит и имя Черубины де Габриак. «Графиня де Габриак», поэтесса, печатавшая свои стихи в журнале «Аполлон», была вымыслом двух поэтов — Лили Васильевой и Максимилиана Волошина. Об этой прелестной литературной мистификации рассказывается в очерке Волошина (№ 2/3). Из этого же очерка, предоставленного редакции Б. А. Филипповым и в печати никогда не появлявшегося, возникает и фрагмент петербургской литературной жизни за несколько лет до Первой мировой войны.

Иная литературная жизнь, уже эмигрантская, парижская, до Второй мировой войны, описана Василием Яновским в очерке «О парижских 'Числах'» (№ 4/5). Сама по себе эта публикация и интересна и ценна, однако, досадно, что ей не предпослано хотя бы небольшое издательское вступление. Для неспециалиста многие имена, в ней названные, звучат таинственно.

Кстати, если можно в чем-то упрекнуть издателя, так это в отсутствии комментариев или в их краткости. Но главное, конечно, не комментарии. Главное — тексты. А прекрасных текстов в альманахах много. Тут и Набоков, и Олеша, и Заболоцкий, и Белинков, и Окуджава. И все представлены вещами или ранее не публиковавшимися, или забытыми.

На страницах альманахов «Части Речи» читатель встретит писателей, сделавших себе литературное имя в эмиграции. Здесь Сергей Довлатов, пользующийся большой популярностью Юз Алешковский.

Я же остановлюсь на менее известном имени. В альманахе № 4/5 напечатан маленький рассказ Юрия Мамлеева «Сельская жизнь». Проза Мамлеева, густая и сочная, далека от реализма. Есть в ней некий фантазмагорический дух, терпкий и ядовитый. Если искать аналогии, то Мамлеев представляется мне каким-то сплавом Платонова и Гоголя. Впрочем, мою точку зрения не разделяют критики П. Вайль и А. Генис, опубликовавшие в том же номере статью о Мамлееве «С точки зрения грибов». Статья эта явно уступает другой статье тех же критиков: «Литературные мечтания. Очерк русской прозы с картинками» (№ 1). Вайль и Генис сильны, когда имеют дело с реалистической прозой: прекрасен их анализ А. Солженицына, В. Войновича, Г. Владимова. Но вот уже на Саше Соколове они спотыкаются, а на Мамлееве и вовсе, можно сказать, оступились. Такое впечатление, что оба критика не пошли дальше истин, внушенных им провинциальными советскими профессорами.

Лучшая критическая статья, помещенная в альманахах, принадлежит, увы, перу нерусского автора. «Борьба с удушьем» Чеслава Милоша (№ 4/5) переведена с английского А. Батчаном и Н. Шарымовой. Статья посвящена вышедшему по-английски сборнику стихов И. Бродского «Часть речи». Бродскому вообще отдано немало страниц альманахов. Его постоянный интервьюер Соломон Волков напечатал две интереснейшие беседы с поэтом: «Нью-Йорк: пейзаж поэта» № 1) и «Венеция. Глазами стихотворца» (№ 2/3). Волкову же принадлежит и другое

интервью — с Мстиславом Ростроповичем, где знаменитый виолончелист рассказывает о своей дружбе с С. С. Прокофьевым и Д. Д. Шостаковичем (№ 2/3).

Интервью помещено в разделе «Искусство». И хотя в альманахах музыке и живописи отдано не так уж много страниц, но страницы эти — одни из лучших. В первом номере опубликован фрагмент воспоминаний Татьяны Яковлевой-Либерман о художниках, эмигрировавших после революции во Францию: Михаиле Ларионове и Наталье Гончаровой, а также несколько их писем. Имена Ларионова и Гончаровой для русского искусства не менее значимы, чем имена Пастернака и Ахматовой для русской поэзии.

В № 4/5 — большой очерк Юрия Домбровского о скульпторе Иткинде. Ю. Домбровский хорошо известен читателям по своим романам «Хранитель древности» и «Факультет ненужных вещей». Писательский очерк о художнике зачастую лучше искусствоведческого. Из него вырастает характер не только художника, но и человека, не только «исторический фон», но и живые, осязаемые приметы времени.

Обилие материалов, опубликованных в альманахах, не позволяет в рецензии охватить их все. Тем более остановиться подробно на каждом. Но есть публикации, мимо которых пройти невозможно, поскольку значимость их для русской культуры бесспорна. Таковы «Разговоры с Шестовым» Бенджамина Фондана (№ 2/3). Рукопись была написана автором по-французски. Его вдова (Фондан погиб в концентрационном лагере в 1944 г.) передала ее дочери Шестова Н. Барановой-Шестовой. Она и подготовила русскую публикацию. Имя Льва Шестова, высланного в начале 20-х годов вместе с группой писателей, философов и журналистов из России, знакомо каждому, кто интересовался историей русской философской мысли. Фондан подружился с Шестовым, когда ему было 26 лет, Шестову — 57. «В течение 15-ти лет вопреки себе самому Шестов был моим наставником; я же, сам того не подозревая, был его учеником, — пишет Фондан».

Озаглавив свою рукопись «Разговоры с Шестовым», Фондан уже тем самым дал высочайшую оценку философу. Всем знакомы «Разговоры с Гёте» Эккермана. Воспоминания Фондана ценны и еще одной деталью. Они обнаруживают влияние русского философа на западного — случай, нечастый в истории русской философии.

Задумав альманах «Часть Речи», его издатель, Григорий Поляк, задался целью, благородство которой не нуждается в комментариях, а

трудоемкость сравнима разве что с подвигами мифологических героев. Один из них, как известно, довел их число до двенадцати. Пожелаем издателю альманаха достичь этой прекрасной цифры.

Абрам Куник

Н. Я. Мандельштам. «Мое завещание и другие эссе». Пред. Иосифа Бродского. Изд-во «Серебряный Век», Нью-Йорк, 160 стр, 1985.

Полная трагизма жизнь Надежды Яковлевны Мандельштам кажется мне на удивление яркой, цельной и счастливой, хотя из-за многих несчастий, выпавших на ее долю, такое заявление может прозвучать едва ли не кощунственно. И все-таки я считаю, что Н. Я. неслыханно повезло, если слово «везение» может быть применимо к ее трагической жизни, к ее судьбе. Надежде Мандельштам повезло быть женой одного из величайших лирических поэтов XX века, свидетельницей его творчества, пытливой и восприимчивой ученицей, имевшей доступ в лабораторию мастера; ей повезло уцелеть в тридцатые и сороковые годы, пережить войну с Германией и, может быть, еще более жестокую войну советского государства со своим народом, ей повезло стать обладательницей бесценного сокровища — неизданной поэзии и прозы Мандельштама, самой пристрастной и компетентной исследовательницей, толковательницей и пропагандисткой его творчества; ей повезло сохранить в памяти всю его лирику и в 65 лет написать две своих замечательные книги, переведенные почти на все языки свободного мира и заслужившие мировое признание.

На первый взгляд кажется, что книги Надежды Мандельштам написаны о ее муже; затем читатель обнаруживает, что это — книги о поэзии и о жизни 20-х годов. Дочитывая книги, видишь, что они — о судьбах века, о высокой справедливости, которая и является главной движущей силой произведений Надежды Мандельштам.

«Рукописи не горят!» — сказал Воланд у Михаила Булгакова, и, действительно, есть что-то судьбоносное в той неотвратимости, с которой забытые, искаженные, утраченные, казалось бы, шедевры занимают достойное, подобающее им место в историко-литературном процессе вне зависимости от личной судьбы художника. Борис Пастер-

нак, пусть со многими оговорками, был всю свою жизнь известным советским поэтом, выпустил около трех десятков книг, перевел несколько пьес Шекспира, написал сенсационный роман «Доктор Живаго», получил за него Нобелевскую премию и умер у себя на даче, оплакиваемый всей культурной Россией, а Осип Мандельштам, издавши четыре книги общим объемом в 250 страниц, с начала тридцатых годов вел скитальческий, нищенский образ жизни, в 34-м году был сослан в Чердынь и Воронеж, а затем, в 38-м году, его ждали новый арест, лагерь, безымянная могила, вернее, яма, куда его бросили с биркой на ноге; вслед за этим последовало уничтожение его рукописей, негативов фотографий, валиков с записями голоса. Тем не менее, Пастернак и Мандельштам стоят в истории литературы рядом, возвышаясь над поэзией мастеров соцреализма, которые при всем благополучии их личной судьбы со временем не удостоятся в истории литературы даже сноски непарелью.

Надежда Яковлевна Мандельштам умерла с сознанием выполненного долга, написав две книги, ставшие памятником ее мужу и обвинительным актом страшной советской эпохе, породившей мучителей и убийц.

Как писал в предисловии к сборнику Иосиф Бродский: «Слабая шестидесятипятилетняя женщина оказалась способной замедлить, если не повернуть вспять культурный распад целой нации. Ее мемуары — это нечто большее, чем свидетельство времени. Это — *взгляд на историю в свете совести и культуры*. В этом свете история содрогается, а индивидум осознает свой выбор: либо поиски источника этого света, либо совершение антропологического преступления против самого себя».

«Она, — продолжает Бродский, — не стремилась к величию и не намеревалась просто расплатиться с системой. Для нее это было частным делом, обстоятельством ее темперамента, ее личности и того, что сформировало эту личность. А формировала ее культура, лучшие продукты культуры — стихи ее мужа. Это стихи, а не память по мужу пыталась она сохранить. Это их вдовой, а не его, была она в течение 42 лет».

Всегда найдутся те, кто будет утверждать, что Н. Я. Мандельштам не поняла свою эпоху, что она запоздала на Поезд Истории, направляющийся в будущее. Увы, как почти каждый из ее сверстников, она узнала только то, что остановками этого поезда служат концлагеря и

газовые камеры; ей повезло, что она пропустила поезд в концлагерь, а нам повезло, что она рассказала о его страшном маршруте...

Недачно в нью-йоркском издательстве «Серебряный Век» вышла вторым дотолненным изданием книга Надежды Мандельштам «Мое завещание», где впервые собраны разрозненные статьи, воспоминания, интервью, письма и большая подборка фотографий.

В широко распространившемся в Самиздате «Моем завещании» Надежда Мандельштам, отказывая государству в праве на литературное наследие, восклицает: «Не тюремщики должны наследовать колоднику, а те, кто был прикован с ним к одной тачке».

Полемическая статья Надежды Мандельштам «Моцарт и Сальери» представляет собой скрупулезное исследование творческого процесса, в ходе которого настоящий художник сочетает в себе как божественные озарения Моцарта, так и холодный профессионализм Сальери. Моцарт и Сальери — два этапа созидательного труда, они не разделены во времени, они непрерывно совмещаются и восполняют друг друга.

В сборнике помещены также никогда не публиковавшиеся заметки «Мандельштам в Армении» и «Стихи Мандельштама для детей», тайно вывезенные на Запад и переданные в издательство проф. Викторией Швейцер.

Завершают сборник два интервью, взятые у Надежды Мандельштам в Москве голландскими тележурналистами и корреспондентами агентства «Рейтер».

Издан первый посмертный сборник произведений Надежды Мандельштам, роль которой в истории культуры вполне соизмерима с ролью, которую сыграл ее муж.

Лев Кунин

Н О В Ы Й Ж У Р Н А Л

РЕДАКТОР
ЮРИЙ КАШКАРОВ

■
В 1986 году выйдут ЧЕТЫРЕ КНИГИ

■
Подписная цена на 1987 год 40 долларов
(за 4 книги)

Цена одной книги — 10 долларов

■
ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ
«НОВОГО ЖУРНАЛА»

THE NEW REVIEW, 2700 BROADWAY
NEW YORK, N.Y. 10025

Телефон редакции и конторы 666-1692

Прием по делам редакции и конторы — по понедельникам и сре-
дам, от 10-ти до 12-ти час дня
